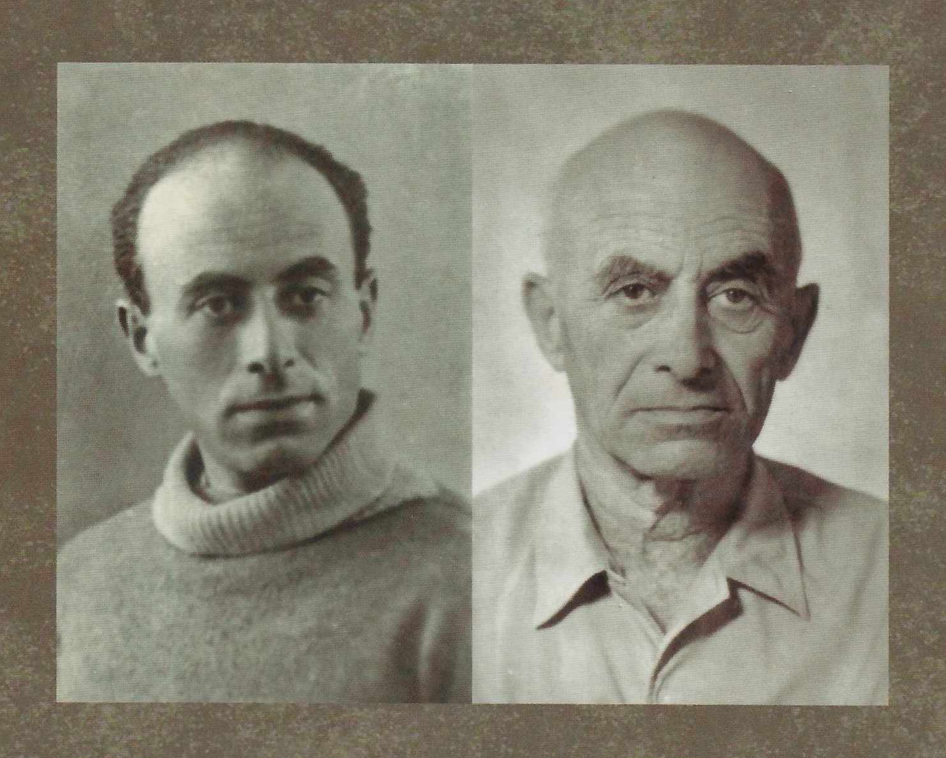
Юрий
Шейнманн

Перед самим собой



Возвращение

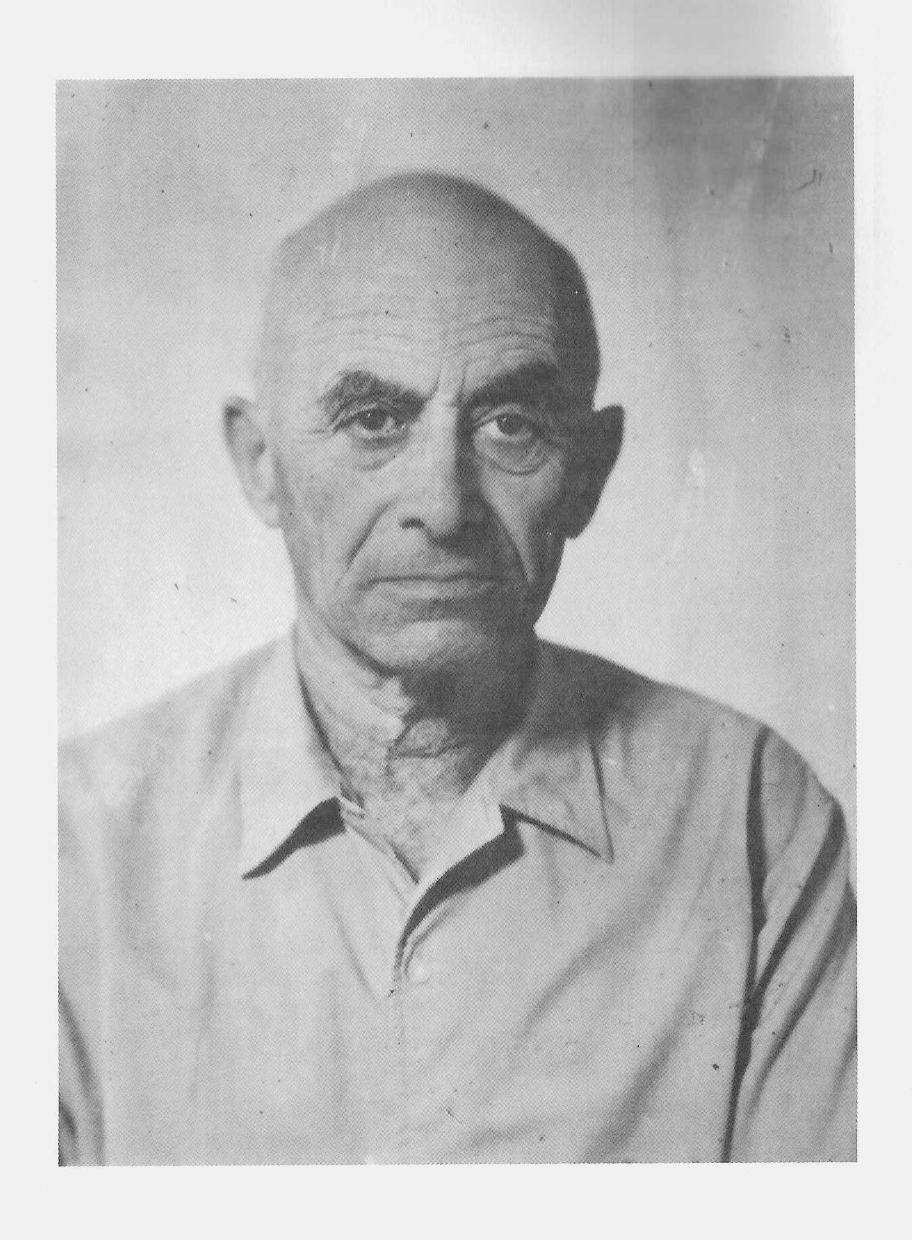
Юрий Михайлович Шейнманн (1901–1974) –

ученый-энциклопедист, доктор геолого-минералогических наук.

Два срока (1938–1944 и 1949–1954) провел в сталинских лагерях.

В книгу вошли воспоминания ученого о юности, его письма, путевые очерки и рассказы, а также воспоминания его дочери, коллег и учеников.


ISBN 978-5-7157-0275-3



Юрий Шейнманн

Перед самим собой

Москва
Возвращение
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Ш39

Издание осуществлено при финансовой поддержке
ОАО «ГМК „Норильский никель“»

Составитель
Г. Ю. Гаген-Торн

Шейнманн, Ю. М.
Ш39 Перед самим собой / Сост. Г. Ю. Гаген-Торн. – М. : Возвращение, 2013. – 336 с.
ISBN 978-5-7157-0275-3

Юрий Михайлович Шейнманн (1901–1974) – ученый-энциклопедист, доктор геолого-минералогических наук. Два срока (1938–1944 и 1949–1954) провел в сталинских лагерях.

В книгу вошли воспоминания ученого о юности, его письма, путевые очерки и рассказы, а также воспоминания его дочери, коллег и учеников.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-7157-0275-3

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Ученый. Геолог широкого профиля: палеонтолог, геолог-съемщик, тектонист, магматист. Из породы энциклопедистов. Дважды репрессирован. В промежуток между двумя сроками защитил докторскую диссертацию. В 1954 году, на Колыме, получил известие о полной реабилитации: «Считать девицей и по Норильску», – пошутил он. Вернулся в Москву. Проработал в науке еще двадцать лет. Получил звание Заслуженного деятеля науки. Около двадцати лет провел в экспедициях. В ходе полевых работ, хотя поиск их и не являлся основной задачей, был обнаружен ряд крупных месторождений.

Юрий Михайлович, по существу, является основоположником новой отрасли в геологии. Написал за жизнь почти две сотни печатных работ, в том числе три книги. Но он писал не только о геологии. Сохранились его неопубликованные воспоминания о детстве и юности, рассказы об экспедициях, просто рассказы. Некоторые из них включены в книгу воспоминаний о нем, выпущенную к столетию со дня его рождения его учениками, родным для него Институтом физики Земли, где он проработал до самой смерти. Но прошедшие годы и малый тираж (250 экземпляров) сделали ее библиографической редкостью, да и опубликовано там далеко не всё. Хотелось бы, чтобы о такой нестандартной личности знали многие. Привожу без изменений его собственные тексты. Мои воспоминания, а также дополнения и пояснения набраны другим шрифтом. Воспоминания о нем других лиц из вышеупомянутого сборника, выпущенного к столетию со дня его рождения его учениками Юрием Семеновичем Геншафтом и Артуром Яковлевичем Салтыковским и воспоминания моей мамы, первой жены Юрия Михайловича, также выделены – они набраны с отступом слева. Примечания, принадлежашие составителю, помечены инициалами: Г. Г.

Г. Ю. Гаген-Торн

Всё чего я хочу, это быть честным
перед самим собой до самой смерти.

Ч. Сноу. Поиски

Много раз за полтора года полного одиночества* я думал о том, как во многом хорошо прошла жизнь. Потому что – прошла, и только м. б. осталось сколько-то времени ей почадить. Думалось о том, что многие, вероятно, так же думают и печалятся о том, что не сделали они в жизни того, что могли. И как дурное утешение в этом во всём, появляется желание хотя бы близким рассказать о себе. Интересны ли вам эти обрывки памяти, или я назойлив и лезу с ними? Надеюсь, что хоть немного интересны. Надо бы писать их в состоянии хоть небольшого душевного подъема. Но будет ли он, и когда? Сейчас всё сожжено внутри. И вряд ли эта гарь исчезнет. Даром же, что пережито за это время, не проходит. Так и быть. Начну.

* Написано Юрием Михайловичем Шейнманном в лагерях, после расконвоирования. Полтора года одиночества – одиночная камера в тюрьме. – *Г. Г.*

Глава 1

НАЧАЛО ЖИЗНИ

Буду рассказывать по порядку, как помню и как «полагается» по трафарету. Итак, о родителях. Я знаю о них очень мало.

Мать. Старшая дочь Эммануила Карловича Равицкого, юриста, киевлянина, и Рахили (Юлии) Савельевны Хесин. О детстве ее почти ничего не знаю. В юности много жила за границей. Прекрасная танцорка (в благородном собрании Киева, на балах, когда ее учитель и она шли в мазурку, они танцевали единственной парой). Очень нервная, она около года провела в психиатрической клинике в Париже.

В Париже же окончила консерваторию. У нее было хорошее меццо, было приглашение в Grand Opera, но был уже муж и уверенность, что семья и сцена несовместимы. В результате на свете появились Сергей и я и не появилась хорошая, думаю крупная, певица. Это было в 1899 году, ей было 25 лет.

Повышенная нервная восприимчивость оставалась всегда. Ею объясняются такие вещи, как безошибочное угадывание, в первое время после замужества, мыслей отца.

В период, когда мать была беременна мной, под Ниццей умирал дед. В Киеве, за обедом, мать побледнела, подошла к двери, повела пустоту к столу и спросила с болью: «Неужели даже думки тебе не дают, папа?» Упала после этого без чувств. В этот день скончался дед, перед смертью просивший свою думку (подушечку). Без существенных различий это рассказывали мать, отец и старик-психиатр, бывший на этом обеде.

После моего рождения жизнь матери целиком ушла в семью. Только пение для себя осталось от старого.

Отец. Большой блондин с бородой лопаткой. Таким и остался в воспоминаниях. Но за этим была горячность, увлечения, иногда слишком неожиданные.

Он, окончив гимназию в Петербурге, поступил в Университет, на физико-математический. Это период жизни, когда он увлекался танцами, был постоянным дирижером их, играл в водевилях, писал стихи, дрался на дуэли и получил прокол в левый бицепс. Завершением этого периода было решение, с несколькими друзьями вместе, поступить

во флот. Блестяще выдержав экзамены, он провалился на разборке гаруса – оказался дальтоником. Перед этим, из каких-то высокого порядка соображений, крестился* (крестным отцом был Саблер, потом обер-прокурор Синода). После неудачи с флотом окончил Университет. К этому времени относится резкий поворот. Отец решает, что в условиях гнета и реакции нельзя заниматься математикой, поступает на юридический факультет Киевского университета. Однако скоро исключается из Университета за оскорбление действием одного из профессоров-реакционеров. Оканчивает университет в Одессе. В это время окончательно формируется как социал-демократ. После окончания живет в Париже, где слушает лекции в Сорбонне и работает журналистом. Там заново знакомится с матерью (они знали друг друга детьми) и женится (1899).

В семье отец был младшим. До него появилось 6 девочек. Через два года после рождения отца дед, Моисей Шейнманн, умер (1873). Впоследствии бабка (Розалия Греймер) вышла замуж и имела еще двух сыновей (Александра и Марка Вольфзонов). Она умерла до моего рождения.

После женитьбы отец и мать переехали в Киев, где отец был помощником присяжного поверенного. Во время революции 1905 года принимал в ней активное участие, после 11-месячной тюрьмы был сослан в Баку с лишением всех прав. Там, с 1907 по 1916 год, был служащим в Бакинском Нефтяном Обществе, начав с управделами. Одновременно, несмотря на отсутствие прав, вел политические защиты. Пробовал в 1912 году в компании с приятелями заняться добычей нефти и прогорел.

В 1916 году получил разрешение на свободное проживание и переехал в Петербург. Здесь он был одним из организаторов и директором-распорядителем русского синдиката Нефть. Весной 1917 года, с самого начала, начал работать с большевиками. С закрытием синдиката был юрисконсультом фанерной промышленности, потом Ленинградтекстиля.

С 1925 года, после смерти матери, был представителем Главнефти в Австрии, потом на Рейне, потом в Париже. Вернулся в 1932 году и вышел на пенсию.

Этот сухой перечень хоть немного, может быть, поможет понять напористость и недюжинное умение организовать дело, бывшие у отца. Может быть, хоть кое-что еще появится в дальнейшем рассказе. Вы все его знали стариком, со странностями, чудаком. И трудно передать каким он был в другие годы.

---

* Офицеры флота должны были быть только православными. – *Г. Г.*

Не знаю, какое воспоминанье о себе у меня первое. Одно из очень ярких: комната выглядит по-новому, вещи отодвинуты.

В середине стоит большой сосуд, вроде ванны. По его краю утыканы длинные тонкие свечи, они горят, и огоньки, много огоньков, отражаются в воде, на серебряных боках сосуда, на парчовых одеяниях священника. В купели, то ли смеясь, то ли плача, сидит маленький брат Сережа. Ему, наверное, год с небольшим. И это сверкание риз, сосуда, трепещущие огоньки свечей так хороши, что нельзя уйти. Я смотрю на них, и меня с трудом выпроваживают из комнаты. Сережу крестят. Взрослые говорят, что Юре понравилось. Нет, неверно. Дело не в притягательной силе блеска. Впервые охватило чувство прекрасного, такого, что оно заполняет всё и в нем исчезает сознание. Я понял красоту. Поэтому так неприятно уйти, вообще вернуться в мир обыденного.

Это было до революции (1905 года). Остальные воспоминания того времени не так сильны и не хочется воскрешать их. Мы жили в это время вблизи Крещатика, из окон квартиры была видна Городская Дума и площадь за нею. К нам ходил приятель, много старше нас мальчик по прозвищу Давид-ядовит, сирота, живший и учившийся на деньги отца. И еще была девушка Мария Самуиловна Шпундт. Ее отец или мать встретили на улице, шатающейся от голода. Откуда-то издалека она добралась до Киева, чтобы учиться. И не смогла устроиться. Она не жила у нас, но бывала подолгу, чуть ли не весь день. Училась на акушерских курсах. Была членом бунда. Восторженное жизнерадостное существо, она боготворила мать. Она позже переехала за нами в Баку, а после революции 1917 года приехала в Ленинград и стала Босак. Потом потерял ее из вида.

Шла японская война, подошла революция 1905 года. Пришли погромы. У нас, в христианской квартире, висели иконы на видном месте и спасались 2 или 3 семьи соседей-евреев. Потом стало плохо и у нас. Они ушли. Из окна мельком я видел, как цепь казаков набросилась на толпу (еврейскую) на Думской площади и била ее нагайками, как бежали и падали, спотыкаясь, люди. А потом три семьи были посажены в кареты. В первой были самые маленькие дети и какая-то из дам. Во второй две дамы и другие дети, я в том числе. В третьей, замыкающей, ехали мужчины. Мы проезжали толпу, она шумела, а мама не давала глядеть в окно кареты. Нас привезли в помещение какого-то банка. Там мы прожили пару дней. В последнюю карету кидали камни. В банке было интересно. Я выбегал из отведенной нам комнаты, крутился между служащими и в публике.

Потом мы вернулись домой. Квартиру не тронули. А позже помню, как мы с Сережей играли на полу в детской. Открылась дверь. Были

чужие дядьки в какой-то форме, и отец сказал: «Это детская, здесь нечего делать». Это был первый обыск.

Потом отца арестовали, а мы с матерью переехали в предместье Лукьяновку, на дачу, к бабушке. До этого она жила в самом Киеве и я часто гостил у нее. Они жили втроем: прабабка Розалия, бабушка Юлия и дядя Константин, ее сын, тогда не вполне нормальный, а позже ставший сумасшедшим и рано умерший. Прабабка уже передала власть дочери. Она властвовала в семье долго, после смерти от сапа прадеда. Она была только полуграмотна по-русски, очень умна и по-стариковски ворчлива. Часто со злобой звала горничную Агриппину: «Пьянина! Пьянина!»

Дяди я боялся, хотя он мне показывал в трубу далекие поезда и вообще занимал меня. А бабушку я нещадно эксплуатировал. На улице, отойдя немного от дома, заявлял: «Фу, устал». Но домой не шел, хотел на извозчика.

Вот к бабушке мы и переехали. Только на дачу. Мы и тут живали. Дом казался очень большим. Большой грецкий орех рос перед ним в начале сада. Дальше был фруктовый сад с абрикосами, грушами, яблоками. Я не переносил абрикосов, любил их и болел. Во дворе был рыжий цепной пес Волчок. Он кидался на всех и ласкался только к бабушке. И был еще дворник Гаврила, почему-то очень нам импонировавший. Отец пробовал подружиться с Волчком и потом лежал в доме с наполовину выдранной икрой. Младший из Бееров, Володя, тоже попробовал и тоже заплатил икрой. И только бабушка играла с Волчком, как с котенком.

Иногда отец устраивал вулкан из кучи песка, проделав в ней жерло и горизонтальный туннель от основания жерла вбок. Там жгли стружки и вулкан дымил. А я с почтением смотрел на эту премудрость. Еще пускали мыльные пузыри. И игра цветов на них, их трепыхание на легком ветерке в воздухе опять вызывали восхищение. Но первое, при крещении Сергея, было много сильнее.

Всё это было раньше, до ареста отца. До этого была и игра в кубики с буквами, когда в 2 или 3 года я научился читать и складывать слова, и чтение то отцом, то мамой отрывков из «Джунглей» Киплинга, моей первой серьезной книжки.

Я плохо помню, как шло время в период ареста отца. Помню свидание в тюрьме. Мы были все трое – мама, Сергей и я. Комната. На одном краю два стула. На них, рядом, отец и мама, и Сережа на коленях. На другом конце скамейка. На ней жандарм. У него на коленях я, играю и любуюсь пуговицами. Он возится со мной и, в результате, мама передала отцу письма и литературу. Потом следствие было закончено, отец выпущен. Дома не было ни гроша. У него – 1½ рубля.

Вместо них домой пришел большой букет роз: – «разве я мог, Лида, не принести тебе цветы?»

Летом, после отправки отца в Баку, мы поехали в Крым. У Сережи был хронический колит, мальчик таял. Последним средством были солнце и море. У нас всю зиму он сидел на мозговых котлетах и манной каше. И чтобы он ел, я должен был показывать ему пример. Это было скучно, есть каждый день мозговые котлеты. Я их и сейчас ненавижу.

Симферополь. Широкий четырехместный экипаж. Длинная пыльная лента шоссе. На перевале, когда Чатыр-даг уже был сбоку, в просвете долины показалось море. «Дети, смотрите, вон море». Мы его очень ждали. Я увидел. Сергей показал пальцем высоко в голубое небо: «вон. Вон, какое синее»... Алушта. Потом вдоль синего-синего моря в Профессорский уголок. Там, на даче Григорьева, прошло лето. У меня не всё ясно в памяти – ведь еще два лета прожили в этом местечке. Но были тут «товарищи», как мы с гордостью называли группу студентов, живших в том же пансионе. С ними мы проводили много времени и, кажется, чему-то научились. Купаясь с ними в сильную волну, я был вырван из их рук и брошен на дно. Я не помню удушья. Мягко двигались надо мною волны, качали, убаюкивая, и было хорошо. Когда меня нашли и привели в чувство, было очень неприятно. И я немедленно высказал свое неудовольствие тем, что они тормошат меня.

Осенью мы возвращались в Киев. Загорелый и здоровый Сергей вместе со мной глядел из окна. Перрон, поезд еле двигается. Бабушка.

И Сергей не выдержал: «Бабушка, я котлеты кушаю». Это было действительно много для бедного мальчугана.

Зимой мы уехали в Баку. Я не помню ни отъезда, ни приезда. В Ростове наш вагон был отцеплен от одного поезда и прицеплен к другому. Мама ушла купить что-либо в буфете. В купе остались только мы, да и в вагоне было пусто. И вот вагон покатился. Мы испугались, очень даже. Нас увозят, мамы нет. Мир стал совсем пустой и страшный. Была полная уверенность, что мы потерялись. Сергею не было 4-х, он заплакал: «мама, мама – ушла». И мне хотелось плакать, но я был старшим, нужно было утешить малыша. И я делал это, крепился, слезы капали и всё-таки я уверял, что она придет и не надо плакать. Такими и застала она нас, и мир сразу стал уютным и хорошим.

В этот раз сказалось то же упрямство, что и раньше (я не помню этот случай, рассказывал отец). Мне нужно принять касторку. Отец, посадив меня на колени, хочет ее влить мне в рот. Я верчусь, кричу, в конце концов выплевываю ее. Наконец мне удается, чтобы меня поняли: «Сам». И, взяв в руки ложку, выпиваю эту гадость. Оба раза я упрямился, не поддаваясь насилию судьбы.

Моряк-писатель капитан Д. А. Лухманов так описывает Баку той поры:

> Баку был сравнительно небольшим городом с населением в сто тысяч человек, преимущественно персов, тюрков и армян. Русское население было невелико: несколько батальонов войск, небольшая военная флотилия, администрация города и губернии, пароходные служащие... Рабочие в большинстве были тюрки или татары, как их тогда называли, купцы и служащие на промыслах – армяне и персы, содержатели ресторанов и многочисленных шашлычных – грузины. Город не имел ни водопровода, ни зелени, если не считать двух небольших садиков с малорослыми деревьями: губернаторского и молоканского. Бакинцы пили солоноватую воду...
>
> Основой жизни города было Нобелевское товарищество. Уже в те годы у Нобеля был большой наливной флот на Каспийском море. Почти все суда его носили имена мыслителей: «Будда», «Зороастр», «Моисей», «Магомет». Были еще «Талмуд» и «Коран». Все нобелевские суда содержались чисто, были окрашены в сиренево-серую краску с надстройками и шлюпками цвета слоновой кости... В Баку, в Черном городе и в Астрахани... у Нобеля были выстроены целые рабочие городки собственными мастерскими, доками, материальными складами. Тут же, в веселеньких домиках шведского типа с красными черепичными крышами и палисадниками с цветами жили мастера, рабочие и служащие. Для них имелась баня, больница, клуб, библиотека, огороды и даже оранжерея, где зимой каждый нобелевец за рубль мог приобрести букет цветов. Но... экипажи работали в две, а не в три смены с уменьшением против обычного количества людей, в том числе помощников капитанов, механиков и т. д. Но оплата у Нобеля была много выше, чем у других и, кроме того, была введена прогрессивно-премиальная оплата: за каждую работу, сделанную сверх точно рассчитанной нормы, например за лишний рейс парохода, были очень значительные премии и начсоставу и команде, удваивающиеся при последующем перевыполнении, Это заставляло команду экономить каждый час времени стоянки, держать все механизмы в образцовом порядке и крепко держаться за место. То же самое было и на промыслах. Это по-

зволяло быстро богатеть и развиваться нобелевскому товариществу «Нефть», а с ним и городу.

Лухманов Д. А. Соленый ветер. М.: Морской транспорт, 1958

Баку. Двух, вернее трехкомнатная квартира на углу Персидской и Николаевской, во втором этаже. Очень тугая жизнь. Видимо, еле-еле сводили концы с концами. Почти нет ничего сладкого. Часто даже какой-то полуобед. Но кахетинское всегда есть, в разлив его бутылка стоит копейку. Верблюды – интересно, но не сногсшибательно. Их караваны на набережной. Первые бакинские знакомые. Потом детская группа. Учимся в Крепости у учительницы Юлии Николаевны. И сейчас помню ее гладко причесанные, с пробором, темно-русые волосы, продолговатое изможденное лицо с серыми глазами и чуть хрипящий спокойный и утомленный голос. В перерывы играем на крепостной стене – дом, где живет Юлия Николаевна выходит на стену. И рядом с домом узкий тупик. Он ведет в один из старых домов и так узок, что двое могут разойтись только прижавшись к стене, да и то с трудом. Как-то после занятий рослый худощавый татарин стоял у входа в тупик и подозвал меня к себе – он показал мне крохотный перочинный нож с перламутровой ручкой. Предложил подарить, но не дал, а стал отступать в переулок. Я пошел за ним. И только потом испугался и убежал. Он не погнался – вероятно, кто-нибудь шел по улице. Тогда в Баку детей воровали часто. О случившемся я не рассказал никому. Почему-то казалось стыдным. С одной из сверстниц по этой группе я встретился в Москве – Наташа стала женой геолога Е. В. Павловского.

Лето мы проводили снова в Профессорском уголке (1908). Оно плохо запомнилось, сливается с прошлым и последующим. Следующей зимой появились у нас новые приятели. Основными были Малятские и Лева Векслер. В семье Малятских было четверо детей. Старший, Ильюша, года на 4 старше меня, уже гимназист. Всегда немного насуплен, с угрями. Он держался особняком и не часто снисходил до нас, малышей.

Вторая, Наташа, некрасивая, серьезная и очень душевная девочка. Она всегда тиха и говорит чуть скрипучим, но хорошим голосом. Если бы мы были постарше, она, наверное, легко бы убеждала нас своими интонациями. Но мы были слишком малы и в ответ на все ее доводы только дразнились или дергали ее за две тонкие косицы. Потом Оля, годом моложе меня, черная, очень хорошенькая, живее Наташи, но «девчонка» и, следовательно, в счет идти не может. Четвертый, Сеня, круглолицый, веснушчатый, с узковатыми голубыми глазами, плут и проказник. Он немного младше Сережи. С ним-то и повелась у нас

дружба. По памяти наши встречи с Малятскими кажутся мне самыми обычными – немного игр, болтовня. Но вот Наташа в 1948 году, вспоминая это время, рассказала, что приход Сережи и мой был ужасом для нее и Ольги, да и для Елены Ильиничны, их матери. Она уверяет, что в жизни не видывала таких башибузуков, как наша троица, что весь дом ставился на голову и спасенья от нас не было. Может быть и так, не мне судить. Отец их, Михаил Львович, окончил Рижский политехникум и работал механиком где-то на промыслах. Это был человек, никогда не унывающий, шутник и балагур. В него пошел и Сеня. Немного позже, гимназистом приготовительного класса, он, чтобы уйти домой, инсценировал обморок. Мать журит его, а он ясно смотрит на нее и только твердит: «Ну что ты говоришь, я только шутил, а они поверили». В наших отношениях его очень задевало, что он младший. Обо мне и речи не могло быть, но полгода, отделявшие его от Сережи, – дело другое. В пылу спора о старшинстве он заявил как-то: «Ну и что ж! Это я сейчас младше, а пройдет время и я нагоню, а может быть, и даже перегоню тебя!»

Сережа был сражен этим аргументом. Дружба с Малятскими, то разгораясь, то остывая, не прекращалась до конца, до смерти Сени в 30-х годах и Илюши в 1948, хотя мы и не встречались годами.

Лето1909 года мы, вместе с Малятскими и Векслерами, провели в том же Профессорском уголке. На даче Марии Николаевны Бекетовой мы были бичом – ни минуты покоя и тишины. Вместе бывали и на пляже и на прогулках. Это лето и было началом дружбы.

Баку того времени сильно отличался от современного. Мощно развивающаяся нефтяная промышленность и торговля с Персией уже сделали его крупным и, главное, – быстрорастущим городом. Большие (по тому времени) дома, три гимназии, реальное училище, кажется две женские гимназии, театр, очень значительное скопление интеллигенции – всё делало его культурным провинциальным городом. С другой стороны, это был никак не русский город. И не только потому, что основную массу населения составляли тюрки и армяне. Главным образом этот облик давался интернациональностью его интеллигентной части. Позже в моем классе, например, были: тюрки, армяне, грузины, русские, белорус, евреи, немец, караим. Среди знакомых были и другие нации. Поэтому национальный вопрос, так остро чувствуемый в Киеве, для нас никак не стоял. Он существовал между тюрками и армянами, в меньшей степени между армянами и грузинами. Но армяно-тюркская резня забывалась, ее старались не помнить. Только в том, что армян поддразнивали иногда солеными (намекали, что при их крещении подсаливают воду в купели) и сказывался национальный вопрос для нас. Да, пожалуй, еще в том, что

тюрки держались несколько особняком. Но в этом, главным образом, сказывалось то, что среди них практически не было интеллигенции и нам друг с другом было скучновато. Вражды не было. Это сказалось на всю жизнь – считаться с национальностью было дикарством и с трудом воспринималось сознанием. Я знал, что я еврей, но был русским, не в смысле национальности, а в смысле россиянином.

Второй особенностью Баку был его колониальный облик. Это была не Россия, а русская колония. Подобного не было, например, в Тифлисе. Там ощущалось, скорей, что это часть России, но населенная не русскими. Баку же был типичной колонией. И это м.б. и отделяло нас от тюрок, ибо они себя чувствовали колонизируемым народом. Колониальность, так сказать, Баку определяла и особое отношение в нём к людям. Тот факт, что вы представитель образованных классов России, был достаточен для свободной жизни. Именно поэтому отец (несмотря на исключение) продолжал в Баку защищать и фактически состоял присяжным поверенным. Тюрки, во многих отношениях, сохраняли свои порядки нетронутыми. Кровная месть бытовала открыто. Никакие приговоры не могли ее остановить, по нескольку раз в год среди гуляющей толпы раздавались выстрелы из револьвера, падал убитый татарин, а мститель спокойно отдавался в руки полиции. В 1908 году был случай иного типа (может быть их было и больше, я знаю только один).

В нескольких верстах от города был убит охотник. Ограбления не было, пропала только папаха. Убийца взял только ее – она ему понравилась, а хозяин не отдал ее добровольно, оставалось только пристрелить.

И в то же время было другое: В 1912 году был эсером убит Балаханский полицмейстер. Террористу не удалось бежать. Спасти его от петли отец не смог. Однако приговор привести в исполнение было нельзя – ни один из осужденных на каторгу или на казнь тюрков не согласился стать палачом даже за полное помилование. Эсера расстреляли.

Процессии Шахсей-вахсей (собственно восклицание: «Шах Гуссейн, вах Гуссейн!») двигались по всему городу. Их мы, мальчики, смотрели с особым любопытством. В первый день они показывали Гуссейна и его сестру маленькими. Они едут в изукрашенной, с блестками, повозке под балдахином. Играет музыка. За повозкой, по двое в ряд, идут мальчики лет 7–10 в черных халатах и тюбетейках. На лопатках у них два выреза, и, в такт музыке, они опускают на тело многохвостые плетки. Гуссейн подрастает, и на следующий день его играет юноша. И юноши идут за повозкой в черной одежде и бьют себя по голым лопаткам плетками из цепей. Дальше возмужавший Гуссейн и взрос-

лые «болельщики» с теми же плетками. Эти процессии медленно двигаются по улицам, музыка взвинчивает нервы, и медленно бьют себя по спине участники шествий. Наконец в последний день – плач по Гуссейну после его казни. Музыка особенно напряжена, никаких колесниц нет. Опившиеся настойкой опия процессанты медленно, чуть приседая, движутся по кругу и поют. Головы их бриты и обнажены, и, в такт песне, они медленно проводят по темени кинжалом. Видны лишь порезы, из-за ушей на виски текут струйки крови и каплями падают на мостовую. Это последний день. Кровь когда-то соберется и оживит казненных героев.

У власти не было сил прекратить это празднество. Пусть процессии устраивались богатыми, а били и резали себя за деньги бедняки, они делали это истово и впечатление было большое – и от истязаний и от красоты, пусть варварской, процессий. Только после смены градоначальника (в прежнего была брошена бомба в 1908 или в 1909 году, и он был заменен жандармским полковником) – новый, энергичный и крутой человек, смог убрать с улиц процессии последнего дня, но в мечетях продолжали резаться.

Баку был лишен пресной воды. Работал опреснитель, готовивший воду из морской. Она развозилась в бочках, по копейке ведро. И в специальном пароходе привозилась вода из Куры – она была редкостью и очень дорога. Большая часть ее шла на сад и старших служащих Нобеля.

На берегу моря, где потом был разбит бульвар, и на рынках лежали верблюды караванов, поднимали свои красивые головы и поворачивали их на бесконечных шеях. Они жевали жвачку, иногда истошно кричали.

Груды плодов на рынке, стопки чуреков. В ашхане для бедняков вмазан большой казан в низкую печь и в нем на бараньем жиру жарятся кишки. На круглой скамье около казана их ест тюркская беднота. Двери на улицу нет; ашхана – это, по сути, только глубокая ниша в доме, ничем от улицы не огражденная. Мимо идут амбалы (носильщики) – основной вид транспорта для небольших грузов. Такой зарабатывает 25–30 копеек в день, спит на улице, иногда в ночлежке, и копит, копит, чтобы за много лет труда собрать 10–25 рублей и на проезд в родной Персидский Азербайджан и там открыть лавочку и ничего больше не делать всю жизнь.

Самые богатые люди в Баку – Тагиев и Муса Нагиев – полуграмотны, особенно второй. Богатство связано с убийством родичей. Один из клиентов отца – купец Рассулов. Одет по-персидски, ногти и борода крашены хной, по-русски говорит совсем плохо и, когда попадает в трудное положение, разводит руками: «Ми дурак, ми савсим дурак».

У него пара хороших грузовых пароходов и миллионов шесть рублей.

Со всех сторон город окружен нефтью. Она, а не торговля, предопределяет жизнь города. Черные, пропитанные нефтью, вышки Биби-Эйбат, Балаханов, Сабунчей, Романов, Сураханов. Трубы нефтепроводов, баки по 5 000 тонн. И рядом с промышленными участками – нефтяные колодцы, из которых вычерпывают по ведру тяжелой нефти в день бедняки тюрки. Есть среди них и поумней – эти устраивают колодцы вблизи нефтепровода, протыкают снизу трубу и затыкают деревянной втулкой и делают перекрытую досками и засыпанную сверху землей канавку к своему колодцу. Ночью в него переливается нефть, днем вычерпывается. Но их ловят – они не знают, что глубинная нефть легка. Мы бываем с отцом на промыслах. Канатное, чаще штанговое ударное бурение, устройство долота, обсадные трубы, желонки – мне хорошо знакомы. Я бегаю по промыслу, пачкаюсь, к ужасу мамы, и кажется это всё совсем обычным, как ежедневный обед. Видел фонтаны, перекрывающие их полуаршинные чугунные плиты, о которые разбивается мощная струя. Был в те времена второй по величине в Баку фонтан – 30–35 тысяч тонн в сутки. Я ускользнул от отца и пробрался в вышку. Это абсолютно запрещено: камни, выкидываемые фонтаном, могут в любой момент при ударе о чугун зажечь фонтан. В вышке невообразимый рев. Вместо фонтана стоит неподвижная, похожая на темное железо колонна, окруженная легким туманом брызг. И всё. Но разочарования нет – я не могу оторвать глаз от этой неподвижной массы. Меня находит мастер и за ухо вытаскивает наружу. Я даже не обиделся, и впечатление этой колонны живо и сейчас.

Горящие фонтаны, когда оранжевая струя огня закрыта черными клубами и смешивает с ними свою светящуюся краску и далеко нельзя подойти, так жарко.

Газовый фонтан – будто плоский каравай жемчужного, совсем прозрачного тумана накинут на промысел. Горящие нефтяные баки – багрово-черные клубы дыма. Дым образует черные облака. И был случай – из них три дня шел тушевой дождь. Он оставил серые пятна и полосы на лице, пальто, тротуаре, на стенах.

Закопченные казармы рабочих, их черная от копоти и изможденная детвора не производили впечатления. Для этого надо было быть постарше.

Я забежал вперед. В первые годы житья в Баку появились новые властители наших дум – Лункевич, Сетон-Томпсон, Нансен. Они прибавились к двум прежним авторитетам – Киплингу и Брэму. Где-то рядом был Жюль Верн. Майн Рид и Купер у нас с Сергеем не котировались.

Брошюрки Лункевича, переплетенные в красные с черными уголками и корешком переплеты с золотой надписью: «Юрочке и Сергунчику от бабушки» были для нас неисчерпаемым источником мудрости. Мы не сомневались: Лункевич величайший ученый на земле, больший, чем даже Брэм. И мы знали то, что он рассказывал. Сетон-Томпсон был величайший писатель. Мама читала, мы, дрожа, слушали про Джека Короля медведей или про Лобо. Страшная повесть об их конце доводила до рыданий. Но расстаться с ними не могли. Только бесцельная гибель не умевшего защищаться Крэга была горька, да непонятно было зачем старый гризли пошел в долину смерти – жизненная усталость вне детского мира. А потом – Нансен. «Во мраке ночи», «Во льдах» – изучены почти наизусть. С капризничающим Левой Векслером мы играем в Нансена. Нансен, конечно, я – я старший. Иоганссен – Сережа. А Леве, младшему, достается Свердруп.

Скандал, Свердруп дерется и плачет. Он не хочет быть на Фраме. Никакие доводы не помогают, пусть гибнет неуправляемый Фрам. Обычно, в конце концов, истина торжествует, но иногда приходится жертвовать ею и Свердруп тоже идет по льду.

Мы переехали на новую квартиру, в одном квартале от прежней, на Врангелевскую 11, у Соборной площади. Большая квартира с длинной стеклянной галереей во двор. В доме старый дворник-армянин Акоп, у него сын Валтасар, моих лет. Он становится самым закадычным другом, даже Сеня должен уступить ему. Игры во дворе и у нас дома. Валтасар по-восточному мягок и ласков, в нем нет порывистости и дикости Шейнманнов, и всё-таки нам хорошо вместе.

На Соборной площади смотрю комету Галлея, но она уже небольшая – в период наибольшей яркости она была видна перед рассветом и папа не хотел будить меня.

Не помню в каком году была жестокая холера. Врачи падали с ног, не хватало больниц. У нас была горничная полька Текла. Как-то мы гуляли с нашей немкой Ольгой Абрамовной вечером в саду. За квартал от дома нас встретил папа и отправил ночевать к кому-то из знакомых. Теклу увезли. Была дезинфекция. Через два дня Теклы не стало.

Отец стал часто брать нас (больше меня одного, изредка и Сережу) за город. Иногда прогулки очень утомляли. Он с этим не очень считался. Прогулки бывали и только с ним, но особенно интересные, когда шли группой члены Крымско-Кавказского горного клуба. Главные в нём были полковник пограничных войск Цисс, швед Вальтер и отец. Цисс – любитель-натуралист – прекрасно знал фауну. И у нас скоро завелся террарий. В нем были агамы (драконоподобные ящерицы пустыни), аймецис – красивая голубоватая с красной полоской на боку ящерица с очень короткими ногами, обычные ящерки, болотная

черепашка, степной удав, лягушки – все своего лова или выменненное на пойманных нами.

В другой половине террария жили два тушканчика. Всё это было ручное, знало и Сережу, и меня, и горничную Катю; подбегало к нам, когда мы открывали дверку. В конце второго года жизни нашего террария все ящерицы погибли оттого, что мы накормили их травленными бурой тараканами. Погибли и тушканы: один сломал себе ногу, другой заскучал в одиночестве. Это были самые милые зверьки, какие когда-либо были у нас.

Шестнадцать дней прожила у нас выпь. То был рекорд Баку – у Цисса, Вальтера они выдерживали не больше трех дней. Она уже ела и стала немного привыкать к обстановке. Потом припадок тоски по воле и мы нашли ее утром с разбитым о стенку террария лбом.

На стенах квартиры ночью бегали стенные маленькие ящерицы – геконы. Они были как будто необходимой принадлежностью жизни. Мы приносили тарантулов, фаланг, скорпионов. Заставляли их драться друг с другом, скорпионов кончать с собой в кольце раскаленных углей. Мечтали о джейране, но его нельзя держать в квартире, нужен собственный дворик. Иной раз на улицах можно было видеть татарских мальчишек с этой рыжеватой антилопой – джейраны приучаются как собаки. А недалеко от нас жил ручной шакал, он явно считал себя собакой.

Я стал ходить в новую группу. Отец считал гимназию вредной. После того, как группа Юлии Николаевны распалась, я учился года два дома один. Потом составилась группа из трех девочек и меня. Преподавал нам Василий Федорович, чахоточный украинец из восточной Галиции. Думаю, что девичье окружение сильно влияло в это время, но сама группа не оставила много воспоминаний. Таня Шатуновская уже в эти годы показывала, что она будет дамой, и близкой мне стать не могла. Ее хмурая и серьезная сестра Ольга любила быть одной и сама передумывала всё, что занимало ее. Она была особняком и в группе. Во время революции она порвала с семьей и ушла в большевистское подполье. Третья, тоже Ольга, фамилию не помню, дружила со мной. Уроки проходили тихо. Чахоточный Василий Федорович был тих и очень скромен и умел создать соответствующее настроение вокруг себя. Он много дал нам и умел убедить, заставить сосредоточить внимание на предмете. Из всего периода ученичества у него, запомнился очень мелкий эпизод, но оставивший яркое впечатление, оно не исчезло и через 40 лет. Был перерыв между уроками, тепло и я стоял на балконе комнаты В. Ф. и играл перочинным ножичком, еще новым для меня. На перила села муха. Я попробовал ее перерубить. Она отскочила и снова села. Так было несколько раз. Наконец мне удалось, и я отсек ей голову. Она подскочила, упала на спину и мелко

шевелила ножками. Показалось, что и голова ее, лежа на перилах, шевелится. Меня охватило омерзение и ужас убийства. Хотелось бросить ножик, уйти куда-то от себя самого. А самое главное – приставить ей назад голову и воскресить. Это было очень сильно и не сразу отошло.

Полковник Мартынов, жандарм, ставший у нас градоначальником, подтягивал город, наводил в нем порядок. Одним из мероприятий в этом направлении был приказ, чтобы все гимназисты ему кланялись и все были коротко острижены. И мы, малыши, реагировали по-разному. Лева Векслер снимал фуражку широким жестом, едва завидев вдали полковника или его коляску. Мне не надо было кланяться и, всё же, хотелось уйти в сторону, чтобы и другие не кланялись. Было как-то стыдно. Сеня Малятский сделал иначе. Он играл на бульваре. Проходил Мартынов. Сеня посмотрел и отвернулся. Мартынов подошел: «Мальчик, подойди сюда». Сеня повернулся и встал. «Я – Мартынов». Сеня спокойно: «А я – Малятский». – «Ты один здесь?» – «Нет, с мамой». – «Где она?». Сеня подвел его к Елене Ильинишне, шаркнул ногой: «Мамочка, позволь тебе представить: полковник Мартынов. А это моя мама». И отошел.

Поздняя весна. Уже жарко. Дует моряна. Влажный нагретый воздух не позволяет дышать. Одежда липнет к телу. Кто может – запрятался в дома, за толстые стены и прикрытые ставнями окна. В полусумраке терпимо, если не надевать белья под легкую одежду. Вечером все выходят на улицу. Жара спала, и всё-таки жарко, душно, парно.

На «сковородке», так называют только что заасфальтированный бульвар, состоящий из трех овалов широкой дороги с газонами, площадкой для игр и эстрадой посредине, – на «сковородке» с трудом пройдешь. Толпа народа идет плотно, один за другим, кружась по дорожкам, скамейки и столики кафе заняты. Мы снуем от скетинг-ринга к дорожкам, юлим через толпу, играем. Потом, быстро протянув бечевку, садимся по краям дорожки. Команда. Сеня и я натягиваем бечевку, чуть подняв над асфальтом. Кто-то в толпе спотыкается, падает. Мы счастливы и бежим дальше.

Мы на третьей квартире, на горе над городом. У горничной Кати подросла дочка Шура, она много младше нас и всё-таки самая близкая подруга. Всё делается вместе. Шура Кудинова пытается читать всё, что мы читаем, вместе играет, вместе делает физические и химические опыты. У нас в маленькой комнатке целая лаборатория – реторты, склянки, трубки, горелки, реактивы, электрическая машинка, локомобиль, мекано (что-то вроде современного конструктора, но лучше сделано) и пр., и пр. Мы добываем водород, кислород, углекислоту, заставляем светиться Гейсмеровы трубки, пускаем в ход примитив-

ное радио. Я собираю марки, учусь классифицировать, разбираюсь в каталогах – словом дело поставлено по-настоящему. Сережа собирает монеты. И за всем этим внимательный взгляд отца. Он всё знает и умеет. И твердо ведет нас. Только вот многое оказалось вредным потом – и неумение лгать и приспосабливаться, и отсутствие интереса к выгоде, и то, что жизнь только тогда жизнь, когда даешь больше, чем берешь себе. Но, может быть, это и хорошо, что было вредным и мешало иногда?

Кругом Баку почти пустыня. Желтые и желтоватые холмы, почти того же цвета обрывы. По-южному синее небо, море, то зеленоватое, то – чаще – голубое, то темное, с бурунами широкой желто-бурой каймой вдоль берега. Зелень есть только в двух садах в городе – Нобелевском за Черным городом (там нефтяные заводы) и городском. И ни разу не возникло у нас удивления. Мы знали зелень, видели летом зеленые горы Кисловодска, сады Украины, Крым. Но желтые безводные горы Баку были, пожалуй, привычнее. Мы часто бывали на возвышенностях у Иссамальской долины, где проходит железная дорога на Тифлис. Как-то отец сказал: «Так выглядит Палестина». И с тех пор, когда читаю или слышу о Палестине, я вижу крутые обрывистые желтые борта, солончаковое, плоское дно долины. На нём редкие кустики колючки. Вьется железнодорожная колея. В конце долины клочок моря. Солнце жарит, хочется пить и надо потерпеть, пока можно будет съесть лежащий в кармане апельсин.

Если перейти долину и взобраться на другой склон, то придешь на Аташку – это площадка, где пробиваются газовые струи и где горят вечные огни. Мы делали в почве палкой ямку, подносили спичку и загорался огонь. Сейчас Аташка вся в вышках и огней больше нет.

На другом конце долины, ближе к Баладжарам, откуда идет ветка к Баку, плоская светло-серая масса, немного напоминающая каравай – Локк-батан, большой грязевой вулкан. Но выброса грязи нам так и не пришлось видеть.

Второй излюбленный район прогулок – Бакинская бухта. На лодке, иногда на катере, мы довольно часто ездили. Вода теплая, море голубое – не синее, синим я его не помню. Это то рыбная ловля на развалинах, стоящих в воде (сейчас они снова на суше), то ловля раков на Зыхе, то купанье в середине бухты, с лодки. Отец учит плавать, довольно сурово, скидывая меня попросту в воду. Позже, когда мы подросли, мы и одни, если были деньги, нанимали лодку и отправлялись в море. Лодки были большие, открытые, с большим латинским (косым) парусом. Они стояли рядами у пристани, тюрки-хозяева зазывали прохожих. Чтобы привлечь к своей лодке, у многих на корме были надписи, вроде такой:

«Ай, Пушкин-молодец, перви приз, залатие часы!»

Лето 1911 года мы проводили не в Кисловодске или Крыму, как обычно, а под Киевом, в деревне Малютинка, около станции Боярка. В памяти не сохранилось времени, когда мы жили там, еще до рождения Сережи.

Это лето совпало с увлечением Сетон-Томпсоном, но уже не только рассказами о животных, «Маленькие дикари» дали обильную пищу для игр: луки и охота с ними (только след отмечался не горохом, а бумажками), кража гороха на полях – «по-индейски», ползком, на глазах у сторожа и т. п.

Много увлекались запуском змеев. Особенно когда приехал папа, змеи стали уходить на 100–150 сажен. Потом он уехал; заболел Сергей, с которым мы спали в одной кровати. Я не заразился, но меня увезли – у Сергея была скарлатина.

В результате я попал к тете Наде (сестре отца Надежде Моисеевне Фарбштейн).

Ее дети были уже взрослыми или почти взрослыми, так что я был баловнем. Я увлекся ручной, но очень злой белкой соседей, спускавшейся к нам по дубу с балкона 3-го этажа на 2-й. И заболел. Что-то случилось с носом. Он совсем закупорился, потом стало вонять чем-то гнилым. Врач констатировал полипы в носу и загнивание слизи между ними. Пошли промывания. Потом резать. Не помню, кажется под кокаином. Как и в раннем детстве с касторкой, я решительно отказался от помощи других, взял в руки платок, зажал их между колен, так и сидел, пока вырезывались полип за полипом. Только дома, слабый от потери крови, потребовал обещанное мороженое. Немного позже поправился Сергей, приехал отец , и мы все вчетвером поехали в Сару, возле Алупки. Через два дня после нашего отъезда из Киева там был убит Столыпин. Богрова в семье немного знали, он учился вместе с младшим братом отца. Никто не хотел верить, что он провокатор. Поверили потом.

В Крыму как в Крыму. Запомнился лишь приезд царя: яхты «Штандарт» и «Полярная (или Сев.) звезда» под эскортом миноносцев прошли мимо нас, потом проходил весь флот на показ из Севастополя в Ялту и шныряли вдоль берега сторожевые миноноски.

Кажется в эту, а м.б. в следующую зиму я увлекся Ассирией и Вавилоном – по книжкам Рагозиной. Мечтал, что буду сам делать раскопки. Так увлекался, что еще и сейчас помню содержание книг.

Ранней весной отец ехал в Питер и решил взять меня с собой. Эта поездка оставила много впечатлений. Мы ехали кругом, через Батум, Гагры, Сочи. Я уже видел побережье раньше, когда мы как-то ехали этим путем в Крым. Тогда, кроме мамы, ехала и бабушка, слегшая от

морской болезни едва взойдя на пароход, Потом слегли один за другим все, так что пришлось высадиться в Новороссийске, переждать шторм и до Севастополя ехать другим пароходом. Этот раз мы тоже попали в шторм – они обычны в марте. Высаживались в Гаграх в большую лодку, при сильном волнении, ночью. Еле оттолкнулись от парохода и оказались у его кормы. Не видя нас, он дал задний ход, и шлюпку потянуло в винт. Гребля не помогла. Два матроса на носу упирались веслами в корму парохода. Весла гнулись как лучины, и шлюпка вплотную подошла к винту. Помню, что вся публика бросилась к корме и на одну сторону, помню ошалелый голос отца: «Юра, иди сюда, иди, я говорю!» Реальность опасности до меня не доходила, но было интересно и страшно (не опасно, а страшно). Я сидел на самом носу между матросами и глядел как то захлебываясь в воде, то вырываясь наполовину в воздух, работал винт. В последнюю минуту пароход дал передний ход, и нас отбросило от него. Дня два-три провели в Гаграх. В 1937 году я никак узнать их не мог, даже старую турецкую стену, из которой взрывами ломались камни на цемент. На другой день после бури я нашел на берегу небольшую черноморскую акулу – морскую собаку. Она была с меня ростом, у спинного плавника торчал большой шип. Больше я акул не видал никогда. По пути из Гагр в Сочи нас в автомобиле чуть не задавил здоровый бук, поваленный возобновившейся бурей. Дальнейший путь в Питер мне не запомнился.

В Питере мы жили у тети Лизы (Елизаветы Моисеевны Фейерштейн). Ее муж – биржевой маклер – был на 15–20 лет старше ее. Детей у них не было. Деньги были. Она, как и многие барыни, занималась искусством. Бывали вечера. Всё это было мне не по душе. Стесняло как-то, хотя я делал что хотел. Один раз устроил неловкость. Перед каким-то ужином, на котором я, конечно, не должен был быть, я увидел в буфетной свежую клубнику. Даже для бакинца клубника в марте была необычна. Я решил попробовать и съел несколько ягод. Воровством это не было – ягоды и фрукты не могли быть ценностью для южанина. И как же я был удивлен на другой день, когда узнал, что я наделал хлопот, что ягоды продаются поштучно и только у Елисеева, и что их не хватило и спешно пришлось прикупить. Меня не журили, но было неловко, и, пожалуй, прежде всего не за себя, а за то, что можно так торговать клубникой.

Действительно интересны были в Питере две вещи: Бееры и Зоологический музей. Первые жили совсем рядом с тетей Лизой, на проулке от канала к Мариинскому театру, напротив дома Консерватории. Тогда еще были живы все: тетя Фанни, Вера, Сергей, Людвиг и Володя. Молодежь училась и жила на заработок. Работали все пятеро – тетя служила, остальные давали уроки. Жили очень туго.

Здесь в первые дни многое казалось не менее странным, чем у тети Лизы. Там безделье снобов, здесь в полной мере трудовая жизнь. У нас было иное – работал отец, а дома были кухарка и горничная, и жизнь типичной интеллигенции, с достатком, но без «искусств» и прочего такого. Но, через несколько дней, именно у Бееров оказалось хорошо и там чувствовал себя дома. С ними гораздо лучше было ходить в Мариинку, чем с тетей Лизой или папой. У них не было денег, но для музыки они (кажется Людвиг) давали уроки даром сыну одного из обслуживающих галерку. В его дежурство мы и ходили, даром, сидели на ступеньках лестницы и слушали так, как только можно слушать и как слушала только галерка.

Дома у них был культ матери. Всё делалось, чтобы хорошо было ей. Главную тяжесть несла Вера. Она жила для братьев и для матери. Училась. Только своей жизни у нее не было никогда, до смерти тети Фани. Та тоже отдавала всё, но как-то не замечала, что ей отдают столько. И семья была очень тесной и дружной.

И еще был Зоологический музей. Там я пропадал днями и знал его как надо. Сотрудники привыкли, видимо, ко мне, подходили, рассказывали. Ничего лучшего мне не было надо. Я был достаточно подготовлен к этому в части млекопитающих и птиц. На остальных я почти не обращал внимания.

Из других впечатлений заметными были Русский музей (Александра 3-го) и гибель Титаника.

Трудно восстановить порядок этих лет. Но поездка к поездке. По-видимому, весной следующего года отец с группой Горного клуба поехал в дальний район Ленкорани и взял меня с собой. Там впервые пришлось увидать русских переселенцев в густых девственных лесах, слышать рассказы о кабанах, которые уничтожают посевы, и о барсах (вернее серых пантерах). Молокане рассказывали, как они мёрли первые годы от лихорадки. Впечатлений было много. Кроме них, я привез с собой желтую лихорадку и полтора месяца ежедневно глотал растворенную в вине хину. Потом несколько лет один вид красного вина вызывал тошноту.

В 1913 году пришло очередное увлечение. Были отодвинуты на второй план мекано и опыты по химии. «Опыт – лучший учитель» встал на полке, вместо того, чтобы лежать на столе в «лаборатории» – маленькой комнате, где мы и учились и делали опыты, в том числе и с электрической машиной. Я увлекся астрономией. «Путеводитель по небу» Покровского, несколько популярных астрономий, календари, ежегодник нижегородского кружка любителей. Кроме того небольшая труба (37 мм) покойного маминого брата (дяди Кости, он умер умалишенным) и бинокль. Вначале увлечение было совсем

расплывчато. Я читал, смотрел на небо. Научился распознавать звезды (это так и осталось до сих пор, и не раз помогало мне во время работ в поле). Сильный толчок дало затмение весны 1912 года. Отец со мною поехал из Питера на ст. Серебрянку, и мы видели кольцевое затмение. Я даже успел заглянуть в телескоп астронома, к великому его негодованию. Зимой 1912/13 и 1913/14 годов и летом 1913 года в Кисловодске я занялся «всерьез». Пытался вести наблюдения за падающими звездами и отмечать их пути на карте неба. Но это было весьма несистематическим занятием. Больше занимался переменными. Отчетливо помню η Орла и не помню уж какую Цефея. Записывал их яркости, получались серии, но не слишком длинные, наверно месяцев по 2, может быть 3, а потом перерывы. Всё-таки отправил их в Нижний. Еще решил ловить Новые звезды, но тут явно не хватило пороху – избрал самое маленькое созвездьице, правда всегда мне нравившееся – Северную Корону. Новая в ней появилась, но лет через 25, наверно. Интерес к астрономии у меня остался до Университета, но не столь горячий. Это глупо говорить, но со времени увлечения Лункевичем и серьезного ответа на вопрос отца, кем я хочу быть – «Учёным», ни разу не было увлечения технической профессией, хотя к этому, казалось, толкало многое.

Мы не одно лето провели в Кисловодске. М. б и не стоило бы вспоминать это время, так как ничего существенного оно, как будто, не дало. Большая его часть уходила на игры со сверстниками, такие же, какие были и в Баку и в Крыму. Курортный дух Кисловодска вряд ли мог дать что-либо хорошее, хотя в самую его гущу мы не могли опуститься. Потом приезжал отец. Тогда шли прогулки за прогулками. На лошадях (в экипажах, конечно) с мамой и знакомыми, пешком – только с отцом. Синие камни, Кольцо, Бештау и еще не помню куда. Бермамыт – тогда почти дикое место с картонным шведским домиком на крючках. Там впервые я увидел хребет по-настоящему, увидел сверху долины и кряжи предгорий, настоящие обрывы. Там почувствовал и настоящий туризм, почти замерзая на ночевке под буркой отца. Видел утро в горах и такую яркую перед восходом Венеру, что от нее ложились на землю тени.

В Кисловодске мы встретили войну. Помню, как во время обеда у Читаева (был такой ресторан в Кисловодске и Тифлисе) к нашему столику подошел И. Л. Векслер (его близкие называли Жуком за черноту) и сообщил о войне. Мы, мальчики, приняли это известие с большим интересом. Потом следили за каждым шагом войны. Часто попадавшееся в сводках выражение «наши войска на плечах неприятеля ворвались» мы понимали буквально и с жаром разъясняли, как солдаты вскакивают на плечи столпившемуся в панике врагу,

бьют его прикладами и штыками и врываются в город. Но увлечения, хватило ненадолго…

Осенью в Баку было решено, что я поступаю в гимназию. Не знаю, почему было нужно, чтобы это произошло в середине учебного года. Я поступал в 4-й класс, должен был сразу держать испытания за 3½ класса. В Баку в это время было три казенных и одна частная гимназия и реальное училище. Ближайшая к нам 2-я гимназия была исключена – это было гнездо юдофобства. Отец выбрал 1-ю, до нее было далеко, вероятно около трех километров. Помню вечер экзаменов. В один день сдавалось всё. Вместе с нами, двумя-тремя поступающими, экзаменовались за 4 класса жаждущие льгот по военной службе. Это был трудный вечер, один из самых трудных за всю жизнь.

Но вот своего появления в гимназии совершенно не помню. Вероятно очень стеснялся – так всегда с чужими бывало.

Гимназия была из хороших, но казенных, провинциальных. Было достаточно фокусов, были забавные, но были и хорошие преподаватели. Не было одного – расовой розни. Смесь наций в классе была такая, что вопрос о национальности не мог быть помехой нашей жизни. Только тюрки и армяне не забывали о нации, но без аффектации. Там у меня появились новые друзья. Главными были Гриша Кахадзе, Гога Джакели и Селиверстов (забыл его имя). Гриша – сын мелкого ремесленника, близорукий, вдумчивый и несколько замкнутый парень. Он ничем не выдавался в игре и драке, но с ним много и хорошо говорилось.

Гога – нервный, худой, с большой круглой головой. Его лицо часто подергивалось, хриплый голос повышался, он любил командовать, но не нами, только посторонними. Дрался и бегал он виртуозно, много читал и думал. Гога был потомком владетельных князей Ахалциха, родители были богаты. Семья явно вырождалась.

Селиверстов примкнул к нам годом позже. Белобрысый, низкий, плотно сшитый, он был полон энергии, самых неожиданных мыслей, но не любил игр и драки; он был сыном мелкого чиновника, жил рядом с нами. Семья их еле сводила концы с концами. В разное время то один, то другой были особенно близки мне. Эти друзья сохранялись до отъезда из Баку. И был еще один близкий друг – Митя Каплан. Он учился в другой гимназии, был веснушчат, тих, любил быть дома, а не на улице. Но он был особняком и в компанию не входил.

В гимназии всё шло, как положено. Драки в одиночку и класс на класс, казаки-разбойники, в пояса. Большей частью игры были дикие, по климату. Мы умели заговаривать нашего латиниста, чтобы не отвечать урока, шалить, если классный наставник, Никтополион Павлович бывал в подпитии, терпеть не могли француженку, полную, угреватую и нами не заинтересованную, очень ценили уроки географа

Карапетяна, который учил, рассказывая не только по программе – он прочел цикл лекций о Кавказе. У меня не ладилось с латынью, появились двойки, и репетитором стал отец. Он был неумолим, доводил до слез, но в течение четверти заставил научиться. Я стал читать легкую прозу почти как по-русски. Потом пошли крупные трения по Закону Божию. Это было, главным образом, следующей зимой. Я не выносил фальши курса. Не хотел учить ни слова и отвечал бесконечные тексты по катехизису, считывая с книги через две парты. Особенно остро было всё это, потому что я был уверен, что священник сам не верит и заставляет нас верить не по-хорошему. Я сказал об этом перед всем классом. Стало еще хуже. Я не выходил из двоек, и за дело, надо сказать. Но иметь в четвертях двойки по Закону надо было суметь. Я сумел. К ним присоединились единицы по поведению и четверка в четверти. Помню, как заработал одну. Я только что с великим трудом выгреб на 5. Довольный священник обмакнул перо и выводил пятерку в журнале. Я зарядил жеваной бумагой сарбакан и выстрелил ему в руку. Но промазал, комок точно лепился в перо и уже законченное 5. Он поднял спокойно глаза, поправил 5 на 2 и поставил 1 за поведение. Это не меняло дела. Прилепленные к потолку на ниточках чертики, стрельба друг в друга из маленьких рогаток – много можно делать в классе, особенно если уже весна. Мы и делали.

Город, вернее большинство мальчиков города делилось по признаку района проживания на «шайки». Я принадлежал к Чимбарикентской шайке. Встреча с членами других шаек была, почти обязательно, поводом к драке. Мы дрались, главным образом, с самой дикой шайкой города – крепостной. Она господствовала над городским садом, где мы проводили много времени. И было небезопасно ходить туда одному. Обычно бывало человек 6–10. Предводителем чаще всего являлся Гога. Редко бывало, чтобы мы бежали, дрались чаще один против 2–3, отступали только после побоища, с честью. Гога дрался, как у нас умели только грузины. Раскачиваясь, будто плохо держась на ногах, он выносил, не падая, самые сильные удары и валил с ног других шутя. Его боялись кто знал, лезли под удар незнающие, судившие по его щуплой фигуре. Но бывало и плохо, особенно одному. Раз как-то пришлось драться одному с тремя и в таком месте, что не к чему прислониться – дорожка была огорожена только низеньким заборчиком. Я, помню, повалил одного и неплохо отработал другого, но сам был избит почти до потери сознанья. Какой-то незнакомый дядя извлек меня и на извозчике отвез домой. Бывали дуэли на рогатках или камнями.

С городским садом связано первое столкновение с противоборством грубой силы и своей, несмотря на правоту, беспомощности. То

было года за 2–3 до гимназии. Случай был исключительный. Шла игра в казаки-разбойники. Я заметил противника первым и налетел на него, много старшего – мог захватить большие силы неприятеля. Испустив победный клич, я сделал по нему несколько выстрелов из деревянного пистолета. Он схватил пугач и «убил» меня. Ничего не могло помочь. Моя добыча была сильна и меня «убила». Возмущение было большим, ведь он уже был «убит», когда стал стрелять, и всё-таки ничего сделать я не мог. Таких случаев в детстве было мало, они особенно болезненно переживались. Откуда-то, от отца конечно, – глубоко вошла в меня идея права. В юности я вовсе не знал таких минут. И только очень поздно столкнулся и был плохо подготовлен к таким моментам.

Была в отрочестве и юности одна вещь, очень мешавшая жизни. Постепенно, в результате недомолвок дома, а главное, нескольких неудачных разговоров с отцом, я убедился, что мне предстоит судьба дяди Константина. Это убеждение зрело постепенно. В годы, о которых говорю, появились первые намеки на него. Никогда подобная идея не могла бы безраздельно владеть сознанием мальчика. Она появлялась время от времени, потом отходила на задний план, даже вовсе исчезала. По мере взросления убежденность в грядущем идиотизме возрастала. Я знал, что это будет, когда стану взрослым, но ведь взрослость для мальчика это никак не больше 20 лет. В отрочестве это были отдельные моменты, в юности бывало и хуже.

На пасхальные каникулы 1915 года меня отправили в Кисловодск, погостить у Веры Моисеевны Векслер и Левы. Они жили там уже года два. Я впервые ехал по железной дороге один. Это особое ощущение только и осталось в памяти. В Кисловодске было особенно хорошо. Без курортной толчеи, чудесная весна и полная свобода. Хорошо гулялось, таскал за собою толстяка Леву. Далеко синели горы и воздух над Ребровой балкой, где жили Векслеры, был совсем чистым, без признака пыли. Потом случилась неудача. Зимой я научился ездить на велосипеде. Брал его напрокат около гостиницы над парком (у Красных камней). Ездил я неплохо. Как-то, оставив Леву ожидать, я полным ходом спускался от Серых камней в парк по аллее для экипажей. Навстречу по неположенной дороге ехала тройка. Дорога была обсажена дроком и свернуть было некуда. Я воспользовался площадкой у гостиницы, чтобы сделать кольцо вокруг клумбы и таким образом пропустить мимо тройку. Но скорость была слишком велика, я не рассчитал и врезался в клумбу, перелетел через нее и распластался у дверей гостиницы. Было очень больно правой кисти. Кое-как отряхнулся и, работая левой рукой и правым локтем, стал выправлять повернувшееся во втулке колесо велосипеда. Поправил и пошел сдавать. Домой шли с Левой, рука ныла и не двигалась, но

болтали. Дома переполох, так как запястье вспухло. Потащили к врачу. Он осмотрел, заставил подержать руку на весу и констатировал сильный ушиб. На всякий случай на другой день сделали рентген; рука была забинтована. Оказалось, что треснули кости предплечья и кисти и раздроблено запястье. Опять, как и два года назад, я обманул врача тем, что стыдно было показать, что больно или боюсь. Тогда я был так спокоен перед хлороформом, что мне дали малую дозу и никак не могли усыпить. Руку положили в гипс, а в утешенье Вера Моисеевна подарила бутылку вишневки, выдержанную 7 лет. Замечательная была вишневка. Домой я приехал героем. А через месяц рука почти совсем зажила. Только еще много лет при попытках фехтовать или боксировать ныло запястье.

Я забежал вперед. 1915-й был годом, когда впервые появились какие-то признаки взрослости. Первые, совсем неясные, влюбленности были и раньше, в 1913 году. Они длились от одного до десятка дней. Я не говорил о них – и стыдно и слишком хорошо, чтобы рассказывать. Была такая Маня Хандамирова на уроках музыки, потом мелькнули Лида, Маня Быкова. В 1915 году случилось иначе. Первую половину лета мама лечилась в Ессентуках. Это скучное место. И всё время проводилось в парке, больше и ткнуться некуда. Днем крокет, скоро надоевший, так как, играя любым способом, каждый кончал партию с одного хода. Приятелями по парку были бакинец Рува Портнов и Женя (фамилию не помню) из Питера. Вечером ухаживали за тремя девчонками, самым заправским образом. Целовались в темной аллейке. Старшая, Юлия, была помолвлена, младше ее две сестры, Таня и Катя. Никакой влюбленности не было. Было приятно целовать, шутить. Все три были равны в наших глазах. Но и влюбленность была – независимо от них. И я не решался даже познакомиться с Клавой, только поглядывал на нее днем. Это было такое же чувство, как и прежние. А от поцелуев девочек поднималось другое, пришли от Жени журнальчики вроде «Фарса» и «Стрекозы». Эта гадость волновала, но шла как бы отдельно, мимо обычных мыслей, мимо Клавы и даже Кати с Таней. Мама нашла у меня такой журнал, ничего не сказала.

Тогда же, тайком, я стал курить. Уже с полгода, как отец предложил, если хочу, курить открыто, но это было так неинтересно, что не стоило начинать. Поэтому, несмотря на разрешение, я стал курить тайком. Учил тот же Женя. Первые раза два-три было до тошноты противно.

Во второй половине лета отец повез нас и еще две знакомых семьи на Теберду. Ехали из Кисловодска долиной Подкумка, потом через пологий перевал в Кубань и вверх по ней к Георгиево-Осетинскому (Микоян-Шахар). Как и во всех поездках отца, вез пожилой терский казак Илья и два его сына. Илья крепкий, с обветренным лицом

и белыми морщинами на фоне загара, с небольшой, с проседью, бородкой на клин. Он был фанатиком поездок, для этого и держал лошадей. И, хотя поездки с рядовыми курортниками сулили больший доход, всегда предпочитал везти подальше.

Степная долина Подкумка с невысоким обрывом желтоватых скал, холмистая степь перевала и Кубани были не слишком интересны. Потом первые горы, у Георгиево-Осетинского, поляны лилий над монастырской гостиницей, таких душистых, что ушел оттуда на карачках, едва не теряя сознание. А дальше лесистая долина Теберды, голубая мутноватая река, далекий белый Аманаус. Тут прогулки и поездки следовали одни за другими. Бадукские озера, где вода даже в стакане отблескивает голубым, ловля бреднем форели в Теберде – вода холодная. До того, что замерзаешь. Потом главная прогулка – на перевал, к Клухорскому караулу. С нами, кроме всяких дам, детей, мужчин – С. А. Григорьев, географ, один из «четырех разбойников», по учебнику которых мы учились. Лес с деревьями в 3–4 охвата, Бу-ульгень, похожий на Маттергорн, рассказы карачаев об оленях и зубрах, ущелье Куначкира (это тебе не Дарьял!) и широкая долина выше зоны лесов. Альпийские луга по-кавказски, летние коши, айран. Черный массив Чотчи с мелкими ледниками. Ветеринарный караул под ней, около водяного веера (струя потока падает на камень и отражается, образуя опахало). С утра подъем на перевал, леднички и панорама хребта, потом фирн. Но далеко спускаться нельзя, надо возвращаться. Так потом бывало часто – дойдешь до какого-то места, хотелось бы дальше и манит неизвестная страна, но надо вернуться, подчиняешь себя этому «надо» и думаешь, что попозже пройдешь. Но так потом и не пройдешь никогда.

Так было с монгольскими степями, когда работал в Забайкалье, с долиной великих озер, когда были в Туве, с севером Байкала и долиной Тунки в 1930–31 годы, с далекими, но видимыми Лоб-нором и Турфаном и невидимым Бейшанем и Куэньлунем в 1935-м, да мало ли где еще. Трудно научиться брать от жизни всё, что она может дать.

Наши Тебердинские снимки – мы, Сережа и я, щелкали примитивными Кодаками – снимки удались на славу, но большая часть была стащена фотографом при проявлении. На следующее лето он торговал открытками, снятыми нами.

Осенью мы втроем (с отцом) ехали домой через Тифлис. На Военно-Грузинской дороге мы уж бывали до Казбека. А после Клухора и Теберды она не произвела особенного впечатления. Только уважение к остаткам римского моста у Мцхета.

В Тифлисе задержались на несколько дней, забавлялись медвежатами на горе Давида – они ловко откупоривали бутылки и стоя

выпивали лимонад. А потом оказалось – у отца это не было исключением, что деньги вышли, возвращаться домой не на что, кое-как доехали. Смотрели в воздухе фламинго у Евлаха.

Иногда поездки и прогулки тяготили, отец малость подавлял своей волею, заставляя собираться, но потом всегда было хорошо, и мы видели в детстве много больше, чем наши сверстники. Многое забылось, но тогда впечатлений было много и исчезало дурное. Так ессентукское времяпровождение совсем испарилось.

Дома, как всегда, появился Алексей Тарасович Ярыгин. Он готовил меня в гимназию и занимался с Сережей. Типичный русский интеллигент-неудачник, универсант, много думавший и читавший, вероятно в свое время пьющий, мучающийся неразрешимыми вопросами, он очень сошелся с отцом, стал неотъемлемым от семьи человеком. Иногда он с нами ездил по Кавказу, всегда бывал у нас. Следом за нами переехал в Питер. Он как-то исчез с нашего горизонта в 1918–1919 годы. Когда я потом читал Хулио Хуренито, то всегда Алексея Спиридоновича представлял в виде Алексея Тарасовича. И мы, мальчики, очень привыкли к нему, как и к Шуре Кудиновой, дочери нашей горничной и нашей постоянной подруге, как к своему другу и поверенному всех моих мыслей Тане, взрослой дочери нашей кухарки, народной учительнице. С последней мы вдвоем посещали народный университет (где читал лекции и отец).

Примерно к этому времени относится любопытный договор, который был заключен со мною отцом. Мне было лет 15. К этому времени отец вполне встал на ноги. В Бакинском Нефтяном его очень ценили. Он работал и как юрист с торговцами и промышленниками. Продолжал вести политические защиты. Полицейский надзор был, но стал еще незаметней. За эти годы ему пришлось так или иначе защищать многих, были среди них и те, которые потом играли значительную роль в Советской России. Кроме повышения прямого заработка повышался и потенциальный фонд отца. Он купил некоторое количество возможно нефтеносных земель за гроши. Делалось это только если О-во отказывалось от них. Так ему принадлежала значительная часть Бай-дага в Закаспии, часть Аташки и т. д.

Разговор наш был такой примерно:

– Юра, как ты думаешь, хорошо ли что у нас столько денег?

Я молчу, не понимая вопроса, он меня не очень интересует.

– Вот, я зарабатываю больше, чем нам нужно, но ведь другие зарабатывают меньше, чем нужно. Значит я их, общество, обкрадываю.

Я начинаю понимать, что что-то неладно.

– А как ты думаешь, ты и Сережа имеете право получить от меня эти деньги потом, когда вырастете?

Разговор в этом стиле приводит к ясности, и мы заключаем такой договор: до конца учения отец поддерживает нас в такой мере, чтобы мы не гонялись за копейкой, но и не шикарили. После конца учения – ни копейки. Так и в завещании. Исключение, если мы идем в науку. Тогда он оставляет нам деньги, достаточные для скромной жизни и создания необходимой лаборатории. Мать во всех случаях обеспечивается. Этот договор был для нас нерушим. До тех пор, пока отец не потерял всего.

Пора кончать с этой порой. Рассказывать всякие мелочи можно без конца. Остановлюсь еще вот на чем. Особой страничкой жизни было обучение музыке. Учились мы вяло, хотя способности были. Учителями была семья Черняховских. Отец, Марк Исаевич, дирижер, очень одаренный человек. Чахотка выгнала его на юг, северным пределом был Харьков. Летом Марк Исаевич дирижировал парковым оркестром в Кисловодске. Зимой преподавал. Кроме него зимой преподавала его жена, старшая дочь Лида и при мне начала младшая, Нюся. Вся квартира, даже воздух, были пропитаны музыкой. Была группа сольфеджио. Писал диктанты и я. Бывали утренники, на которых Черняховские как бы отчитывались перед публикой. И мы выступали на них. Музыка и Черняховские сливались в одно. И когда, после очередного концертного наезда Борковского или Рахманинова, придешь на урок к М.И., он посмотрит и спросит:

– Юра, помнишь, как он сыграл эту вещь?

И сядет за пианино и сыграет вещь, которую еще не видал и впервые услышал вчера на концерте. Это были фанаты музыки.

Дома музыка шла от мамы. Она садилась за пианино в полутемной комнате и играла, чаще аккомпанировала себе и пела вполголоса. Любимыми были «Рогнеда», «Самсон и Далила» и «Хованщина». Иногда сядешь в кресло и слушаешь, не шевелясь, мягкое меццо. Тембр (не силу) она сохранила до 1917–1919 годов. Голос был такой чистый и захватывающий, что долго, лет 20 позже, ни один женский голос мне до конца не нравился.

В мае 1916-го, после того как отца амнистировали, мы выехали в Питер. Отец со мной вперед, налегке. В июне, оправив вещи, мама с Сергеем двинулись через Астрахань по Волге. С Баку было покончено и примерно в это же время покончено с отрочеством. Юность пришла в 1915–1916 годы вместе с поцелуями Кати и Тани, пушком на губах и подбородке (в 1916 пришлось подбривать его), думами о большой жизни и влюбленностью в Нину из гимназии св. Нины, полугрузинку-полуфранцуженку, вероятно, самую красивую девушку, которую когда-либо в жизни видел. Знакомы мы с нею не были.

Глава 2

ЮНОСТЬ

Петроград я принял как-то двойственно. Еще слишком жива была память о Баку. Новый большой город был чужим. И к тому же никогда я не испытывал такой душной и влажной жары. Сухая жара Баку была привычна и легка. В Питере дышать было нечем. Мы прожили недолго в Северной гостинице, против вокзала, потом перебрались на Карповку в небольшой деревянный домик (кажется 23), принадлежавший Рейнгерцам (сестра отца Клара и ее муж). Отец подыскивал квартиру к приезду матери и Сергея. Я стал входить в новую для меня обстановку. Дядя, уже совсем седой, провизор, изобретший мазолин и живший его выделкой. Вся мастерская состояла из него, его сестры и посудомойки. Тетка, расплывшаяся, с трясущимся двойным подбородком, толстым – пуговкой – носом, близорукая до полуслепоты. Она целиком погружена в свой мирок, не имеющий никакой связи с домом, с материальным. История искусства, соответствующие знакомые, и в центре мира ее дочь Эля (Ада). Внутри дома – русский ампир, красного дерева мебель с синей обивкой. Современные картины. Столики, бюро, горки. Сын тетки, Владимир, несколько лет назад утонул. Центром дома стала Эля. Ей 22–23 года, интересное бледное лицо, прямые черные брови ниточкой и прямой нос. С нею я и начал знакомиться, впервые окунулся в атмосферу рафинированного искусства, отгороженного от всего живого. Было странно и интересно. Я был в их семье маленьким, но видал приходивших, рассуждавших о театре или живописи. Рейнгерцев мы знали немного и раньше – они однажды приезжали в Кисловодск, а дядя и в Баку.

Здесь ближе узнал и полюбил младшего брата отца Марка (Макаку, как мы его звали). Огромный – выше 190 – спокойный, чуткий и мягкий, он сразу покорил меня. В это время он близко дружил с Элей. Здесь я впервые узнал о кватро- и чинквеченто, узнал о Леонардо, о Медичи. Читал Виллари и еще что-то.

Кончился май, в начале июня приехали наши, и мы переехали во временно снятую квартиру рядом (Карповка, 19) и оттуда, на лето – в район станции Перк-ярви, не доезжая Выборга.

На берегу озера, длинного, обрамленного холмами, в сосновом лесу, стоял в парке большой двухэтажный дом пансиона. Сейчас мне кажется, что я сразу погрузился в обстановку и принял ее как давно знакомую. Тишина и смолянсй запах северного леса, вереск и песок под ногами. Спокойная гладь озера, иногда голубая от неба, чаще стальная. В ней темная зелень леса то расслаивается от легкого волнения, то неподвижно отражается, как в зеркале. Озеро в конце обросло полоской камыша и из него выбегает маленькая речка. На даче лодка, и в ней мы подолгу пропадаем на озере. Покой северного лета, белые ночи, рыбная ловля, впервые захватившая меня, катанье на лодке – всё это совершенно по-новому окрашивало лето. К тому же, кроме семьи, у меня не было здесь никого, много времени я проводил один, и днем и вечерами. И, как часто бывало в те времена, рядом, не смешиваясь, текли совсем разные и несовместимые струи. Легкая влюбленность в Элю и стихотворения, впервые слагавшиеся в это лето; рядом чувственная струя – сказывается возраст – от которой появляется щекочущее желание смотреть иллюстрации в La Vie Parisienne, неясные мысли, скорее полужелания ранней юности. Лето шло, в дождливые дни научился немножко играть в покер. Во второй половине лета мы переехали на месяц в Тюрсево под Териоками. Там много людей, таких, какие мне вовсе не были известны. Они бывали, конечно, и в Кисловодске, но там мне с ними не приходилось сталкиваться.

Здесь в пансионе я впервые увидел особую независимость суждения и поведения привыкших к свободе и власти людей (дворян прежде всего). Потом видел это много раз, и сформулировалось суждение много позже. Но тогда очень ясно почувствовал это. В пансионе жила семья (мать, дочь и англичанка) Тарновских. Дочь, Ольга, была на год старше меня. У них-то и увидел я эту независимость. А с Ольгой подружился и, как это и должно быть у такого мальчика, влюбился. Учился у нее играть в теннис, а дома, у кого-то из мужчин, карамболю. Тут впервые натолкнулся на явный антисемитизм. На дачу приходил к Ольге теннисист, студент типа белоподкладочника, Худяков. Вероятно в порядке конкуренции, м. б. ревности, он наскочил на меня как-то в бильярдной. Я ответил и получил «жида». Не помню, как случилось, но я тут же ударил его по щеке. После этого жизнь в пансионе стала менее уютной. Осенью и зимой в городе я был пару раз у Ольги. Но дружба кончилась. Как-то, много позже, уже в НЭП, я встретил ее, артистку Мариинского театра.

Тюрсево закончило лето 1916 года и как-то смазало прелесть Перки-ярви. Мы вернулись в Питер.

Гимназия

Мы с отцом были у директора частной гимназии им. Лентовской. В ряду особняком стоявших учебных заведений Питера она была самым бедным, так сказать самым разночинным. Основанная кооперативом педагогов, которые не могли ужиться в атмосфере официальных школ, она всегда была на плохом счету у начальства. Ее педагоги не пользовались правами, представляемыми им обычаем, не раз лишались прав и ученики, но это мало смущало коллектив. Во главе стоял Владимир Кириллович Иванов. Низенький, с круглой головой, с большим крутым лбом, глазами немного навыкате под сильно выступающими бровями. Нос башмаком и борода редковатая, разбивающаяся на два клина. Его крошечные руки двигались как-то застенчиво; говорил он тихо, спокойно и тоже будто стыдился своей смелости. А глаза при этом смотрели так, что ему невольно подчинялись. За этим взглядом было много прожитого и какая-то большая, типично русско-интеллигентская боль.

Он говорил со мной недолго. Подчеркнуто вежливое «вы», несколько вопросов. Потом предупреждение: «Если у вас есть тройки, придется переэкзаменовку устроить».

Я испугался и сказал, что лучше не буду поступать или по всем предметам буду экзаменоваться, только не по Закону. И вдруг Владимир Кириллович улыбнулся, и от улыбки исчезло несоответствие между рыжеватыми волосами и серьезностью взгляда:

– У вас по Закону Божьему? Тогда не надо.

Я был принят в 6-й класс

Пытаюсь представить себе состояние стеснительного провинциального мальчика, оказавшегося в новой школе в чужом городе. Здесь всё не так, всё непривычно. Небольшая гимназия – после громадной, казенной. Сверстники более развитые, более интеллектуальные. Много громких фамилий. Аристократов немного, но много детей и внуков питерской профессуры, литераторов. Он стеснялся своего незнания многих для них привычных вещей, своего кавказского акцента. И обстановка гимназии, и тон педагогов, безусловная вежливость в обращении с учениками – в Лентовке на «вы» говорили даже с приготовишками – даже сами интересы ребят – всё необычно. Юра был высоким, красивым черноволосым юношей с пышной шевелюрой, большими зеленовато-карими глазами и уже заметными усиками. У него был мягкий приятый баритон, он любил и умел петь. Вскоре освоился. Но в начале было трудно.

Дед, Михаил Владимирович, купил квартиру в кооперативном товариществе «Россия», в громадных, облицованных серым камнем, домах на Бассейной улице, у Мальцевского рынка (теперь улица Некрасова) Дома эти, получившие прозвище «кадетская крепость», были заселены преуспевающей питерской интеллигенцией, профессурой, руководящими служащими крупных компаний, врачами. Много среди них было кадетов, включая лидеров этой партии. К моменту переезда Шейнманнов, видимо, большинство квартир было продано: деду досталась квартира на пятом этаже с окнами жилых комнат в сторону Мальцевского рынка. Окна кухни, столовой, комнаты для прислуги выходили в типичный питерский двор-колодец, черный ход и вторая дверь парадного – туда же (на третий двор). А у моего второго деда, профессора И. Э. Гаген-Торна была квартира на втором этаже, с окнами на «собственный проезд» – огороженную кованой железной решеткой тихую зеленую улочку между кооперативными домами. Дома были, по тому времени, оборудованы по последнему слову техники: с лифтом, телефоном, центральным отоплением, с прачечной в подвале, где у каждой квартиры был свой отсек, а в каждой квартире была ванная с высокой дровяной колонкой. В этих домах жили наши родители, там родились и мы с сестрой. Теперь там коммуналки

Естественно, что эти серые громады, сплошные ряды больших домов, плоский рельеф – ни холмика – всё было непривычным. Даже море – не голубое и ласковое, а свинцово-серое, холодное.

Хорошо, что мальчики были уже большим – раннее детство консервативно, и в Баку они, вероятно, тосковали по своему Киеву, как я когда-то в Иркутске по Приморскому Хутору. А тут – уже возраст перемен, поисков нового, своего.

После большого здания и шума Бакинской гимназии скромное помещение и малый размер Лентовки были странными. И товарищи были другие. Не было резко выраженной многонациональности Баку. Больше интеллигенции. Публика много более развитая. И преподаватели другие. Нет казенщины. Это сразу видно. Особенно когда урок превращается в лекцию, часто далеко выходящую за пределы курса.

С первых дней очень большое внимание привлек классный наставник Николай Николаевич Золотавин. Высокий брюнет с открытым и крутым лбом. Седеющие длинные волосы откинуты назад, торчат немного. Золотое пенсне на небольшом тонком носу. Довольно толстые губы прикрыты усами и ограничены снизу бородой, окладистой и растрепанной. Он с увлечением ведет урок психологии. Лекцию надо записывать – учебников нет, потому что это физиология мозга

и основы психофизиологии. Мы слушаем и пишем. Очень скоро после знакомства он предложил, если хочу, посещать естественный кружок у него на дому. Я пошел, конечно. Докладывал одноклассник Алеша Вагин, тема – «Положение батрака на севере Новгородской губернии» (он там провел лето). Такие доклады не были исключением, но чаще бывали другие, по естествознанию. Николай Николаевич и Зинаида Павловна бездетны, она больна чахоткой и поэтому у обоих особое отношение к нам.

В эти же первые недели у меня вышла неловкость. Один из товарищей – Кулеша – я после узнал, что он большевик – услышал, что я считал себя чем-то вроде с.-д. (безо всяких оснований). Он живо обернулся: «Ты большевик или меньшевик?» Я и не слышал о них. Конфуз до сих пор помню.

Класс был всякий, но были интересные ребята и с ними стал сходиться. Ближе других, пожалуй, стал Володя Розенберг. С ним мы состязались во всем: от игры в географию и сочинения частушек до математического соревнования. Мы совсем перестали учить математику. В ответ на вызов к доске следовал вопрос: «Сергей Павлович, а что задано?» После выговора он сообщал, в конце концов, название и формулировку теоремы, а Володя или я ее доказывали, тут же сообразив доказательство. В результате я никогда не знал и не знаю тригонометрии.

Мы были мальчики и рядом с серьезным увлекались пением «Крокодилы» (наш классный гимн), американскими горами и всем, что полагается. Но, в отличие от Баку, совершенно не было интереса к девушкам, не было и влюбленностей. Думаю, что в равной степени сказывалась северная порода моих новых товарищей и наличие общих интеллектуальных интересов.

Многое в гимназии было новым: издание на ротаторе нашего журнала, вольные темы для классных и домашних сочинений. Помню, что по русскому я в этом году писал о Савонароле и о Солнце. Помню, что после отпечатывания очередного № журнала мы с Розенбергом садились по очереди на лежащий ротатор и, вертя ручку, катались на нём.

Время было напряженное. И напряженность сказывалась на нас.

О войне мы думали мало. Она надоела не только нам, но и взрослым. Сводкам с фронта не верили, не верили и в целесообразность действий командования. Глухо чувствовалось что-то надвигающееся. Но если знавшие обстановку могли догадываться о нём, а не знавшие ее, но особенно чуткие как-то оформлять свои ожидания, то мы даже не догадывались, что нас что-то гнетет. Появившиеся очереди, нехватка продуктов сказывались на всех. Тяжелое серое небо ноября

и дожди особенно угнетали. И было странно иногда видеть живших вне нашего мира людей веселья и разгула. Это были очень «глухие дни», даже для 15-летнего мальчика.

Всех всколыхнуло и поразило убийство Распутина. Ненадолго для нас, легко впадавших в восторженность, хотя бы по возрасту, Сумароков, Дмитрий Дмитриевич, даже Пуришкевич стали героями. Сумароков – несомненно, великий князь – условно, а Пуришкевич – я впервые столкнулся с тем, что никакой вывеской нельзя охарактеризовать человека. Он оказался сложным и малопонятным.

Другой мальчик, из той же ОСУЗовской команды вспоминал об этом несколько иначе:

> ...Уже утром 18 декабря все бегут на Малую Невку к Петровскому мосту и видят там черную полынью и снег вокруг нее, истоптанный сотнями сапог. И узнается, что туда убийцы (герои?) бросили бешеного пса, крестьянина Тобольской губернии Григория Иванова Новых. И вот уж ползут слухи: царица, «государыня», немка проклятая! – перевезла тело этого бешеного мужика в Царское Село и похоронила в царском саду, бегает, стерва, со своими псицами – с Анной Вырубовой, с Пистолькоршихой, с другими – выть по ночам над иродской этой могилой. Вот тебе «и вензель твой, царица наша, и твой священный до-ло-ман!» – Что же это такое, господа офицеры?

Так писал товарищ Юрия по ОСУЗу ленинградский писатель Лев Успенский («Записки старого петербуржца»).

Так прошел декабрь. Шли занятия в Лентовке, писались сочинения, читались книги. Уже привык к тому, что рядом со мной называются громкие фамилии – первое время странно было, что в соседних классах учатся Шамили (внуки знаменитого), Юра Шингарев*, Вадим Андреев** и многие другие. И все они такие же, как Люблин, Наумов и прочие.

Прошел Новый Год, шел январь 1917-го. Он ознаменовался бурей внутри гимназии, как нельзя лучше характеризовавшей напряженность обстановки. На большой перемене мы получали горячие завтраки, большинство за плату, некоторые за счет гимназии. Для многих, кто уже недоедал, они играли существенную роль. Дежурный преподаватель следил за раскладкой завтраков во время урока и следил,

---

* Сын кадетского лидера, депутата Госдумы.

** Старший сын знаменитого тогда писателя Леонида Андреева.

когда мы их ели. В тот день дежурил Анатолий Васильевич Голубев, с.д. интернационалист. Официально он преподавал нам латынь. (Он был историком, но латиниста у нас в тот момент не было.) Вместо латыни мы слушали историю экономического развития Рима. Урок обычно начинается так: сидит А.В. на одной из передних парт, потеснив учеников, оглядывает нас сквозь пенсне. Утиный нос выдается над нависшими над губами усами, волосы бобриком. Он соединяет дрожащие пальцы обеих рук и, фыркая сквозь нависшие усы, будто плюясь, говорит.

В тот день, о котором я говорю, недоедавший Леша Вагин, выйдя из класса раньше времени, принялся за свой завтрак, затем перешел к завтраку отсутствующего ученика. Голубев одернул его, Вагин ответил резкостью, началась перепалка, Голубев хотел схватить Лешу, тот побежал, учитель за ним. Леша заскочил в курилку (у нас такие были для трех старших классов) и закрылся. В это время мы вывалились на перемену, рассказ Вагина в курительной взвинтил нас, тем более что в дверь стучал раньше Голубев, потом Владимир Кириллович (директор). В возбуждении всё представилось нам, как грубое оскорбление одного из нас (о том, что Вагин оскорбил Анатолия Васильевича, мы как-то не подумали). Кто-то, не помню кто, предложил забастовку.

Кончилась перемена. Мы взяли свои книги и вышли из класса. Одна группа пошла в 7-й, другая в 8-й класс, сорвали занятия и увели их. С 8-м пришлось помучиться, они не сразу согласились. Вышли на улицу, нам никто не препятствовал, и задумались, куда идти. Федя Ольденбург, племянник и воспитанник академика, позвал к себе. Там, в здании Академии в огромном, заваленном и заставленном книгами кабинете, было устроено собрание всех трех классов (кое-кто, правда, из опасения сбежал еще по дороге). На нем было решено требовать, чтобы Голубев извинился перед Вагиным, и до этого не приступать к занятиям. Был выбран стачечный комитет, если не ошибаюсь, Сева Черкесов, Юра Краснуха, Федя Ольденбург, я и кто-то из 8-го класса. Мы остались на совещание, и борьба началась.

Против нас единым фронтом выступили Педагогический и Родительский Совет. Разговаривать было трудно, мне особенно, так как председателем Родительского комитета был мой отец. Не было покоя ни в школе, ни дома. Педсовет вынес постановление исключить всех, если мы немедленно не вернемся. При этом Вагин исключался с волчьим билетом, зачинщики без права возвращения в Лентовку (а значит и в другие передовые школы). Мы стояли на своем. Еще раз собрались все и, получив полномочия от собрания, уперлись. Так было три дня. Довольно скучно было спорить и выслушивать речи директора, классного наставника и отца. По правде, мы

очень колебались, боялись. Наконец пошли на компромисс – Вагин должен извиниться перед Голубевым, а тот перед Вагиным. На утро четвертого дня все были в школе, прошел церемониал извинений, начались занятия. Никто из преподавателей ни словом не обмолвился о бывшем. И дома не слишком говорили об этом. Только несколько лет спустя я узнал, что и Владимир Кириллович, и отец, и другие боялись одного, что мы испугаемся и сдадимся, и что Владимир Кириллович хвастал, какие у него хорошие ученики, когда мы выдержали. Это было за полтора месяца до революции.

Новая обстановка, новые люди как-то загладили во мне мои астрономические стремления. Я думал и говорил, что хочу быть астрономом, но больше не смотрел на звезды (да их и не видно в Петербурге), даже астрономического календаря на 1917 год не купил.

Я всё время боялся, что я глубокий провинциал, что все кругом умнее и развитее меня, что я дурнушка. Это уходило постепенно, но иной раз возвращалось. В первое время бросался в глаза и мой выговор – согласные были тверды по-кавказски.

Зима закончилась. После нашей забастовки стало спокойно и как-то безразлично, мы внешне совсем успокоились и напряженность ушла куда-то вглубь, будто и пропала.

Взрыв 27–28 февраля был неожидан, но почти всеми был принят как очень большое и радостное, и потянуло нас на улицу, в толпу. Толку в том, что мы практически не бывали в классе и метались с одного конца города на другой, было мало. Зязя Люблин пошел в милиционеры, стоял на Каменноостровском с винтовкой и в черном потрепанном пальто. Но когда проскочила, отказываясь остановиться, машина, он не сумел задержать ее. Откуда появилась пьянящая радость первых дней, трудно сказать. Но когда у меня на глазах разъезд казаков 27 или 28 февраля, вместо того, чтобы разогнать толпу женщин, выкинул красный флажок, я неистовствовал не хуже этих теток. Как личных недругов воспринимал городовых, сидевших у пулеметов на чердаках. На второй день попал каким–то образом с Карповки на Лиговку, набрел на пункт раздачи хлеба и чая солдатам. Пробраться в этой толчее шинелей было трудно. Внутри встал на резку хлеба и простоял так около полутора суток, падая от усталости и с кровоточащими от ссадин руками. Потом спал где-то в коридоре на полу.

Наше общегимназическое увлечение Шаляпиным (он пел в Народном Доме) и американскими горами исчезло. У нас, рядовой интеллигентской молодежи, само собой создалось твердое убеждение неограниченного братства. Любой не мог не быть другом и если – очень, правда, редко – мы встречали при обращении к кому-нибудь на улице резкость или отпор, не хотелось верить, что это правда. Это

было невозможно, не укладывалось в сознание. Ни я, ни мои товарищи не знали путей, но каждый был уверен, что всё будет хорошо, что пришло счастье людское на землю. Мы были так далеки от реальной жизни, что не понимали, что по-прежнему тяжело рядовому человеку, особенно солдату. Думалось, что они тоже увидели выход к солнцу и теперь прямиком пойдут к нему, не страдая от оканчивающихся уже горестей. И никто им не станет мешать, только помогут.

Уже перед этим изредка появлявшиеся в наших руках брошюрки сейчас стали легко доступными, и число их с каждой неделей множилось. Я сразу отказался от народничества и либералов. Понимал, что неизбежны столкновения взглядов, но они представлялись вроде споров приятелей, пусть горячих, но всегда дружеских. Читалось много, думалось много. Так прошло около месяца. Было непонятно, почему идет свистопляска в Думе, все эти министры казались то чужими, то куклами. По-прежнему всё кипело вокруг, появлялись первые трения, и радость и безоблачность первых дней постепенно исчезали. Но исчезали, оставляя уверенность, что всё это временно. Придет снова всё в ясность, и скоро. Эти розовые очки были характерны и для многих взрослых. Интеллигенция, в массе, явно не понимала положения России. И даже на призыв вести войну дальше откликнулась в целом сочувственно.

Контакта с армией и рабочими у меня не было. Только раз случайно попал где-то на окраине на рельсовых путях в группу рабочих и сразу же оскандалился. Один из них спросил, недоумевая, как же блокироваться с несоциалистами. Уж не знаю, что я мямлил, но вероятно глупое. Только потом узнал, что это старый вопрос и что были решения против коалиции. Но чьи – так и не узнал.

Моей маниловщине был нанесен сильнейший удар в первых числах апреля. Втроем – Владимир Пруссак, Сева Черкесов и я – мы шли с Васильевского к Невскому. Было неспокойно, говорили о пулеметных полках, не хотящих подчиниться Временному правительству. Около Зимнего дворца нас нагнала демонстрация. Ее ядро составляли пулеметчики, с ними рабочие и женщины. Недолго думая, мы присоединились, пошли с ними по Невскому, конечно около самой головки.

Помню, как недружелюбно оглядывались на нашу колонну гуляющие по Невскому. Особенно на плакаты «долой министров-капиталистов», «Не надо нам проливов» и т.п. Точный текст их не помню сейчас. Толпа, кажется, пела. Так шли до Гостиного. Здесь мы увидели встречную толпу, явно иного типа. Демонстрации, заняв всю улицу, сближались. Они встретились на углу Садовой. На плакатах встречной демонстрации и были надписи вроде «Война до победного

конца». Передние обеих колонн остановились, немного не сойдясь. Была короткая заминка. Потом с обеих сторон закричали. Мы, втроем, были у угла, около Гостиного двора и видели происходящее через два-три ряда.

Вдруг с противоположной стороны раздались выстрелы. Толпа колыхнулась, кое-кто полез в драку, но подавляющее большинство стало расходиться. Закричали, что есть раненые. Обе процессии, совсем расстроенные, образовали одну толпу. Неожиданно мы оказались единственным организующим элементом. Инициатива исходила от Пруссака. Нам подчинились и подняли раненых. Расталкивая толпу мы пошли в кинотеатр, бывший рядом на Садовой. Шла какая-то дурацкая картина. Заставили остановить, зажечь свет. Потом стали выдворять публику и очищать место. Туда внесли за нами раненых, вызвали медицинскую помощь.

Из помещения кино вышли потрясенные. Абсолютная идея братства дала трещину.

Лето 1917 года для меня как-то вне больших событий. В мае, а м. б. в начале июня, почти весь наш класс во главе с классным наставником поехал в деревню на полевые работы. Тогда, в связи с нехваткой рабочих рук в деревне, были модными такие поездки школьников. Мы пробыли около полутора месяцев в деревне Яблоницы около ст. Малосковицы ж. д. на Нарву. Я впервые был в русской деревне и в северно-русской обстановке. Всё, до ловли рыбы в маленькой речонке, было новым. Но воспринималось как само собой понятное. Думаю, что толку в нашей работе было весьма немного. Всё-таки кое-что делали. Но ни плуга, ни косы мне в руки не дали. Да и главная – с точки зрения педагогической – цель нашей поездки – сближение с крестьянами – не вышла. Июльские дни прошли незаметными. Было выступление Керенского. Но всё мало интересовало. Вторая половина лета. Карельский перешеек. Озеро Муола-ярви.

Здесь была дача-пансион, которую держала двоюродная сестра. Мы жили в отдельной маленькой дачке вместе с Беерами. Тогда их было четверо. Тетя Фанни и Вера жили постоянно, оба мальчика, Сергей и Людвиг, были на фронте и приезжали на побывку. Тогда впервые стал конкретно понимать, что такое фронт, они рассказывали.

Муола – большое озеро с довольно узким южным концом, где и была наша дача. Там я пропадал на лодке с удочкой, таская окуней. Бродил по лесу за ягодами и грибами. И надо сказать, не очень удивлялся брошенным у дороги велосипедам, пиджакам, корзинам. Видимо, финская честность сразу стала привычной.

Потом осень. Корниловские дни – в этот раз заинтересовался и ждал разгрома Корнилова. Потом сумрачное время, когда даже

мне, мальчишке, ясно, что существующее – разваливается. Но большего не видел.

Штурм Зимнего встретил в своеобразной обстановке: отец запер нас в нашей квартире на 5-м этаже. Я сидел в нашей с Сергеем комнате и глядел в темное октябрьское окно. Темный город и какие-то отсветы, там, в районе Зимнего. Я хотел отправиться туда и не знаю, остался ли бы зрителем, вероятно, пошел бы с наступавшими.

Начались занятия в гимназии. Но какие-то несерьезные. В классе всё бурлило. Один из нас был с берущими Зимний. Другой отстреливался с юнкерами.

Всё темней становились не освещенные ничем ночи. Бурлило всё. Шла стачка служащих – саботаж. А дома иронические улыбки отца: «несерьезно это, дескать. Серьезно – большевики». Но как продержится новая власть и власть ли это? Это был главный вопрос дней. Интеллигенция отвечала поголовно: нет. Редкие молчали, выжидая и понимая, что октябрь не шутка и не путч. Отец был из них.

В это время я был выбран нашим классом в Организацию Средних учебных заведений. Тогда это казалось нам очень важным. А для чего организация – не всё ли равно. Это была новая и занимательная игра. По крайней мере для большинства.

Одно из первых заседаний, на котором мне пришлось быть, было на квартире проф. Гаген-Торна, в нашем же доме. Зачем там надо было быть – не помню. Это было начало декабря. Меня из присутствующих удивили некоторые. Большинства не помню. Была девушка, светлорусая, с прямым взглядом, властная. Она говорила так, что всякий бывал уверен – она знает. И всё-таки было сомнение – не самоуверенность ли. Большинство, я в том числе, подчинились Она говорила и делала резкие, но как будто неоконченные жесты рукой. Я ее видел до этого раза два-три. Нина, дочь проф. Гаген-Торна. Но я был уж совсем скромен, это бывало со мной нередко, я легко стеснялся.

И еще был мальчик, невысокий, спокойный. Он стойко защищал свои позиции, самоуверенности в нём не было, а уверенности и знания много. Его большой нос, руки с резко утончавшимися, так сказать, коническими пальцами, высокие, зачесанные назад светлые волосы и немного скрипучий голос очень понравились. Мы познакомились сразу. Его звали Аля Лунц.

Я не берусь сказать, как наладилось знакомство. С Алей во всяком случае быстро.

Зима шла. Подошли выборы в Учредительное Собрание. Шла агитация, ночами и вечерами раздавались листовки. Как-то поймали меня – подвернулся под руку вместо раздающего. Ловили не власти – те же раздающие листовки.

В день созыва Учредительного Собрания, опоздавшего решать судьбы России по меньшей мере на два месяца, готовились демонстрации. ОСУЗ устроил дружину Красного Креста. Но было слишком ясно, что она целиком за эсеров. Я наотрез отказался от участия. В этом мы были едины с Лунцем. Потом – боюсь, что поставить в ряд во времени всё, что было в эту зиму, невозможно. Грандиозные дебаты в классе и в ОСУЗе. И ряд новых, совсем неожиданных знакомств.

В нашей гимназии, классом старше меня, был Эйнерлинг, Жорж. Как вышло, что мы стали близки, право не знаю. Это был замкнутый, внешне холодный и немногословный юноша. Мне он был не пара – он уже тогда знал, чего он хочет, и уверенно шел своей дорогой. Третьим нашим товарищем была Вера Либерман. О ней как-то и говорить трудно – просто Верочка, умная, хорошая и хорошенькая брюнетка. С Жоржем они были очень дружны, и втроем мы провели много времени. Особого ничего не было, просто хорошо.

Одновременно мы с Жоржем попали и в другую, для нас совсем особую, компанию. Как случилось, что можно было развлекаться с этими двумя девушками, – шут его знает. Они хотели только немного флирта. Звали их Наташа Левина и Нина Маргулис. Вторая была без памяти от Пешеханова (сына), обе были на год-два старше нас и уже явно чувственны. Они были вроде развлечения и не мешали серьезному и важному.

Трудно вспомнить весну. Восстания, всё бродит кругом, Брестский мир, леваки – калейдоскоп какой-то. На улицах неспокойно – «Двенадцать» Блока до их написания.

Помню, на Бассейной, днем, из небольшого домика между Надежинской и Знаменской, выходит группа красногвардейцев и выносит молодого в пиджаке, с четкой пулевой дырочкой во лбу и несколькими каплями крови на щеке. Глаза его казались еще живыми, только остановившимися. Другой раз кто-то в полутьме разрядил в меня браунинг, к счастью не попал. Когда он кончил – я испугался. Было это на углу Симеоновской и Литейного.

Дома эта зима была временем сближения с Сергеем. Чудили. Одно время увлекались передачей мыслей и с успехом внушали друг другу через стену геометрические фигуры. Бросили, потому что сильно уставали.

Помню день в декабре. За обедом отец ровен и обычно весел. В конце поворачивается к матери:

– Знаешь, Лида, у нас всё взято в банке, ничего не осталось

И так же спокойно продолжает есть. Было у него больше миллиона. На меня это произвело очень большое впечатление, потому что от других я только и слышал: «Подлецы, грабители, сволочи!»

Это даже не всеобщий рефрен, это крик. И поэтому отец разу вырос в моих глазах.

Пришла весна. С нею еще одна и очень тесная компания. Как она составилась – не помню. Это-то и не сохраняется в памяти, кажется, будто так всегда было. Это были Сева Черкесов, Аля (Грациэлла) Говард, Нина Гаген-Торн и я. Аля оказалась дочерью друга детства отца.

> Грациэлла Джоновна Говард, дочка преподавателя английского языка в Аннен-Шуле на Кирочной, человека более чем респектабельного, да к тому же Джона Эбенезра, – пишет о ней Лев Успенский, – полуангличанка-полуитальяночка со своим неотрывным спутником и кузеном – оба черные, с чуть пробивающимися на верхних губах усиками, прибавлявших Грациэлле Говард много южного смуглого очарования.

И мама пишет об «умнице Але Говард, с длинной черной косой и мягкими итальянскими глазами».

В пасхальные каникулы вся компания поехала на дачу к Гаген-Торнам, в Приморский хутор (теперь это восточная часть поселка Большая Ижора) Как-то сами собой сложились пары; Юра и Нина; Аля и Сева. Бродили по только что оттаявшей земле, по лесу, охотились – сохранились маленькие любительские фотографии: Нина с ружьем и собакой, вся компания у костра в лесу, они же на веранде за чаем. Было очень хорошо и светло, так светло, что писать об этом не хотелось ни Юрию (записки предназначались для второй жены), ни Нине.

У нее есть лишь упоминание в юношеских стихах:

Там за горою
Ручья был исток,
Там мы искали с тобою
Тетеревиный ток.
Как звучали тогда
По бескрайным лесам
С токовищ голоса!
А как шли мы с тобой
Ты припомнишь и сам…



В записках Юрия об этом времени коротко:

«На пасху поехали к Гаген-Торнам на Приморский Хутор. Там все очень сблизились. Бродили по только что оттаявшей земле, и не было нигде никого, кто мог бы ограничить. Как-то не выходит рассказ об этом

сейчас. Может быть потому, что не решаюсь нырнуть с головой в ощущения юности, а может быть оттого, что они уж не представимы реально. Ведь очень трудно рассказать не просто о юности, когда человек всегда внутренне наиболее свободен, а о юности в условиях полной внешней свободы, не ограниченной ничем, хотя бы слегка грязноватым».

Кончился учебный год, когда главное учение было не в школе, а в газетах, на улицах, в подобии какой-то общественной жизни в ОСУЗе. Хотя я и не был непосредственно затронут большими событиями, но они всё же воспитывали и создавали пусть неясную, но всё же систему мыслей и представлений. Пришла весна, а с нею постановление о необязательности 8-го класса. Я решил не переходить в него, а взял бумаги и подал в Университет, на физмат. С уходом из гимназии почти порвалась связь с одноклассниками. Из них в последнюю зиму стал ближе Федя Ольденбург, племянник и воспитанник академика. Что нас сблизило, право не знаю. М.б. участие в стачечном комитете в январе 1917 года. Во всяком случае, бывая у него, я впервые познакомился с житьем крупного ученого. И как-то не мог представить себе, чтобы этот чудаковатый почти старик мог быть большим ученым. Библиотека, крупные труды и т. п. были где-то вдалеке, а вот подношенья из печенья, сахара и вина бодхисатвам в небольшом шкафчике в спальной (мы регулярно выпивали это вино из плоской рюмочки, куда оно наливалось стариком) – это было реальностью.

Недавно один востоковед в беседе со мной, в Этнографичеком музее, сказал:

– Я думаю, что Ольденбург был тайным буддистом.

– Вы предполагаете, а я знаю. Из записок отца.

Итак, было решено, что я студент математического отделения физмата. Словом, я стал взрослым.

Главным в это время была хорошая юношеская любовь к Нине. Она окрасила всю весну и лето, хотя летом виделись мало, мы жили в Царском, она – на Хуторе.

Наверно, в июле всей четверкой ездили гостить к Лунцам в Боровичи.

> Нина Гаген-Торн описывает эту поездку так: «Старик Лунц – финансовый деятель – отбыл в Германию вместе со всей разлетевшейся буржуазной прослойкой. В их собственном пустующем доме на первой линии Васильевского острова осталась мать – Эмма Альбертовна и два подростка:

Катя и Аля. Очень разные и жившие своей обособленной жизнью, но еще не отщепленные от семейного древа привязанностью к матери. Она – музыкантша, умная и тонкая женщина, какие бывали в богатой еврейской верхушке, умевшая не мешать чужим воззрениям, не подавлять их. И всматриваться в молодежь, не мешая и своим детям, и их друзьям. Она пригласила этих друзей на дачу в Боровичи. Мы держались там двумя кучками: Катя со своими приятелями, Аля со своими – Грациэллой (Алей) Говард, Севой Черкесовым, Юрой Шейнманном и мной.

Широкие поля и перелески Новгородчины. Запах ржи, васильков, парного молока. Уходили мы в поля, на далекие прогулки, кучкой, как молодые воробьи, которые вместе обучаются полетам. Ложились на колкой и твердой земле и, конечно (не воробьиное, человечье), шло совместное разгадывание всех жизненно, умственно важных проблем. Мы читали и В. Вунда, и Канта, и Маркса. Говорили о марксизме и народничестве, о мужчинах и женщинах, о «Происхождении семьи, частной собственности и государства», говорили, как всегда говорят в 17 лет, готовясь взлететь в жизнь, как можно выше взлететь в глубокую синеву неба и как можно теснее прижаться к шершавой, теплой, плодоносящей земле. Мы были уверены в своих силах и готовились совершить нечто замечательное в том новом мире, который наступил. Мы верили в XX век. Нам казалось, что мы руками ощупываем его грань с XIX веком – хмурым и полным печалей. Целый день пробродив по полям, мы возвращались в дом пить на стеклянной террасе парное молоко и что-то есть, приготовленное для нас, не замечая кто и что нам приготовил. Мы приносили охапки цветов и торбы разговоров, стихов. Эмма Альбертовна принимала всё это с тонкой улыбкой понимания...»

Там (в Боровичах) пробыли дней десять. Я ознаменовал их двумя «фокусами» – вывихнул в плече руку двоюродному брату Али (я не знал, что у него привычный вывих и боролся с ним) и был задержан ЧК. Мне заявили, что я эсер, организатор забастовки в Ярославле. Об этих забастовках знали все, но доказать ошибку было очень трудно. Они искали высокого, черного, молодого, в черной швейцарской пелерине. Я подходил по всем пунктам. Выпустили меня только когда Лунцы удостоверили, кто я и откуда приехал, уже к вечеру. Обратно ехали в переполненном вагоне и как-то очень уж чувствовали все

взаимную влюбленность. Под утро у меня появились все признаки холеры (в Питере была ее эпидемия). Оказалось блефом – холериной. Чёрт его знает, почему появилась она.

И как-то ничего об этом лете не сохранилось больше в памяти. Незаметно уехал на южные фронты Жорж Эйнерлинг. Он шел по своему пути до конца. Он был убит еще до осени, и Вера трудно переживала это. Смерть Жоржа сблизила нас с нею, но это было уже позже, осенью. А я так и шел по неизвестному пути – активен, жив, но вот куда иду – не знаю. Был в Царском рецидив еще отроческой боязни сумасшествия. Так уверился, что хотел вешаться. Пожалуй, хорошо, что передумал.

Ну и хватит об этом!

Университет

В спешке и усталый, я пишу очень небрежно и, вероятно, опускаю очень важное. Во всяком случае – никого и ничего не касаюсь в окружающем. Было бы вероятно интереснее писать не о себе, а о других. Эту торопливость поимейте в виду.

Что представлял из себя я к моменту поступления в Университет? Конечно, мальчик, никак не столкнувшийся еще всерьез с жизнью. То, что привело страну к разгрому и, потом, революции, было чуждо и непонятно. О жизни и развитии общества знал только из книг. А кто из сверстников знал больше? Из близких никого. Традиция детства сказывалась: чем-то идеальным было знание. Выше и общественной жизни и искусства и пр. Но знание было как самоцель хорошо для установившегося мира. Для того, который рождался и еще только намечался, оно было чуждым. Лавины солдат, уходивших с фронта, не могли быть понятны мне, а я был бы ими воспринят как чужак, м. б. враг. Твердая убежденность, что нельзя поднять руку на человека – что она стоила перед войной и рождением нового? Но была и другая сторона: тянуло в жизнь, к людям, в общество. Был скромен, стеснялся и, одновременно, жив. Это вначале находило легкое удовлетворение в свободном воздухе весны 1917. Но не повело в сторону.

Было время, когда отец спросил – как надо, остаться или уехать из России? Он боялся за нас и мать. Может быть очень нехорошо, что на моей в значительной мере совести болезнь матери (м. б. в других условиях не было бы рака). Но я тогда решительно отказался уезжать куда бы то ни было. И облегчил отцу решение.

По книжкам я тянулся к марксизму, по положению. Но боевое настроение было мне не нужно. Это очень банально, но не вывешивать же, подобно Вере Инбер, объявление: «Меняю прошлое уютное на

другое». Тогда среди интеллигенции и таких было не так уж много. Большинство шипело или ругалось в полной уверенности, что у власти шайка грабителей и дикарей. Нас, горячо воспринявших «Двенадцать» и шедших навстречу грядущему с симпатией, было не слишком много.

Итак, Университет. Физико-математический факультет. Всё очень торжественно, как будто в церкви во время богослужения. Профессоры. Это порода, над людьми. И идут они по длинному коридору по-особому. Тот семенит бочком, этот насупился и глядит в пол, третий окружен студентами и глядит куда-то вперед. Но все особенные.

Гудит как рой Университет. В окна – косые лучи солнца. Нас много, очень много. И среди этого много семь человек из ОСУЗа, знавшие друг друга и игравшие в общественность. На физмате нас двое – Аля и я. Он на биологическом, я хочу, по инерции, быть астрономом. В самом начале занятий – сходки. Наша в одной из аудиторий главного здания, неуютной и полутемной. Все первокурсники. Тема – выборы в Совет Старост. Сходку открывает биологичка 2-го курса, член Совета Старост прошлого созыва. Очень высокая, худая, довольно большая голова на худых плечах. Почти уродлива, с большим носом. Она говорит о задачах и всяком прочем. Наши студентики молчат и стесняются. Я, сдуру, о чем-то вылез. Словом, выбрали меня.

Оказалось, от первого курса выбраны трое – Вера Либерман, Нина Гаген-Торн и я. Сказалась подготовка на всяких заседаниях ОСУЗа.

Год начался. Вместе с другими слушаю лекции. Хвольсон, Чугаев – они были знамениты как лекторы, а рядом скучнейшие Адамов, Гюнтер. Занятия нормальны. Большие аудитории физики и химии ломятся. И правда, никогда не слышал такого насыщенного изложения химии, как у Чугаева (недаром его учителем был Менделеев). Старик Хвольсон – почти художник на кафедре. Но занятия недолго идут нормально. Слушаю не только своих – Политэкономия (Святловский); Введение во всякие права (Гримм); История XIX века (Тарле) и мало ли еще интересного. Особенно когда на лекциях присутствуют Аля Говард, Нина, Вера.

Пока что Университет не всерьез. Это тоже забава. А главное – всё интересно.

Но приходит другое. Надо еще прокормиться – всё туже жизнь в Питере, и неловко быть нахлебником в семье. Отец ездил с Сережей летом на Северный Кавказ – особая правительственная командировка восстанавливать нефть. Он давно дома. И ему трудно. Да и хочется ни от кого не зависеть. Работы сколько угодно. Рядом с Университетом, на набережной Невки, ВСНХ. Иду туда. Позвал же хороший знакомый студент 3-го курса экономист Крымгольц. Отдел агитации и пропаганды, черный, с бородкой, начальник (Бырченко?). Короткий разговор.

Для начала – чем хочу: агитатор или компилятор (откуда только это слово взялось тут?). Я стесняюсь до отказа и не могу решиться на сколько-нибудь ответственное – какое право я имею претендовать на это? И прошусь в компиляторы, Бырченко как-то сразу охладевает. Он же думает, что я взрослый. И потом так и не понял, что надо было бы подойти, как к мальчику.

В ВСНХ я пробыл недолго. Всё больше было настоящей работы в Совете старост. А там – не вышло по-настоящему. И очень жаль, потому что темперамента было много, а в Совете старост была работа живая, понятная, но лучше было бы идти на более широкую дорогу.

Работа в Университете постепенно раскачивалась. С первых же заседаний нас стали втягивать в дело. Председатель – Костя Птицын – студент со сцены: косоворотка с пояском-шнуром, бородка и зачесанные назад волосы, открытый взгляд и добрая улыбка. Такие были студенты в пьесах Л. Андреева. Такие еще были среди старых студентов. Остальные – шепелявящий зампред, с прекрасным басом филолог, ряд совсем неинтересных и секретарь – девушка, проводившая нашу сходку – Фанни Трахтенберг. От большевиков двое – он, выдержанный, подтянутый (в прошлом гардемарин), с орлиным носом на худом лице – Владимир Орлов, она – живая и одновременно сдержанная брюнетка, филологичка (?). Лаппо, латышка. Старые студенты не слишком симпатизируют большевикам. Но все хотят работать для Университета. Орлов и Лаппо не берут прямых обязанностей и выдерживают линию спокойной оппозиции поразительно хорошо. Между ними и большинством – наша тройка. Мы этого не скрываем. Но работать хотим и берем на себя нелегкие обязанности. Нина должна очистить университетское общежитие, бывшее под инвалидами, ставшими теперь простыми спекулянтами, м.б. ворами. Мне надо брать на себя организацию кооператива, сиречь лавки, чтобы как-нибудь помочь студентам и, кроме того, вхожу в наблюдательный комитет (правление) столовой. Дела много и оно постепенно затягивает. Потом Наркомпрос устанавливает платить тем, кто работает в Старостате. Тогда прощаюсь с ВСНХ и целиком окунаюсь в Университет.

В старом здании всё бурлит. Преобладающая масса профессоров отстаивает неприкосновенность всех порядков. Студенты требуют реформы. Она назрела. Но ни Луначарский и Кристи в Наркомпросе, ни мы в Университете, ни отдельные, с нами идущие профессора – никто не знает какова она должна быть. Ее формы ищутся. И главное, за что борется весь Совет старост, – право студентов на участие в управлении Университетом. В первое время только Лаппо и Орлов видятся с Луначарским. Потом переход через Неву в здание Синода, где помещался Кристи (Комитет по Высшей школе), стал обычным для

всех, а он и Луначарский – хорошими знакомыми Старостата. О том, как пришлось бороться с профессурой, – потом.

Университет переполнен. 10 000 студентов. Но 8000 только на бумаге. Влиты к нам бестужевские курсы. В городе всё голоднее. Голодают и студенты и профессора. Рядом голод в Академии и ВСНХ. Наша столовая взялась кормить всех – несколько тысяч. Но разве можно помочь продуктами, которые дает Петрокоммуна? Идет борьба за обеды. Именно борьба, может быть нудная, но тяжелая и опасная. Это одна из главных забот. И полученные, кое-как привезенные и скупленные продукты, все идут в котел. Даже мысли нет о том, чтобы чем-то воспользоваться. Мы все полуголодные, и только когда приходит день дежурства в столовой, мы имеем право на получение бесплатного обеда.

И его брать неловко. Только повара и обслуга обеспечены. Я малая сошка, только помогаю в работе. Тяжело старшим. Но зато столовая – вторая в Питере после Смольного, и наши обеды – основная пища совнархозца, академика, универсанта. И Бадаев (Петрокоммуна), вызывая Птицына, спрашивает – как это всё вы делаете? Ведь никто ничего не скажет плохого вам, но как? И оба смеются.

Лавка – распределить достанные продукты, это мое дело, а достать их – дело всех. В подвале, без продавцов, я провешиваюсь сразу на три месячных жалования. Плачу их. Потом появляется продавец. Он был кучером у отца. (Отец работает в фанерном тресте, нефть на юге прихлопнули белые.) Продавец – казанский татарин, мясник. Михайло учит, но я плохой ученик. Провеса больше нет. Масло, конина, еще что-то. Очередь. Нас двое, я за кассира. Я знаю список тех, кого надо кормить. И опухший от голода академик сокрушенно качает головой: «Вот ведь как ослаб, коллега! Пять фунтов – и не в силах нести!» И уходит с полупудом конины. Но с Михайлой остается и моя порция – раньше ее никогда не оставалось.

Общежитие. Целая война за него, и генеральное сражение, когда Нина с милицией или чем-то ее заменяющим и толпой студентов выкидывает на улицу спекулянтов.

Гингф и Лурье организуют книжную лавку – нашу гордость.

В этом всем вертимся, не поспевая подчас слушать лекции и заниматься. Для меня добавляется разочарование в математике. Дается легко, но неинтересна. Ошибся. И я решил перейти на биологическое отделение.

Очень трудно восстановить в порядке детали этих лет. Всё связано в крепком клубке в одно, и, право, трудно воссоздать что за чем шло.

Кажется, в эту же зиму1918/19 года я переселился в общежитие Университета. Всё туже охватывал голод Питер. Исчезает еда, нет

топлива. Семья ютится в кухне и бывшей комнате прислуги. Отец болен – тиф, за ним воспаление легких. Или это было в следующую зиму? В конце концов не важно. Маме уступается лучшее место – она спит на плите. Мне в этих условиях быть негде, только помешаю. В общежитии лучше и интересней.

Оно заселялось своеобразно. В комнатах по двое, есть и одиночные. Живут семейные и одиночки, много таких как мы – зеленая молодь, но есть и уже пожившие. Я живу с Шурой Животновым – он не универсант, учится в школе Вивьена (при Александринском театре). Живем неплохо, одинаково голодны. (Нет, это всё-таки 1919/20 год.) Живу без хлеба – всё, кроме приварочной муки, отдается домой.

У Шуры сестра Вера. Хорошенькая; немного любит подразниться и будто протыкает воздух своим остреньким носиком. Они оба очень далеки по всему, и всё-таки приятели. У Веры близкий и любящий друг – Гальперин Александр Львович. Черный, назад волосы, большой, крючком, нос и лицо Мефистофеля. Умен, едок и почти без темперамента. Но мы близки по-хорошему. И Вера умна. В зиму1919/20 они стали мужем и женой.

В маленькой одиночной комнате живет Вера Либерман. В верхнем этаже рыжебородый математик 4-го курса Трофимов. Близорукий, вечно растрепанный, нянчащий дочку и помогающий жене. Увлечен логистикой, математически сух, даже страсть его к науке кажется сухой. Но вдруг на концерте, слушая Баха, плачет. Только от Баха – самого математического из музыкантов.

На нижнем этаже живет Поливанов. Лингвист, говорят очень талантливый. Наркоман. С ним две сестры, латышки. И мы не можем с Алей понять, как это всё умещается в человеке, и появляется брезгливость, даже когда он говорит о науке. А говорит чудесно. Недалеко от него приютилась холостежь. По сути хулиганье, но один из них член Старостата. Вечерами сквернословие, соответствующие песни и пьесы а ля Барков. И с ними мы с Алей. С удовольствием окунаемся в эту пошлятину, вместе поем и шумим. Но она нас как-то не задевает, а наша компания действительно близка нам.

Одиноко живет никого не видящий Дымман. Он старшекурсник, филолог. У него специальность – составитель некрологов. На всех умирающих, но их ряды пополняются медленно. И он составляет впрок, на живущих. Это захватывает его, говоря о некрологах эта нелюдь загорается и на минуту проступает румянец и глаза становятся почти живыми. Бывает и так.

Но если я и переехал в эту кашу в первую университетскую зиму, то только к концу.

Что еще было зимой? Устроили клуб в одном из маленьких домиков, у Меншикова дворца. Там было неплохо, бывали хорошие гости, вроде Фигнер, Морозова. И там случилась вещь, м.б. впервые показавшая мне, что никогда человек не виден, даже себе, целиком. Где-то в глубине таится неизвестное, и оно может вылететь, как чёртик, наружу и только потом ахнет человек – что и откуда? Дело было так. Был хороший вечер, и мы, человек двадцать, остались в клубе болтать. Много говорили, как всегда тогда. Тем было больше, чем времени. Света тогда не было. В темноте, и неизвестно как и почему, сидя в одном широченном кресле, мы процеловались с Алей Говард полночи. Потом, утром, очень смущались, искали оправданий. Но чёртик всё-таки выскочил ведь!

Весной 1919 начал работать в Управлении Военного округа. Там была такая фото-кино-секция, организованная одним из приятелей. Нас был четверо или пятеро. Задачей было читать лекцию с демонстрацией фильмов в красноармейских частях. Для этого, конечно, нужно было иметь аппараты и фильмы. Это все достали, но подбор фильмов какой-то особый: производство горшков на Борнео, тайны Нью-Йорка, какие-то Глупышкины, изготовление спичек. Всё делалось со смехом, и мы демонстрировали то, что было, снабжая соответствующими комментариями. Больше бездельничали или показывали кино в самом Управлении, а то в университетском общежитии. Но домой регулярно приносился солдатский паек, весь, кроме муки для подболтки. Она была моей едой. Деньги шли на крупу – месячная зарплата равнялась двум фунтам пшена на рынке. Так было и осенью, когда я вернулся в эту самую секцию.

Весной меня стал раздразнивать Сева – собиралась большая экспедиция на северо-восток Вологодской губернии, в нынешнюю область Коми. Ехать захотелось. Помог отец, знавший начальника экспедиции. Тот согласился, направил к геологу А. А. Стоянову. С ним ничего не вышло. В холодном и важном Геологическом Комитете меня попросили присесть, задали несколько вопросов и протянули какую-то окаменелую ракушку. Я блестяще провалился. В результате я был зачислен конторщиком.

В Вологде встречается теплушка ленинградцев с вагонами – тоже теплушками – москвичей. Экспедиция в сборе и двигается, как можно было двигаться в те времена, к востоку. В «штабной» теплушке большие люди – Косыгин (начальник), Стоянов (геолог), Далинкевич (топограф) и др. Затем теплушка москвичей – коллекторов, конторского персонала, третий вагон наш – питерские коллектора: Вс. Черкесов, В. Фомичев, Вася Вебер и я. Новый для меня только Фомичев, Черкесов и Вебер были старше меня на класс в гимназии. Но они студенты-геологи



и что-то знают уже. У нас веселее всего. Лопаем – продуктов много. Вымениваем на станциях молоко. И слушаем рассказ старших. Они всего боятся. И когда мы спели переложенную на экспедиционный лад «Смело, товарищи, в ногу», Стоянов озабоченно говорил Косыгину: «Вот, они напичканы революцией, они против нас пойдут. Надо принять меры, Александр Иванович». И это всерьез.

Страна была полуразоренной, переворошенной. Ждали чего угодно, кроме нормальной жизни. Внешне было иногда попросту хорошо – едят. Голод не захватил еще мелкие городишки, деревня снабжена. И нам казалось, что всё хорошо. Но главное хорошо было то, что едем в экспедицию. Вятка. Переговоры с начальством. К нам приходит охрана – двое красноармейцев, до Котласа.

Подробно описывать поездку не стоит. Мы в Котласе перегрузились на железную баржу и буксировались до Усть-Выми. Оттуда баржа шла вверх по Выми на бурлаках.

Сухона и Вычегда, пустые почти, с лесистыми берегами, широкие – сменились разливающейся мелкой Вымью. Сереговские солеварни, работающие со времен Грозного, Весляны. Знакомимся с зырянами – и мне кажется, что их не отличить от северных русских. Говор другой, а быт тот же. Пришлось поехать в Яренск в командировку. Ездили вдвоем со старшекурсником Горного института, кажется Маевским. Этот город произвел большое впечатление – 300 жителей. Не крестьяне, а так – неизвестно что, и чем живут неизвестно. Коровы есть и служба есть. Вот для чего всё это, никто не скажет. Так просто. И нравы хорошие. Столовая. Пустяки, ежели бы она закрывалась на обед. Просто закрыта. Мы голодны. – «Почему не кормите?» – « Погодите, вот придет заведующий – он с утра рыбу поудить пошел – мигом откроем». Обеда мы так и не дождались. Не хуже гостиница. Две комнаты: одна для постояльцев и другая для хозяина. Предупреждает нас: «Однако не сумеете спать – клопов тыщи, никто не выдерживает. Уж устраивайтесь у меня». Мы проспали ночь в приезжей и тем снискали уваженье старика – «Крепки, ребята». Потом, всё-таки, спали у него, любуясь клеенкой на столе: партизаны ведут пленных французов; подпись – «кара нападателю».

Вверх по Выми протянулись без приключений. Впервые стал охотиться – до тех пор считал аморальным такое убийство. Но пошли как-то и меня уговорили. С лужи сорвались чирки, я ахнул из шомполки и всякие рассуждения улетучились. Первой моей добычей был заяц. До сих пор благодарен моему учителю по охоте – Фомичеву.

Выше последней деревушки надо было взять пороги. Дальше нет жилья до самой Ухты. Но нас вернули. Из Усть-Сысольска пришел приказ военных властей. Косыгин помчался туда, а мы спускались со

скоростью от 100 м до полукилометра в сутки. Начальство вернулось с разрешением следовать выше. Дело было вот в чем – на Выми были красноармейцы, человек 20–30. Дальше пустая зона и на Ухте англичане. Мы, таким образом, работали в нейтральной зоне.

Попробовали взять пороги бичевой и под парусом – мы наладили такой в 25 квадратных сажен из брезента и под ним ходили на барже. Ничего не вышло. Мы были уже опытными бурлаками. – Сева головным, я коренником. Тогда баржу с хозчастью бросили у порога, а сами двумя отрядами пошли на лодках вверх. Тут мне повезло. Один из московских коллекторов испугался палаток, и я поменялся с ним. Он стал конторщиком. Я был в партии под началом Стоянова. Из-за того, что Ухта была у англичан, мы не могли заняться нефтью и разведывали горючие сланцы.

Около месяца я перепробовал работу реечника, немножко нивелировал, потом коллекторствовал. Наш лагерь стоял на берегу Выми на полянке. В очередь мы, коллектора, поварили и дневалили. К канавам ходили на лодках, на шестах. Обратно – по гребню порога на весле. Как-то Всеволод сломал весло на самом пороге. Я успел подхватить его обломок и греб как индеец, лопаткой. В результате нас не сбросило с гребня на камни. Работа была занятна, но не больше. Зато увлекся охотой и впервые понял ,что такое полевая жизнь. Научился ходить на шестах, ездил с ямщиками-лодочниками в Усть-Вымь.

Обратный путь был мало интересен. Только раз к нам пришли ночью с облавой – решили, что англичане сверху плавятся. Так баржей прошли всю Вычегду и Сухону, мимо Устюга и Тотьмы. И только в Вологде расстались с водоливом и двумя нашими армейцами. В Питер ехали беспокойно. Наступал Юденич, было занято белыми Царское. К нашему приезду в город оно было взято назад.

Начался второй год старостатства. Но я уже не математик, я биолог. В Университете холодно. Зима много труднее прошлой. И занятия идут странно как-то. Слушаю предметы 1-го курса и, одновременно, мы с Алей работаем у А. А. Ухтомского.

Об А. А. Ухтомском

Я должен извиниться – мои воспоминания о большом человеке более чем отрывочны и мелки. Тогда, в горячей повседневности Университетской жизни, мы не очень обращали внимание на такие «мелочи», как общение с тем или другим профессором. Словом, я никак не дорос до общения с Алексеем Алексеевичем.

Начало было вовсе случайным. Я осенью перешел с математического отделения (где прошел только один курс) на биологическое. Университет молча замерзал. Занятия шли в значительной мере

бессистемно. А любопытство гнало нас к тому, что казалось особенно интересным. Наступала самая тяжелая зима революционного Петрограда – 1919/20 годы. Вышло так, что я слушал начальные курсы («Введение в биологию» у Шимкевича, физику у Хвольсона) и в то же время политэкономию у Святловского, начальные курсы у Щербы и по истории права – нас интересовало всё.

К Алексею Алексеевичу я попал в результате сообщения моего друга А. М. Лунца, который узнал, что в красном кирпичном здании (между филологическим факультетом и физической аудиторией) будет читаться курс физиологии нервной деятельности и мышечной системы. Правда, это на третьем курсе, но с такими пустяками мы вовсе не считались.

Помещение состояло из двух небольших комнаток. Их, по крайней мере, можно было протопить буржуйкой настолько, чтобы сидеть не очень замерзая. Алексей Алексеевич, собственно, не читал лекций – рассказывал, беседовал то с одним, то с другим. Ассистировал Виноградов. Лекции перемежались с практическими занятиями, одно переходило в другое, без перерыва.

Нас, слушателей, было всего шестеро: три бестужевки (незадолго до этого бестужевские курсы были влиты в Университет), один студент четвертого курса, специализирующийся то ли на физиологической химии (если такая есть), то ли на чем-то из области органики, Аля Лунц и я. И очень скоро, само собой, вышло так, что три студентки отошли на второй план – они не скрывали, что хотят только знаний в пределах курса и окончания учения – будущие преподаватели естественной истории в школах. Наш химик занимался основательно, но его специальность уже определилась. В результате внимание на нас двоих. Он явно надеялся, что удастся обратить нас в физиологов. Днем служба в киносекции, вечером у Ухтомского в кабинете.

Все шестеро рассаживались в слабо освещенной комнате вокруг стола или двух-трех столиков. Начиналось священнодействие над лягушками (мальчишки поставляли их в достаточном количестве за летний сезон). Часто дело не ладилось, миограф категорически не записывал у кого-либо из нас требуемую кривую. А Алексей Алексеевич подойдет и спросит, улыбаясь: «Ну, опять новый закон открыл? Исследуй его, исследуй». Ибо мы всё время получаем на миографе неизвестно что – «новые законы», по его выражению.

Конечно, следовало быть взрослей и умней, чтобы оценить всю силу такого курса, когда стиралась самая трудная грань – для нас двоих не существовало профессора, был только очень доброжелательный и невероятно много знающий старший – то ли родич, то ли особый друг. Но мы были непростительно молоды, и шел 1919/20 год.

Только один раз за всё время занятия были не в тесных комнатках здания из красного кирпича, а в большой физиологической аудитории в главном корпусе. Все остальные занятия были вечером и, нередко, затягивались вместо положенных двух часов до десяти, даже одиннадцати вечера. На этот раз дело происходило днем, и было непривычно светло в помещении, окна которого выходили на университетскую линию. Мне было положено прослушать работу мышц у кошки. Именно прослушать в микрофоне. Чистый музыкальный тон должен был доказать правильную периодичность сокращений. Пойманная где-то худая кошка – где тут найдешь себе пропитанье, когда люди последние клочки мяса готовы содрать в темноте вечера с павших лошадей, – была привязана к станку, как бы сидела передними и задними лапами в своеобразном седле. Двинуться она не могла. Две иглы, воспринимающие токи в бедренной мышце, были воткнуты под кожу, совсем не глубоко. Опыт пустяковый, и через полчаса кошка должна была, зализав уколы, уйти на свободу университетского двора.

Мы были в нашей уличной одежде. Алексей Алексеевич – в полушубке, остальные – кто в чем. Об отоплении помещения нечего было и думать. Я надел наушники телефона и приготовился слушать. Но никакого чистого тона не было. За окнами проезжали ломовики, и окованные колеса телег немилосердно грохотали по булыжнику. Ничего другого я услышать не мог.

– Юра, как дела, слышишь?

– Алексей Алексеевич, эти ломовики мешают. Такой грохот, ничего не слышно.

На лице А. А. удивление. Он оглянулся, посмотрел в окно, потом на меня:

– Дай наушники, скорей!

Всё тихо, никаких ломовиков. Он взял наушник, приложил к уху, взглянул на кошку.

– Бери другой, скорей. И слушай. Ну?

Так мы с ним, держа по наушнику у уха и едва не сталкиваясь лбами, слушали. Его лицо было напряжено. Потом шум стал затихать. Появились паузы и, наконец, слились в одну сплошную тишину.

Алексей Алексеевич снял телефон и сказал увлеченно, почти торжественно:

– Юра, ты слышал смерть, понимаешь? Саму Смерть. Это была агония. Запомни.

Потом собрал всех и стал рассказывать об аритмичной работе умирающей мышцы. И как мы это слушали! Кошка, обессиленная голодом и морозом, не выдержала неподвижности, замерзла. В лаборатории было, вероятно, градусов 10 ниже нуля.

Так и работали с ним, слушали рассказы, лекции попутно с занятиями. Я много видел потом народу, но только В. И. Вернадского могу сравнить по обаятельности с Ухтомским. Высокий и статный, с могучими плечами и маленькой головой. Седеющие мягкие волосы зачесаны назад, тонкий, с горбинкой, небольшой нос над усами и тонкими губами, двойная борода. И мягкие, смеющиеся глаза. Только голос неожиданно высок. Он умел и шутить и притягивал к себе.

Дома у него холодно и запущено. Кухарка – она его наверно до смерти не бросила – и он. Оба в шубах.

О его жизни узнал мало, но она лучше другого показала мне, что это настоящий человек. Рюрикович (и он помнил это), в молодости лощеный офицер, потом ушел в старообрядцы, был большим человеком у них (архиепископ?). Потом физиология и профессура. Несколько позже, как тогда называлось – красный профессор, первый в Университете. Потом академик. И никогда не кривил душой. В 20-х и 30-х годах любимец студентов.

Раза два мне пришлось быть у Алексея Алексеевича дома, в продымленной буржуйкой кухне – единственной жилой ячейке квартиры. Это было, кажется, на 16-й линии Васильевского острова. На столе стояла коптилка. Где-то рядом копошилась домоправительница, более чем неопрятная старуха (таков был ее возраст на мой 18-летний взгляд). Этих двух бесед с Алексеем Алексеевичем мне не вспомнить. Они были обо всём, о многом он меня спрашивал – дескать, какой ты зверек и чем дышишь. А я стеснялся. Слишком велико возрастное расстояние, через него мост так сразу не перекинешь. Да и неловко мне было с таким ученым сглазу на глаз, да и в такой «не для него» обстановке. Почему-то запомнилась одна полушуточная фраза, вероятно, самая незначительная из разговора, но уж очень она дисгармонировала для меня со всем обликом Алексея Алексеевича:

– А как ты думаешь, что если как раздражитель при наших опытах использовать не ток, а вошь? И измерить легко – один укус, два укуса, три. А?

И еще, в другой раз, он говорил о ненормальности психики в этой гнетущей холодом и голодом зиме:

– Вот ведь сумасшедший, он что? Просто не такой, какие все нормальные люди. А если все кругом с ума сойдут? Ведь тогда-то мы с тобой за сумасшедших сойдем, а они-то нормальные будут.

Год был тяжелым. Я жил в общежитии. Дома болел отец. Чтобы просуществовать и помочь семье, надо было работать (главное с пайком – деньги ничего не стоили). Я был лектором в Политуправлении военного округа... Красноармейский паек уходил семье – только

крупу и подболточную муку оставлял себе. К весне стало ясно – так не вытянуть: Из всех друзей только нас двое, я и Нина, не падали в голодный обморок в эти месяцы. Учиться очень хотелось, но надо было найти способ совместить учение с хлебом. Так я ушел на медицинский (медиков кормили) и уже через два месяца понял, что оплошал, – медицина и биология вещи разные…

Словом, весной 1920 года мы расстались с Алексеем Алексеевичем и, кроме пары мимолетных встреч в ближайшие годы, поговорили только весной 1937 года на дворе Университета. После поцелуев он спросил:

– И чего ты ушел? А теперь кто?

Я ответил и получил в конце разговора последнее напутствие от него:

– Ну и хорошо, что себя нашел. Работай. А всё-таки жаль, что ушел – привязался я к вам обоим.

И вот не раз думал – надо было перетерпеть и остаться у него.

Работа в Совете старост продолжалась. И лекции слушал, В семинарии Святловского по политэкономии работал. И еще много времени уделял глупостям. Мы часами, до утра засиживались за разговорами в какой-нибудь из комнат общежития.

Кажется, этой зимой появился у нас кружок – «Снарк» (в честь яхты Джека Лондона). На нем по очереди рассказывали самое новое в близких нам науках или читали вслух то «Двенадцать, то Гофмана, Эдду, Песнь песней и мало ли что еще. Часто после серьезного доклада делался шуточный содоклад. Помню, я рассказывал об опытах Штейнака и Воронова по омоложению. А Женя Айзенштадт рассказал, как Штейнаковская операция была произведена некоему лорду и как он стал «огорилливаться» в быту и в палате лордов. Народу было много. Помню Дорфманов Куку (ныне проф. физики) и Лилю (художница, погибла в блокадном Ленинграде), Иду и Леву Варшавских, Шуру Когана. Да мало ли их было. Было у нас состязание на стихи о Снарке – первое место было за Ниной.

Нина Гаген-Торн (Memoria. М.: Возвращение, 1994; 2009) вспоминает о «Снарке» так:

> «Снарк» (по Джеку Лондону) – корабль, на котором мы отправлялись в путешествие: «по земле, под землей, по воде, под водой, в воздухе и в безвоздушном пространстве». Члены «Снарка» – вся наша коммуна, кроме того приходящие: Сеня Малятский, Толя и Зайка

Розенблюм, чуть дальше – Веня Каверин (тогда Зильбер) и Лида Тынянова. (У них своя группа – «Серапионовы братья», но псковичи держатся вместе, а основной наш сочлен – Толя Розенблюм – товарищ Вени по псковской школе). Обязательные члены «Снарка» – Лиля и Кука Дорфман. Есть еще Зина Ливицкая – «нос корабля». Ритуал путешествия таков: в комнату, где живет Ида Варшавская, сносятся стулья со всего этажа и ставятся так, чтобы спинки их образовали как бы борт корабля. В середину ставится стол, на него – табурет. Это мачта. На мачте Левка Варшавский, именуемый еще «сосунком», потому что он не студент, а школьник, путающийся у сестры в общежитии. «Нос корабля» – Зина Ливицкая – садится лицом к окну, она должна изображать вылет корабля. Под стол сидится Кука Дорфман – он «газолиновый мотор». На шкаф взбирается «дежурный рулевой», ведущий корабль. Мы поем гимн:

Лот, лот, лот!
Пусть наш боцман, как лот,
Будет брошен вперед,
До луны, глубины
Ей измеривай!
Мы – у лунной расщелины.
Мы – команда всесветного плаванья,
Звезды дальние будут нам гаванью,
Уж матросы поставили быстрые
Паруса облаков серебристые.
И корабль наш несется как бешеный,
К мачте – солнце привешено.
Сквозь астральный туман
В Мировой Океан направляется!
Режет звездную пыль;
Капитан на бутыль опирается.

На корабле был судовой журнал, в который записывались все этапы путешествий. И – любые проекты будущих путешествий или открытий. Намечал следующие путешествия дежурный рулевой. Назначал их в конце предыдущего странствия и обязан был подготовить, держа это в тайне, всё необходимое для будущего пути. Когда всё было готово – дежурный рулевой объявлял день и час отплытия корабля.

Путешествие делилось на две части:

1) Серьезный доклад на важные животрепещущие научные темы – например Кука Дорфман, физик, рассказывал о принципе относительности Эйнштейна. Тогда только начинали писать об этом. Кука, поблескивая очками, говорил, что представить себе относительность времени и пространства – невозможно, но математически точно Эйнштейн доказал это.

– Послушайте, Кука, – говорила я – ведь это подтверждает положения Канта, что время и пространство суть координаты нашего восприятия мира! – Я тогда только взялась за Канта и одолевала его с трудом, но с жадностью.

– Наш мир, недоступный иначе, чем через наши координаты, для существ с другими координатами будет совсем другим.

– Это противоречит материализму, – с торжеством вскричал Мишка Цвибак.

Спор о философских принципах и разговоры о том, можно ли представить себе строение атома, шел несколько часов.

Другое путешествие началось докладом об омолаживании, третье о генетике и изучении наследственности, которое проводил Филипченко.

2) После доклада – его шутливая интерпретация, иногда инсценировка. В лицах показывали, как омоложенный лорд Керзон приобрел ловкость и подвижность обезьяны.

Не помню, конечно, всех тем, проходивших в путешествиях «Снарка». Мне видятся только молодые, оживленные лица, помнится чувство овевающего воздуха из окна. Казалось, «Снарк» уже взлетел, вылетел из окна, воплотившись в сияющий контур, там, над Исаакием. Мы летим. В комнате остались: стол посредине, валяющиеся венские стулья. Спрыгнул со шкафа дежурный рулевой Юра Шейнманн и повел корабль в Неизвестность.

В результате всех таких занятий на сон оставалось часа 3–4. Еда – небольшая кастрюлька мучной каши раз в день, вечером. И всё-таки энергии хватало. Правда, все за зиму хоть раз падали в обморок. Только Нина да я не пробовали. В этой напряженной жизни как-то не замечался голод. Правда, раз – я шел по Бассейной, подходя к Мальцеву рынку – вечером мимо меня проехал автомобиль с хлебом. И когда пахнуло им, надо было всю волю собрать, чтобы не подбежать и не

украсть буханки. А на Басковом лежала раздутая дохлая лошадь. И вечером какие-то люди с ножами отгоняли собак и отрезали мясо. На академиков и некоторых профессоров было страшно смотреть, и думаю, не один из них остался в живых благодаря конине из мясной «лавки» и обедам нашей столовой.

В Совете Университета стало глаже. Правда, бывало так, что по очереди бывавшие наши представители (двое членов Старостата) заявляли, что они голосуют против, и принятое единогласно решение пересматривалось. Мы были силой (я лично очень маленькой). Реформа Университета заканчивалась. Для нас, пожалуй, самым интересным были «индивидуальные планы». Любой студент, начиная со 2-го курса, мог подать в деканат заявление, что избирает особую специальность и просит разрешить ему заниматься по прилагаемому плану, где могли быть предметы из любого факультета. После соответствующей консультации план утверждался и студент становился «сам себе факультет». Потом, и скоро сравнительно, это отпало, но кое-кто кончил по своим планам.

Еще до этого, весной 1919 года, мы праздновали 100 лет Университета: «Град Китеж» в Мариинском, торжественный акт в холодном зале.

Вечером для Совета Университета и Совета Старост ужин. Отказать в нем было трудно. По паре котлет, хлеб, винегрет и по стакану вина. Председательствовал Александр Александрович Иванов, ректор, потом директор Пулковской обсерватории. Всё было просто и хорошо. Я сидел рядом с черным, как смоль, молодым профессором-восточником Орбели. Около 12 часов он снял трубку (телефон был рядом на стене) и позвонил жене, что скоро придет или что-то в этом роде. В это время запели Gaudeamus. Орбели оборвал на полуслове, пропел в трубку всю песнь и только тогда закончил начатое. И черные глаза его лукаво поблескивали.

В эту же зиму пришлось два-три раза быть у Гумилева. Его стихи принесла нам Ида Варшавская. Но когда встал незаметный человек и нараспев стал читать «Набегала тень, догорал камин» стало нехорошо. Барышни таяли. И всё-таки он производил сильнее впечатление. Но такие встречи скорее расхолаживали, чем помогали полюбить стихи. А стихами занимались много. За Блоком и Гумилевым пришел, сначала в шутку, потом по-настоящему, Маяковский.

Оказывается, очень трудно вспоминать. Да, наверное, и не вспомнить, если не превратить это в серьезную работу.

Сердечные дела шли своим чередом. Юношеские, пожалуй сильные, но недолгие влюбленности: Вера Либерман, Ида Варшавская. Нина ревнует, но разве такое мешает?

К весне стало ясно, что нельзя и работать и заниматься. Надо было браться всерьез. А как это сделать, ежели есть хочется. Приходилось расставаться с биологией.

Не совсем, но надо было ее совместить с пайком. Я подал заявление о переводе на открывавшийся с осени медицинский факультет. Медиков кормили. Но вскоре понял, что ошибся.

К весне и в начале лета сблизился очень с Шурой Коганом. Часто ночевал у него в общежитии Смольного (он заведовал статотделом ПК партии) Тогда стало так, что никакой грани между большевиками и мной не стало. Да и раньше знал, что в серьезном с ними.

На лето с Севой и Никой Пруссак (молодой вдовой с дочкой) поехал в геологический отдел Свирьского строительства.

Это лето не хочется описывать. Ловил рыбу в Свири. Бесконечные хождения в соседнюю деревню к геологу Зильберминцу – там лопали раков. Соляной голод и полное безделье. Стоит ли об этом? Упав с сеновала, вывихнул правую руку в кисти и прошел за 20 верст к фельдшеру, которого пришлось учить, как вдвоем (он и я) вправить. Организация была совершенно бездельной.

Я подал заявление о приеме в партию. Но меня встретили так, что всякая охота пропала. – Вы чего, дескать, ополоумели? В партию идти? Вот чудак!! Этого не говорили, конечно. А потом – сам не знаю почему – взяло раздумье. Думал (как всегда), что так, попросту не делают такое. Словом, сынтеллигентничал. И одновременно, осенью, дал отцу уговорить себя не идти в армию на польскую войну. Словом, доблестного не много было.

Перешел с осени на медицинский. Но почти сразу понял, что ошибся. Какой из меня медик? Занимался понемногу, снова был выбран по лавочной части. И ждал, чтобы как-нибудь устроить учение по-хорошему.

Летом этого (1920) года умерла в Эстонии Вера Либерман. Ее родные оптировались, она поехала с ними и заразилась в Нарве сыпняком. Это было крупной потерей – хорошая она была и хороший друг. Одно время влюблялся в нее, но недолго.

Зимой перебрался в Институт Восточных языков, на Тибетскую группу. Но это не могло быть долгим. С самого начала считал, что это так, познакомлюсь с языком для поездки в Тибет (туда давно хотел). И ждал весны, когда можно будет подать в Горный. Палеонтология вместо биологии, и еще Севина агитация в придачу.

Теперь хватит этого всего. Несколько слов о тех, с кем был близок эти две зимы.

Потому что с поступлением в Горный многое изменилось. Обо всех не расскажешь. Одна компания был «Снарк». Состав кружка менялся, но так много хотелось узнать и так много нового приходило в науку,

что всегда было о чем говорить. Без смены там оставались Нина, Ида Варшавская, Аля Лунц и Аля Говард, Дорфманы. Но появлялись новые – Женя Айзенштадт, Вячеслов Михайлов, Сеня Малятский, Толя Розенблюм. И всё это было крайне разношерстно.

Айзенштадт – сын раввина, очень zirlich-manirlich, умный, острый на язык, влюбленный в право, правовой порядок и т.п.

Михайлов – несколько старше нас, в прошлом гардемарин, потом фронтовик, член РКП(б) до революции. Позже активный борец с Кронштадтом, ректор комвуза. Очень циничный в вопросах пола, он был в то же время очень крепким товарищем и совмещал на первый взгляд несовместимые вещи. Особенно любопытен он был рядом с Дорфманом, педантом и человеком чистой логики.

О Малятском я уже рассказывал. Они уехали из Баку как только были отогнаны турки. И дружба возобновилась. Они легко вошли в компанию – Варшавские им были троюродные братья-сестры. Сеня стал хорошим, чистым и в то же время очень веселым парнем. Он был готов на любые проказы и всегда шел в этих делах во главе. Ближе всех он был с нами с Сережей и с Михайловым.

Розенблюм – не знаю уж как он появился. Насупленные над запавшими глазами черные брови, немного нахмуренный взгляд. Прямой нос над чуть выпяченными губами. Узкое книзу удлиненное лицо и черные, слегка вьющиеся волосы плотной щеткой над квадратным лбом. Первое впечатление – хмур, серьезен и, может быть, суховат. На деле – душевный, очень принципиальный парень. С ним младший брат его Зайка. Он в Военно-медицинской и поэтому несколько в стороне. Тем более что играет там заметную роль.

Но кружок был далеко не самым интересным местом. Наверное, зимой 20-го и в первую половину 21-го мы усиленно буршествовали. Это, конечно, не хулиганство в злостном смысле. Но чудесили немало. Вячеслав, Сеня, Толя, мы с Сергеем были завсегдатаи. Всячески разыгрывали публику. Летом большой компанией гуляли шеренгой по Невскому, присаживаясь на корточки через шаг и были крайне довольны. Зимой мы составил труппу «Живого кино», постепенно сочинили репертуар. Сеня был конферансье. Первое время баловались только в общежитии Университета, потом нас стали всё чаще звать на всякие студенческие вечеринки и вечера. Мы стали почти знаменитостью и не отказывались: «живое кино» избавляло нас от денежных взносов на участие в вечере. А нас оно забавляло. Вероятно, больше, чем публику.

Через Розенблюмов завязалось и близкое знакомство с их земляками – Веней Кавериным (тогда Зильбер) и более возрастными Тыняновым, меньше гораздо, с Шкловским.

В моей жизни огромную роль тогда сыграла компания Совета Старост. Она в значительной мере повторялась: Вера Либерман, Айзенштадт, в меньшей степени Нина. Старшие старостатцы никогда не были близки. Лаппо и Орлов еще весной 1919-го ушли на партийную работу в армию. Постепенно душой компании, группировавшейся около старостата, стала Фанни. Эта почти уродливая девушка при более близком знакомстве оказалась совсем чудесной. И было так, что среди толпы студентов в длинном коридоре Университета, под косыми, сквозь пыль окон, лучами солнца как будто не хватало чего-то, если не появлялась длинная и костлявая фигура Фанни. Она это делала всюду – среди студентов, в Совете Старост, на кафедре гистологии, где она начинала уже работать, и, конечно, дома. У нее, в маленькой и довольно мещанской квартире, стали собираться и просиживали вечера у маленькой коптилки. Ее старики боготворили ее, и странно, но это не испортило ее ни капли.

Соседом ее по дому был студент-старшекурсник Оржсховский. Сладенько-вкрадчивый, поживший на веку, всегда крайне воспитанный, с прозрачными голубыми глазами под пенсне. Нам он не нравился – чуяли грязь и ложь. Незаметно Фанни несколько отошла от нас. Потом заявила как-то – приходите, дескать, только теперь этажом выше – я жена Оржсховского.

Отношения натянулись, и ей, видимо, было трудно такое отдаление от нас. Потом, через несколько месяцев, появилась прежняя Фанни и звала нас снова к себе. Мы пошли радостно. Но она была новой – испугалась грязи, которую он принес к ней. Бонвиван и она никак не вязались. Незаметно мы стали с ней дружны и сближались всё больше. Потом стало ясно, что это не просто дружба. И всё это росло и стало большим и очень сдержанным. Потом всё ухнуло. Она очутилась на Шпалерной. Редкие свидания и переписка. У ее стариков я стал почти сыном за эти месяцы. Потом решение – выслать на родину, в Польшу. Мы увиделись на станции, крепко поцеловались – в первый раз. Остались письма, фотография и надпись на ней: «Несколько вечеров, недоговоренные слова. И это всё? Не верю».

Всё это пропало 14 лет назад.

Я хотел ехать за нею. Это было не просто. Писал ей об этом. Потом живая жизнь и Горный Институт заявили свои права. Снова полностью взяла жизнь тех лет. Я не поехал. Она не стала после этого писать. Жила трудно. Была медичкой в Иене и активным членом революционного студенчества. Ее знал Аля. Своей жизни, кажется, не устроила. Так и разбросало нас. Это было очень серьезным для меня в те годы, да и просто, без всяких идеализаций, редко можно было найти таких людей.



Университетская жизнь всё больше отходила от меня в зиму 1920/21 года. Но еще по инерции принимал участие в ней. В это время началось увлечение (по существу – преклонение) Нины Андреем Белым. Активная и напористая, она пыталась увлечь и нас. Шла борьба – очень уж далек был он. Я честно читал, даже ходил слушать его в Вольфилу (Иван Эдуардович соединял ее с Филармонией в Филимонию), но понял только, что это ненормальность, как ненормален Достоевский. И затягивает это так же.

На этой почве дело дошло почти до ссоры с Ниной. Гораздо большее впечатление производил на меня в эти годы Маяковский. Его силу (особенно когда он сам читал) воспринимал ясно и с радостью.

Пришла весна. В Горном открылся прием на «приготовительный семестр». Я подал заявление. Вместе со мной подал Евгений Пресняков, незадолго до этого ставший приятелем. Нас приняли. Так закончилось безалаберное студенчество первых трех лет.

Я начал всерьез работать, и работа отодвинула и общественность и, в значительной мере, богему. Я еще хулиганил и ребячился. Но снова, и всерьез, а не в качестве декларации, пришло желание – впереди была наука.

Здесь кончаются автобиографические записки.

Глава 3

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Юрий Шейнманн и Евгений (Гутик) Пресняков стали студентами Горного. Горный институт всегда был серьезным, настоящим учебным и научным учреждением. Имена читавших там лекции говорят сами за себя: Мушкетов, Наливкин, Тетяев, Лодочников, Вебер. Тогда еще неукоснительно блюлась традиция: в Горном преподают только выпускники Горного. Еще не начинались чистки по социальному происхождению, широко развернувшиеся к 1928–1929 годам. (Мои родители, оба, к счастью, успели получить дипломы, а мама и закончить аспирантуру, до этого). В Горном был очень сильный и сплоченный ученый совет.

Ведь недаром, когда Мушкетову предложили сократить учебный курс до четырех лет, так как необходимо скорее получить большее количество горных инженеров, он смог твердо сказать: «Нет. Мы выпускаем горных инженеров, от них зависит жизнь людей. Мы не можем выпускать недоучек». Он знал, что весь ученый совет его поддержит.

Много лет спустя, в Норильске, отец вспоминал своих учителей из Горного (см. с. 174).

А петрографию в Горном вел В. Н. Лодочников, величайший знаток минералов и горных пород. Книга Лодочникова до сих пор непревзойденное руководство. Он был очень требователен:

– В рожу, молодой человек, надо определять минерал. В рожу! А потом проверять.

А. Я. Салтыковский передает рассказ отца о Владимире Никитиче Лодочникове:

«Из студенческих воспоминаний Юрия Михайловича мне запомнились его рассказы о профессоре Владимире Никитовиче Лодочникове – необыкновенном, умном, интеллигентном человеке, который по праву считался (да и сейчас признается) лучшим специалистом в области кристаллооптики и петрографии. Юрий Михайлович рассказывал, что, когда Лодочников преподавал им кристаллооптику и объяснял



особенности оптических характеристик минералов, то, если студент никак не мог его понять и определить минерал, Владимир Никитич начинал нецензурно ругаться. И нерадивые студенты сразу же начинали по-другому воспринимать комментарии и профессора, его объяснения доходили легче... И вот, когда ввели совместное обучение женщин и мужчин в Горном институте, Лодочников хватался за голову и восклицал: «Как же я теперь буду им объяснять кристаллооптику в присутствии женщин?»

А еще Владимир Никитич требовал научиться видеть «эффект Лодочникова». Что обычно сразу не давалось – бледные оттенки голубого и розового не улавливались сразу. И только раз он был поражен – студент ответил: «Конечно, вижу! Ярко-розовое и ярко-голубое» – оказалось, что этот парень раньше работал в астрономии по цвету звезд.

А еще читали Мушкетов, Наливкин, Тетяев. Шли жаркие споры вокруг «древнего темени Азии», о грандиозных надвигах, об особенностях осадконакопления.

А в перерывах между лекциями ребята выбегали на набережную Невы и, вглядываясь в сторону Гавани, определяли по развевающимся там флагам национальность прибывших кораблей. Побеждал назвавший большее количество.

Занятия шли своей чередой. Юрий, пришедший в Горный из биологии, всерьез занялся палеонтологией. Увлекся древними мшанками. Да так, что в студенческие годы опубликовал две статьи о мшанках. О них же была написана дипломная работа. На защите ее оппонент, профессор Наливкин, сказал: «О мшанках что говорить. О них знает Василий Павлович (профессор Нехорошев, научный руководитель Юрия), да вот Юрий Михайлович. А мы не знаем». Диплом дал квалификацию «горного инженера – палеонтолога». Но влекла не только палеонтология.

В 1923 году возник Сибирский кружок. На геологической карте Сибири тогда было море белых пятен – геологию Сибири только начинали осваивать. Восточная Сибирь – практически сплошное белое пятно, кроме разве что самых южных районов. Регулярная геологическая съемка Забайкалья только начинается. Море деятельности для молодых пытливых умов. И Сибирский кружок собрал их много. Дату основания можно установить точно. Есть фотография 1948 года – юбилей кружка. На обороте даты: «9 ноября 1923 – 9 ноября 1948 года – двадцатипятилетие Сибирского кружка».

И подписи его членов. Сидят: Ю. М. Шейнманн, Ю. А. Билибин, С. А. Музылев, В. И. Серпухов. Стоят: А. Л. Лисовский

и Д. В. Вознесенский – все видные деятели геологии, доктора наук, Билибин даже академик. И остальные члены кружка не хуже. Тогда туда еще входили: Митя Коржинский (будущий академик), Валя Цареградский (будущий геологический начальник Дальстроя, генерал), Котик Кригер-Войновский (Константин Генрихович Войновский-Кригер – доктор наук, профессор), Сева Черкесов (палеонтолог, автор учебника-определителя, доцент; арестован в 1937 году, погиб), Гутик (Евгений) Пресняков, Саша Лисовский – всех я не знаю. Достаточно и перечисленных, чтобы понять – не слабым был кружок! Ребята были увлечены всерьез. И всерьез готовились.

А наряду с этим был, конечно, и обычный студенческий вертопляс. Тогда существовала такая шуточная оперетка «Иванов Павел», о нерадивом гимназисте-переростке, не желающем учиться, но вынужденном сдавать экзамены. Весь текст ее был переделан на нравы Горного. Вместо Иванова Павла был Саша Лисовский – «Саша мудр необычайно и мечтает чрезвычайно на Колыме быть и по ней проплыть».

Арию матери Павла: «Павлик, Павлик, занимайся, ведь экзамен на носу» – должна была петь молодая Сашина жена Люба. Вместо арий грозящих ему педагогов – арии профессоров Горного. М. М. Тетяев должен был петь:

Шарьяжи юношей питают,
Почтенных старцев изведут.
В счастливой съемке помогают,
В несчастный случай – сберегут.
И, чтоб благие начинанья
Могли свободно прорасти,
Студент, объятый жаждой знанья,
Изволь к Тетяеву идти…

Тогда в самом разгаре был спор М. М. Тетяева и академика В. А. Обручева о «Древнем темени Азии» и наличии в Забайкалье крупнейших надвигов – шарьяжей.

А профессор Д. В. Наливкин, написавший «Учение о фациях» (то есть об условиях осадконакопления) должен был петь:

А у Каттегата, да Каттегата,
Илы вонючие богато
В проливах Дании лежат…

И что интересно: профессора согласились спеть свои арии. Не знаю, состоялся ли этот капустник, но репетиции были.

В тот же период, зимой 1922–1923 годов, мои родители решили пожениться. Свадьбы, разумеется, никакой не было – это считалось древним, дремучим пережитком, но регистрация была. Тогда это было очень просто: пришли и записались – ведь это всего-навсего «запись актов гражданского состояния». А в самом ЗАГСе была любопытная сцена – какая-то девчонка ревела и кричала: «Вы не имеете права!» А заведующая ЗАГСом ей отвечала: «Ори сколько хочешь, но в шестой раз за этот год я тебя расписывать не буду».

Я родилась в январе 1925 года, в моем метрическом свидетельстве записано: отец – студент, мать – лектор. Мама уже получила диплом об окончании Университета, а отец еще учился в Горном. Но одновременно уже работал в Геолкоме.

Геолком того времени хорошо описал В. В. Белоусов, но он застал старый Геолком уже «на излете», а отец застал еще настоящий. И недаром, много лет спустя, В. К. Котульский, требуя от него обстоятельно изложить «свое особое мнение», чтобы приложить к протоколу, говорил: «Я буду говорить с вами, будто мы в старом Геологическом комитете. Я – директор, вы – член присутствия...» Обоим всё было понятно.



Но слово *В. В. Белоусову*:

«Геологический Комитет был организован в 1882 году. Это было правительственное учреждение, единственное в нашей стране, которое имело своей задачей изучение геологического строения страны – преимущественно путем геологической съемки определенного масштаба, но также и путем специальных экспедиций. Например, велись геологические исследования вдоль трасс проектируемых железных дорог. Геолком, мало меняясь, просуществовал до 1930 года, когда, в связи с первой пятилеткой и нуждами индустриализации страны, вся геологическая служба была решительным образом перестроена.

Я познакомился с этим учреждением на его закате, в последние два года... но всё же какой-то запах чего-то прежнего еще сохранялся.

Геолком помещался в большом сером доме на Среднем проспекте Васильевского острова. Сейчас в этом доме – наследник Геолкома, впрочем мало на него похожий, Всесоюзный геологический институт Министерства геологии (ВСЕГЕИ).

Что прежде всего поражало в этом здании, это пространство. Внутри прямо перед входом поднималась широкая

пологая лестница на галерею второго этажа, откуда еще две лестницы вели на третий этаж, где помещался музей. Но эти три этажа равнялись по крайней мере шести в обычном здании – до того были высоки потолки. На первом и втором этажах в обе стороны от центрального проема шли широчайшие пустые коридоры, в глубине которых только изредка можно было увидеть редкие, задумчиво бредущие фигуры. Под стать коридорам – кабинеты. Метров по сорок площадью, с большими двухсветными окнами. Богатая библиотека, которая и сейчас остается лучшей геологической библиотекой в стране, обширный зал для заседаний. И в каждом кабинете, за массивной дверью с фигурной ручкой – светило в своей области геологической науки. <…> Массивные книжные шкафы, стеллажи для образцов, тяжелые письменные столы, доски для черчения. Всё прочно, солидно, крупно. Всё казалось говорило: «Здесь посвященные творят таинство науки».

Тогда геология была резко разделена на вотчины. <…> Геолком разделялся на региональные секции. И в каждой секции был вождь, авторитет которого был почти непререкаем. <…> Кроме того, сотрудники Геолкома делились по специальности на петрографов и палеонтологов. <…> Никаких фантазий, никаких общих соображений, никаких заумных теорий. Впрочем, всё это могло быть, но не это спрашивалось с сотрудника Геолкома, не за это ему платили деньги. С него спрашивалось конкретное дело: геологическая съемка той или иной территории, описание месторождений полезных ископаемых и т. п. В одних районах, где было больше магматических пород, для решения этих задач более важно было быть специалистом-петрографом, чем стратиграфом, в других, где преобладали осадочные породы, полезнее был палеонтолог. Нередко они работали в одном районе. <…> Старших специалистов в Геолкоме было в то время очень мало – едва ли много больше сотни, а вопросов – и региональных и тематических – возникало много. <…> Малое количество сотрудников позволяло долго удерживать традиции и которые сейчас, в наших немыслимо многолюдных институтах, выглядели бы нелепым анахронизмом. Например, каждый геолог, вернувшись с очередной полевой работы, являлся к директору и докладывал ему основные результаты. Каждый вновь поступающий на работу в Геолком, кто бы он ни был,

> хотя бы просто коллектор или чертежник, должен был представиться директору. <…> Все сотрудники Геолкома, если они не были в отъезде и были здоровы, всегда находились на месте. <…> Никто никого не проверял. Но все были на месте. Уходили читать лекции по соседству в Горный Институт и возвращались обратно. Если кто-то был нужен для консультации, шли к его кабинету и просто открывали дверь, зная что почти наверняка он на месте и не откажется поговорить, если только не занят срочным делом. <…> Встречались и беседовали в коридорах, куда выходили поразмяться, поразмыслить. Так же доступны были члены *дирекции*».

Вот в этот-то Геолком и пришел в 1923 году студент Юра Шейнманн. Вначале коллектором, потом геологом в группе М. М. Тетяева.

Где отец провел свои первые коллекторские полевые сезоны? Документов и воспоминаний у меня нет. Но в маминой повести «С котомкой за плечами» герой ее Глеб, прообразом которого был явно Юрий Шейнманн, едет на практику в Забайкалье, ходит в маршруты в Тункинских гольцах над речкой Кынгаргой и ездит верхом по забайкальским степям в первые самостоятельные маршруты. А в старшем поколении геологов в этой повести явно угадываются М. М. Тетяев и Я. С. Эдельштейн. Так было в сезоны 1923 и 1924 годов.

В 1925 году он работает в Северном Казахстане. Записей тоже нет. Но есть несколько мелких любительских фотографий с палатками в степи, с невысокими скалистыми горами, широкими падями, высокой скалой с характерной для гранитов матрацевидной отдельностью. На одной из них бритоголовый с небольшой, начинающей расти бородкой, Юрий Михайлович. Подписи под снимками: «один из лагерей в долине Аягуза», «северный склон Тарбагатая», «лагерь в устье пади Уртуй».

И еще в Норильских воспоминаниях есть такая запись:

«Очень давно, студентом, пришлось мне быть в казахских степях между Иртышом, Зайсаном и Тарбагатаем. Пустая степь, то полынная, то ковыльная. Однообразные увалы и невысокие горы, редкие родники, казахские юрты. Но не было в степи двух одинаковых сопок, даже склонов. Были прячущиеся и вновь пробивающиеся среди камней речки, были дрофы и утки, кеклики в горах. Были казахи, каждая встреча с которыми интересна и, часто, радостна. Такой и осталась степь в памяти. Вроде неповторимой книги, которую, уже прочтя, хранишь на полке. И вот, через год, возвращаясь в Ленинград после

первой самостоятельной работы в Забайкалье, я встретил в поезде топографа, работавшего в моих районах степи по изысканию трассы Турксиба. Обрадовался: он ведь всё время в степи, видит ее.

– Степь? Ну, да, самая обыкновенная. Желто всё и пыльно, и воды нет. Сжаришься. А насчет казахов – ну, грязный народ. Насилу вырвался в культуру от них…

– То ли я сны видел, то ли он – слеп?»

И фотографии того же лета: молодая, очень красивая, улыбающаяся женщина на лужайке перед старым бревенчатым домом, поднимает вверх смеющегося голенького ребенка. И вторая, несколько позднее, ребенок уже сидит, они играют в пирамидки. Это я и мама. Фото посылалось в Казахстан.

А следующий полевой сезон – уже самостоятельная работа в Забайкалье, у Тетяева.

Там, в бассейне Онона, почти на границе, Юрий Михайлович ведет геологическую съемку с 1926 по 1928 год включительно. Воспоминаний об этом периоде тоже нет, но есть несколько напечатанных (изданных) отчетов, статьи, масса фотографий, особенно 1927 года, когда мама приезжала к нему в экспедицию, и небольшой, написанный им впоследствии рассказ о том, как геолога Бориса и его коллектора мальчика Гену приняли за белобандитов местные жители, а они, в свою очередь, приняли вооруженных жителей за перешедшую границу банду белоказаков, о которой их предупреждали в Оловянной. Чуть не постреляли друг друга – спасла отборная ругань волжских водоливов – «так ругаться может только свой на своей земле».

В геологе Борисе легко угадывается автор рассказа, а подросток Гена – Гешка Федоров, приемный сын среднего из братьев Бианки, старинных друзей дома и внук знаменитого автора Федоровского столика Евграфа Степановича Федорова – будущий геофизик Евгений Евграфович Федоров (У них, у Федоровых, все назывались на Е – Евгений, Евграф, Елий, Евангелина).

Полевая работа, как я уже говорила, шла три сезона на смежных листах. Ландшафты степного Забайкалья: широкая долина Онона, невысокие, меньше 1000 м, горы, постепенно повышающиеся к востоку, широкие долины в большей части района – делают этот район проходимым для конного транспорта. Можно проехать не только с вьючным караваном, но часто и на телеге. И маршруты преимущественно конные. Только в северной части района – островерхие скалистые гребни. Геология довольно проста: доюрские гранитоиды, морские отложения юрского возраста и, в небольшом количестве, постюрские граниты. Карта составлена

в лучших тетяевских традициях: несколько почти параллельных чешуй – надвигов, не слишком пологих, надвинутых с юга на север. Они захватывают все породы: и гранитоиды, и даже породы юры. Обычная геологическая работа нормального, внимательного и думающего молодого геолога. Сверх того, хотя поисковые работы и не входили в задание партии, были, по ходу работ, обнаружены в 1926 году сурьмяное месторождение на р. Бырке; восстановлено «потерянное» в течение 100 лет Завитинское оловянное месторождение, а в следующем, 1927 году в нем был найден в значительных количествах литиевый пироксен.

Фотографий этих лет, как я уже упоминала, много: геологическая молодежь во главе с М. М. Тетяевым на Букуке, конные маршруты, перебазировка лагеря на телеге, конные фотографии приезжавшей в 1927 году мамы, фото старшего рабочего каравана и т. д. Шла обычная жизнь полевого геолога.

Но вскоре всё переменилось. Опять надо обратиться к воспоминаниям В. В. Белоусова:

> Всё смешалось весной 1930 года. Откуда-то набежало несчетное количество чиновников, которых за неимением другого места разместили в конференц-зале, уставив его столами. Возникли комиссии, определявшие судьбу сотрудников и заседавшие за закрытыми дверями. Началась децентрализация геологической службы, шла организация территориальных геологических управлений. По Геолкому поползли слухи, исчезла всякая чинность, люди забегали из кабинета в кабинет, сообщая друг другу новости.

Трое молодых геологов из Восточно-Сибирской группы – Шейнманн, Лисовский и Слодкевич – получили направление в Иркутск и выехали туда с семьями, «насовсем».

Глава 4

ИРКУТСК

Возражений против этого назначения, я полагаю, не было: три дружных молодых семьи, широкое поле деятельности в интересующей всех их области, большие возможности: Юрий Михайлович должен был возглавить геологическую съемку в Восточно-Сибирском управлении.

Полная самостоятельность в организации службы и быта. А ведь всем им по 28–29 лет! Думаю, что немаловажную роль играла и красота окружающей природы. Для моих родителей во всяком случае.

Быстрое течение могучей Ангары с ее чистейшей водой, голубой даже в тазу, великолепные кедровые леса, близость Байкала, горы и степи Забайкалья. Отец был страстным охотником. Рыболовом тоже, но в молодости превалировала охота, рыбалка была на втором плане, это под старость она вышла на первое место. Охотился он в поле, во время экспедиций, но и зимой вырывался иногда на охоту на несколько дней.

А мама – Нина Ивановна – только что закончила аспирантуру и надеялась читать курс лекций по этнографии и фольклористике в Иркутском Университете (из этого ничего не вышло – см. ниже). Варенька Слодкевич и Люба Лисовская просто ехали вслед за мужьями – Люба была врачом и устроиться на работу могла везде. Кем была Слодкевич – не знаю.

У Слодкевичей было двое детей: мой ровесник Сезя (Сергей) и маленькая Оля, у Лисовских – Леночка, годом младше нас с Сезей. И нас к тому времени было двое: в ноябре 1928 года родилась моя младшая сестра Лада. С нами приехала наша няня – Анна Ильинична Козлова и две наши собаки.

Иркутск меня поразил. Для меня, пятилетней питерки, город – это стройные ряды пяти-шестиэтажных домов, каменные плиты тротуаров, булыжная или торцовая мостовая, с грохотом проносящиеся красные трамваи, хмурое серое небо, туманы и морось осенью и грязный снег зимой.

А тут – открытое пространство, деревянные двухэтажные дома, даже одноэтажные и полуземлянки – слегка вкопанные в землю,

деревянные ставни, как на даче. Широкий двор, где можно бегать одной, без мамы и няни. Тихие улицы: редко-редко проедет лошадь. И главное – белый, чистый, хрустящий снег и зимой – солнце! А таких улиц, как в Ленинграде, – одна-две в самом центре, где мы почти не бываем Всё другое в Иркутске. И быт другой. Не ванна с колонкой в квартире, а семейные номера в бане, где можно дрызгаться сколько хочешь и лить воду на пол. Не батареи центрального отопления, а печки, которые топят углем, а не дровами, как на даче. И белье полоскать няня возит на санках на речку, не на Ангару, на другую, маленькую. Теперь узнала, что это за речка. И церковь белую с зеленой крышей, что стояла на горке, узнала. Гулять мы ходили на горку, где церковь. Я хорошо помню эту церковь, но когда приезжала взрослой, не могла найти и нашей улицы тоже. А сейчас, читая книгу об адмирале Колчаке, – ахнула. Вот она, эта церковь – это Знаменский женский монастырь. И речка – Ушаковка, в сотне метров от Ангары – место расстрела Колчака, труп которого был сброшен в эту речку. Вот куда мы ходили гулять и где няня полоскала белье!

Наверное, и деревянный двухэтажный дом, второй этаж которого мы занимали, давно снесен. Квартиру снимали большую. Была даже свободная комната для приезжих: весной и осенью там останавливались, проездом через Иркутск, ленинградские геологи – друзья отца. Мама работала целыми днями, а иногда и вечерами, нас двое, Ладка маленькая, только начинает говорить, готовка, стирка, печки. Няне трудно. Но потом появляется Оля – молодая, веселая нянина помощница. Откуда она взялась – я не знала. Недавно наткнулась на хранившееся у бабушки Веры мамино письмо. Приведу отрывок – уж очень оно характерно.

> «Иркутск 13.10.30 г.
>
> Ну, наконец, дорогие мои, кончилось в Крайплане буйное помешательство с контрольными цифрами, я могу вздохнуть свободно и сесть за письмо вам. Я писала уже вам, что работаю в Крайплане с 27.09 в секции научно-исследовательских работ. Всё это время крутилась, как белка в колесе, составляя контрольные цифры на 31-й год. Приходилось работать с 10 до 4-х и от 5 до 10-ти. А урывками по утрам и вечерам мыть полы, таскать воду, стирать, чтобы хоть как-нибудь помочь Аннушке. Она буквально замоталась, сразу после болезни начав работать за двоих. Домработницу я до сих пор не могла найти. От всего этого было отвратительное настроение, поскольку вообще оставалось место настроению, и отчаянная переутомленность.

И вдруг вчера – счастливое разрешение всех дел и забот: кончила свои контрольные цифры. Был выходной день, и я помогала Аннушке на кухне. Стучат в дверь и входит высокий священник. Я – недоумеваю, а Аннушка так и ахнула – «Отец Павел! Батюшка!» Оказалось, что это священник из их деревни, который переехал жить и священствовать – здесь, в 6-ти часах езды от Иркутска. Он ее кум и закадычный друг ее брата. Она часто о нем рассказывала, горюя не сослан ли он. Приехав в Иркутск, он отыскал нас и заявился. Провел у нас целый день, Аннушка очень обрадовалась его приезду и тому, что он согласился отпустить к нам свою 19-летнюю дочь домработницей. Его дочери так и не смогли учиться как дети священника и теперь живут в деревне крестьянками: жнут, косят, пашут, молотят и стряпают. Работы много и никакой другой будущности впереди. А у нас, прослужив домработницей, она сможет пройти в союз, поступить куда-нибудь на фабрику. А пока – ходить на какие-нибудь вечерние курсы учиться. Аннушка очень хвалит девушку. Очень работящая, неизбалованная, веселая и, главное, можно ручаться, конечно, за ее честность. Аннушка знает ее с детства и любит, так что, надо думать, уживемся мы прекрасно. Приехать сможет она дня через 2–3. Только что решили мы все это вечером и сидим, пьем чай с о. Павлом – звонок. И является Юра с Ошкой (нашей собакой). Он приехал с работы раньше дней на пять и больше, вероятно, не поедет. Таким образом враз налаживается и становится на зимние рельсы жизнь. Сегодня в Крайплане дела у меня в сущности нет вовсе, и я сижу, попивая чаек, но безделье не тяготит, так как через два-три дня начнется более интересная работа по организации научного съезда края, а я вхожу в оргбюро его».

Быт как быт. Сибирский. С печками, топящимися углем, с мерзлыми кругами молока, приносимыми с базара, с поразившими меня величиной кедровыми шишками. Отец и дядя Саша Лисовский приносят с базара на плечах, как бревно, громадную мерзлую рыбину и пилят ее пилой во дворе.

А летом Байкал, степи, море цветущих саранок. Всё необычно, интересно, но я тоскую по Ижоре, по нашему Приморскому Хутору – маленькие дети ведь страшные консерваторы. И только потом, в памяти, встают картины потрясающей красоты и величия. Впрочем, Байкал был воспринят сразу: морские дали, клубящиеся над морем облака, еле-еле видимый другой берег –

напоминают свое, родное, свои дали Финского залива, только величественнее и красивее. А прозрачность байкальской воды потрясла – мы ехали на лодке, я нагнулась за борт – хотела достать со дна камешек.

– Что ты, ведь тут глубина с двухэтажный дом!

С тех пор люблю «славное море, священный Байкал». Песню эту тогда часто пел отец. У него был мягкий красивый баритон. И пел он много и часто, дома, зимой. Мне нравились: «Славное море», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Мы конная Буденного». Пелось, конечно, отнюдь не только это, но это были мои любимые. Он играл с нами и с собаками. Их было две больших: белая лайка Ошка (Ошкуй – белый медведь по-северному) и пойнтер Кин. И еще моя китайская болонка – маленькая, курносая, лохматая и страшно злая – «Пифик-страшный зверь».

Сердце замирало, когда папа подкидывал под потолок. Маленькую, кудрявую – меня часто называли барашком. А я говорила: папа горный инженер, а я горный баран.

Летом приехали мамины родители. Дед, известный хирург, списался с местным райздравом, и мы все поехали на курорт Аршан, в Тункинские Альпы, как говорил дед. На поезде через байкальские туннели (тогда дорога шла у самого берега). Скорый поезд на нужной нам станции не останавливался, пришлось возвращаться на нее «морем», на лодке. Тут-то я и изумилась прозрачности байкальской воды. А потом поездка по степи на лошадях, в кибитке. Я всю дорогу сижу на облучке, рядом с ямщиком. Даже есть не захотела в кибитке, грызла куриную ногу, сидя на облучке.

По пути заехали в бурятскую юрту. Кажется, там чай пили. Поразили цветные деревянные сундуки, стоящие один на другом вдоль стены, и маленькие медные Будды на подставке-лесенке.

На курорте у нас был маленький отдельный домик с верандой на берегу быстрой горной речки Кынгарга (по-бурятски – барабан).

Отец проводил нас и уехал в поле, на Байкал. Они обследовали побережье на предмет выявления признаков нефтеносности.

На Аршане дедушка несколько раз ходил в горы, а мы с бабушкой – только до ближайшего водопада, где был перекинут мостик через Кынгаргу и с него, в быстрой чистой воде, можно было наблюдать красавцев-хариусов с радужными перьями на спине. Мы с бабушкой пытались их ловить на удочку и очень удивлялись, что они не желают брать крючок ни с какой наживкой. И дед тут не помощь – они, европейцы, не знают, что хариуса с грузилом не ловят: надо на муху, внахлест.

А потом дед и бабушка уехали в Ленинград, а нас отец отвез на берег Байкала, в Мысовую. Там, в поселке, он снял квартиру на остаток лета.

Поселок был весьма своеобразен. Я его плохо помню, расскажу со слов мамы:

> «Мысовая – поселок, который хотел бы показать себя городком; он отличается от сибирских сел. Крылечки домов выходят не во двор, а прямо на улицу. Кое-где мелькают у домов палисадники, поставлены лавочки. Улицы поросли мелкой травкой, бродят белые козы и с удовольствием щиплют ее».

А у нас в поселке случился казус. Оказывается, там жили сибирские евреи, целым поселком. И блюли все старинные еврейские обычаи, как в черте оседлости в старое время. Когда мы приехали в сданную нам на лето половину дома, няня попросила у хозяйки кастрюльку, чтобы вскипятить молоко. И вымыла ее с мылом. Разразился скандал: оказывается, нельзя готовить мясное и молочное в одной посуде, а мыло делается с жиром, значит кастрюля уже не годится для молока. Пришлось покупать хозяйке новую кастрюлю. Мама говорила, что никогда раньше не знала о сибирских евреях в Забайкалье. Как и повсюду в Российской империи, им запрещалось возделывать землю. Но никто не запрещал извоз. А это в Сибири был весьма распространенный промысел: железная дорога одна-единственная, а от нее в сторону – только гужевой транспорт. Зимы долгие. И почти во всех деревнях молодые мужики уходили зимой в извоз. И в еврейском поселке тоже. И еще один способ пропитания был: женщины собирали дикорастущие ягоды, а их здесь тьма-тьмущая – и варили варенье. А потом оно продавалось по всей Сибири. И в такой обстановке выросло не одно поколение крепких здоровых сибирских евреев. Это я пишу со слов мамы

Я-то помню только Байкал и цветы, великолепные саранки: красные, завивающиеся как кудри, и желтые волчьи саранки, как маленькие граммофонные трубы.

А папа, поселив нас на этой даче, опять уехал в поле.

К своему другу Всеволоду Юрьевичу Черкесову. Об этом есть рассказ.

Андрей Егорыч

В 1930 году, закончив исследования по южному берегу Байкала (от Снежной до залива Провал), я вернулся в Иркутск. Особенного удовлетворения не было – сколько-нибудь существенных новых дан-

ных, которые могли бы помочь в дальнейших поисках нефти в этой полосе, мы с Г. Е. Рябухиным не нашли.

Давно известные примазки нефти на скалах в районе Провала тоже были осмотрены. Но ничего, что подсказало бы возможность открытия месторождения, не было в наших руках. Оставалось изучать глубины дельты, но для этого единственным путем было бурение. Оно впоследствии было осуществлено Рябухиным, который продолжал здесь работу уже в качестве начальника партии.

Неудовлетворенность сделала особенно желательной кратковременную экскурсию по иркутскому берегу Байкала, от села Голоустного к городу, по реке Ушаковке. Приглашение на такую пяти-шестидневную экскурсию я получил еще весной от моего друга еще по гимназии Всеволода Черкесова. Знакомство с этим районом обещало много для меня интересного. Я списался с Черкесовым и через несколько дней уже высаживался с пароходика в Голоустной.

Здесь, на базе черкесовской партии, я впервые увидел Андрея Егорыча.

Сухой, с выразительными, почти красивыми чертами лица, черноволосый и черноглазый, он был очень своеобразен. Всегда – в тайге ли, дома ли – чисто выбритый, с негромким, отрывистым голосом, он казался образцом порядка, им же самим и установленного. Когда-то драгунский унтер, он прошел в 1904–1905 годах всю Маньчжурию и, вероятно, во время этой, отнюдь не легкой для солдата кампании, «превзошел» всю труднейшую науку вьючения.

Потом осел в Иркутске, обзавелся женой и двумя дочерьми. Жил «по-городски», в чистой квартире из двух комнат. Мне говорили, что, при любых обстоятельствах он обеспечивал семью всем необходимым, сам возил из тайги дрова и мясо на зиму. Много лет промышлял пушнину, а летом – рыбу. Когда и как он коснулся геологов – не знаю. Но постепенно стал специалистом самой высокой квалификации как глава вьючного каравана – официально это называется у нас более чем скромно: старший рабочий при караване (старшо́й).

Черкесов нашел его в Иркутске, и в течение двух сезонов они работали вместе.

В тот раз в Голоустной я только познакомился с ним. Его сноровка при вьючке и спокойствие в тайге (однажды мы сделали ночной переход с вьюками по очень плохой тропе) – бросались в глаза. И еще привлекал его язык. Трудно, вероятно, найти человека, который мог бы с такой же уверенностью и достоинством так перевирать бумажно-бюрократические и интеллигентские обороты, вводя их в условия нашего обихода.

– Андрей Егорыч, завтра до Широкой пади дойдем, как думаете?

– Несомненно, располагаю, что в наличии имеющейся на сей предмет тропы, а также пользуя лошадиные преимущества, мы к вечеру станем в привилегии на луговых пространствах на Широкой, и еще перед закатом.

Конечно, я не в состоянии дословно вспомнить его обширный словарь, но вряд ли приведенная сентенция была бы замечена им как нечто особенное – говорил он куда витиеватей и слова находил попросту необыкновенные. И, удивительное дело, через два-три дня эта речь казалась обычной и только очень редко, при особо высокостильном обороте, привлекала внимание.

И еще была маленькая особенность у Андрея Егорыча, которую надо было переносить безропотно, – котлеты. Они были самым изысканным блюдом его кухни. Он не шел в партию, не прихватив с собой мясорубки, и почти каждый день готовил котлеты. Рябчик на вертеле или жареный хариус ни во что не ставился, хотя их приготовлял он прекрасно – «самая таежная невзыскательность, по моему определению».

После длительного ожидания, когда уже не есть, а жрать хочется, Андрей Егорыч входил в палатку, полный важности момента. На сковороде, которую он ставил на ящик-стол, очень темные, почти черные комки, шипит жир. Он садится, и мы едим его котлеты. Вкус в них – в том, чтобы были они почти обуглены, главное, предельно сухи. Сколько же таких котлет мы с ним съели за нашу совместную работу!

В Иркутске Черкесов сказал мне, что больше сюда его не командируют, что у него был соответственный разговор с Андреем Егоровичем.

– Не поеду я сюда на тот год.

– С кем же вы думаете работать, Андрей Егорыч?

– Всеволод Юрьич, прошу Вас самым точным образом определить мое дальнейшее направление на путях жизни. Мне невозможно по свободному, то есть как хочу, своей работой определиться. Сами должны понимать, какова моя природа, и из-за нее, если свободу дать, очень могут неприятности произойти. Поэтому уж вы решайте, к кому мне направиться, чтобы всё по формуляру произошло.

И Черкесов согласился.

– Понимаешь, Юрий, прав он. Драчка может быть. И я обещал ему посоветовать. Вот ты хотел бы его?

Я, конечно, хотел. Захочет ли он? Андрей Егорыч согласился, и мы с ним проездили месяцев пять в сезон 1931 года.



В любой, даже самой малой партии одним из самых досадных и непродуктивных занятий является хозяйство. Всё время, которое остается исследователю после неизбежных дел по устройству очеред-

ного лагеря, проезду от него к месту работы и назад, времени на сон и еду, оказывается абсолютно необходимым для самой работы, ради которой всё это затеяно. И его еще часто не хватает, этого времени. Бывает, что экономишь на сне, лишаешься вообще очень нужного хотя бы часа отдыха. И вот в такой обстановке появляется еще одна забота – хозяйство. И требует оно совсем не малого внимания: есть ли в достатке продукты, где прикупить их, как обстоит дело с вьючной веревкой, нет ли ссадин на спинах вьючных животных, как ноги у лошадей? Таких забот огромное количество, им вроде бы и конца нет. А денежная и материальная отчетность, всякие счета, расписки, их заверка! Всё это может занять половину времени исследователя. Кстати, чем дальше, тем требования в этом направлении растут, инструкции делаются строже – как будто именно ради отчетов, расписок и прочего хлама посылают нас в экспедиции в тундру и в тайгу, горы и пустыни!

Словом, хозяйственные и денежные дела могут стать кошмаром для исследователя, особенно если главный бухгалтер заранее уверен, что вы потенциальный вор и верить никому нельзя. А разве это редкость? – Спросите у полевых работников. И понятно, как важно хотя бы частично освободиться от всего этого.

Роль такого освободителя и нашего первого помощника длительное время играл старший при караване. Настоящие специалисты такого рода всегда были редкостью и были широко известны в соответствующих кругах. За мою геологическую жизнь, то есть не менее сорока лет, я имел дело только с двумя такими и знал еще о двух-трех. Вот Андрей Егорыч и был таким старшим.

К специалисту такого рода предъявлялись многие требования. Из главных были: абсолютная честность, уменье в любых условиях вести караван в своих районах, хорошо знать вьючных животных и уметь обходиться с ними, высокая организованность, хозяйский глаз, авторитет среди других рабочих каравана и – об этом не стоило говорить – любовь к такой работе. За этим главным следовало умение готовить, подковать в тайге или степи коня, шорничать, а в иных случаях проявить бесстрашие и уменье обращаться с оружием.

Нередко такому «караван-баши» по среднеазиатскому его названию, мы высылали вперед деньги и описание целей похода, количества требующихся животных и т. п. Так было, например, с далеко не столь высококвалифицированным старшим в Восточном Забайкалье в 1928 году. Тогда, приехав на станцию Оловянная около полудня, мы уже около пяти вечера стояли первым лагерем в степи, потому что всё было готово к выступлению заранее. Это был, вероятно, своеобразный рекорд за много лет работы Геологического комитета.

Во время самих работ, если старшой был настоящим, у него была и месячная казна, и ни я, ни мои помощники не вмешивались в жизнь каравана. А если вмешивались, то выходило примерно так:

– Андрей Егорович, у гнедой как будто один ремень оторваться может.

Это я говорю за едой, часа через полтора после того как мы прибыли на место. Расстановка палаток, приготовление еды и тому подобное должны были занять всё время Андрея Егоровича.

– Это у пряжки передней подпруги, Юрий Михайлович?

– Как будто да.

– Зашил я, как пришли.

Ну и пропадает охота следить за этими мелочами – вроде как не доверяешь человеку.

Мы с Андреем Егоровичем немало проходили по Улан-Бургасы в Западном Забайкалье, переходя от одной легкой партии к другой, а иной раз делая длинные проверочные маршруты. Бывали легкие, но бывали и тяжелые тропы. И ни разу ни малейшей вмятины под вьючными седлами!

Что это значит – поймет лишь ходивший такими путями.

И ни разу мне не пришлось проверять лошадь или посадку на ней вьюка. Ни разу.

Но в полевой работе была у Андрея Егорыча маленькая слабость, которую надо было терпеть. В конце каждого месяца он приходил ко мне после ужина. В руках была палочка с насечками – он собирался отчитываться в месячных тратах. Писать Андрей Егорыч почти не умел, читал, спотыкаясь на все четыре ноги, с трудом, по складам. Все хозяйственные записи делались в виде зарубок, на гладкой палочке. Итак, он входил, не спеша садился и говорил что-нибудь вроде следующего:

– Теперь самое время привести в ясность наши денежные предприятия. И записать вам всё необходимо.

И я послушно записывал, слушая его объяснения. Я пробовал уверить его, что я ему абсолютно верю и удовлетворюсь общей суммой трат и получением расписок, которые нужны будут для бухгалтерии. Но подобное мое поведение представлялось ему недопустимым, даже обидным. Продиктовать, не спеша, отчет за месяц и обсудить необходимое на следующий – было для него как бы общественным признанием важности его дела. И я подчинился: один из 30 вечеров был вечером Андрея Егоровича и хозяйственных планов.

Само собой понятно, что человек столь высокой квалификации хорошо понимал свое значение в работе и гордился им. Приведенный раньше разговор с Черкесовым ни о каком самомнении Андрея Егоровича не свидетельствует – это только констатация факта.



Я упоминал уже, что в иных обстоятельствах от старшого могло потребоваться и бесстрашие. Такой случай произошел с Андреем Егоровичем в 1931 году. Дело было так. Мы уже прорубили таежную дорогу, и связь балбагарской партии с внешним миром стала нормальной. Когда приходилось бывать в этой партии, Андрей Егорович выполнял роль такого связного с внешним миром. Случилось так, что нам к аммоналу были высланы динамитные капсюли, слишком слабые, чтобы совладать с этой взрывчаткой. С большим трудом добились мы нужных взрывателей. Андрей Егорович был послан за ними в Улан-Удэ. Заодно он должен был получить в банке довольно крупную сумму и привезти ее к нам. От города до партии было километров 150, где хорошей, а где и плохой дороги. На всякий случай я дал ему свой винчестер, пятизарядный автомат 401 калибра. Мы с ним очень ценили это короткое, посадистое и не очень сильного боя ружье.

В Улан-Удэ Андрея Егоровича задержали, выехал он поздно и не решился останавливаться на ночь у незнакомых. Так что ему до нашей привычной остановки в Унегетее надо было ехать и полночи. Уже стемнело, когда на одном из мостиков на его тройку бросились трое вооруженных. Двое спереди схватили коней, третий вскочил сзади на телегу. Андрей Егорович вскочил на ноги, понукнул лошадей и одной рукой поднял винчестер. Кони сшибли одного из нападавших, оттолкнули другого.

Андрей Егорович прикладом спихнул с телеги третьего и поскакал, стреляя назад. В ответ были крики и три или четыре выстрела. Все выстрелы, конечно, впустую.

Сам Андрей Егорович относился к этому происшествию как к досадной помехе, не больше.

Сейчас такие старшие перевелись, и давно уже. И дело вовсе не в том, что на место вьюка пришел автомобиль.

Не может он заменить верховую лошадь в таких местах, куда уходит на работу столько геологов. Дело совсем в ином. Такой высокой квалификации специалист был нужен только нам, «научным бродягам». Сколько-нибудь подходящей работы в деревне или в городе для него не было, разве что владел еще второй нужной специальностью. И получалось, что семья старшого жила на его экспедиционные заработки всю зиму. Это, и огромная польза от него в полевой работе, определяли высокую зарплату. В 20-х и начале 30-х годов он получал больше, чем геолог партии, мой помощник (конечно, кроме основного оклада у геолога были еще и суточные), и раза в три-четыре больше рядового рабочего каравана. Понять такую оплату не мог ни один финансовый работник, бухгалтерии всячески старались снизить ее. Мы сопротивлялись, доплачивали из своего кармана. И вот

где-то в 30-х годах старшие практически вывелись – работавшие раньше вышли из строя, а новых в создавшихся условиях нельзя было воспитать. Иногда и теперь слышишь о хорошем старшом, но когда встречаешь, оказывается он просто либо любителем дела, либо обычным старательным работником. Поэтому заботу о караване чаще всего берет на себя геолог, либо доверяет ее кому-нибудь из своих помощников. Поэтому на ходу приходится перевьючивать не одно животное, за неделю – дней десять – набиваются спины, а иной раз и гибнут кони самым нелепым образом. Я, например, знаю случай, когда тувинец, торопясь скорее возвратиться из поселка в лагерь, пропорол брюхо лошади торчащим суком. Подобного при хорошем караван-баши не может быть; как и почему – другое дело. Может быть, такого не пошлют, может, караван-баши добьется его немедленного увольнения, как только ясно станет, что это за работник. И получить хорошего работника всё трудней – при малых доходах колхозу невыгодно посылать в партию хороших коноводов.

Всё это говорилось о старшом вообще, и всё это относилось к Андрею Егоровичу. И как же он терял в своем облике, возвращаясь в Иркутск! Тот же подтянутый вид и путаные сентенции, но люди как будто стесняли его, делали рядовым и не слишком устроенным жителем города, далеко не всегда умеющим наладить свою жизнь.

Характерно, что обеспечивая семью зимой, он меньше всего полагался на город. Дрова из тайги, мясо из нее же (дикие козы, которых он заготавливал поздней осенью, как и многие из нас). А в городе были малые заработки, чаще всего подсобным рабочим в геологическом управлении (надо же сохранить такого работника на летний сезон).

В феврале 1932 года я покидал Иркутск. Ангара еще не встала, что даже для нее поздно. Андрей Егорыч пришел ко мне, как раньше к Черкесову – кому я передам его. Я уехал и после того не пришлось увидеться с ним. В 1934 году я списался с ним – предполагалась моя поездка в Западное Верхоянье, и мне очень хотелось, чтобы поехал Андрей Егорович. Он живо откликнулся, и я уже думал снова работать с ним в глухой, хорошей тайге. Он писал, что вывихнул левую руку и она никак не работает и не поправляется. И беспокоился, что будет в тягость. Я успокоил его, и без обеих рук он был бы незаменим.

Моя поездка сорвалась – И. М. Губкин не разрешил столь долгое отсутствие. Я предложил в замену Николая Павловича Хераскова. Уже зимой, вернувшись в Москву, он рассказывал о поездке и всё время возвращался к Андрею Егорычу:

– Где вы нашли его? Ничего подобного я не встречал еще! Если бы не он, ничего бы у нас не вышло. Рабочие не справлялись, и только он мог заставить их. И держал в порядке караван. Всю дорогу, пять

Я упоминал уже, что в иных обстоятельствах от старшего могло потребоваться и бесстрашие. Такой случай произошел с Андреем Егоровичем в 1931 году. Дело было так. Мы уже прорубили таежную дорогу, и связь балбагарской партии с внешним миром стала нормальной. Когда приходилось бывать в этой партии, Андрей Егорович выполнял роль такого связного с внешним миром. Случилось так, что нам к аммоналу были высланы динамитные капсюли, слишком слабые, чтобы совладать с этой взрывчаткой. С большим трудом добились мы нужных взрывателей. Андрей Егорович был послан за ними в Улан-Удэ. Заодно он должен был получить в банке довольно крупную сумму и привезти ее к нам. От города до партии было километров 150, где хорошей, а где и плохой дороги. На всякий случай я дал ему свой винчестер, пятизарядный автомат 401 калибра. Мы с ним очень ценили это короткое, посадистое и не очень сильного боя ружье.

В Улан-Удэ Андрея Егоровича задержали, выехал он поздно и не решился останавливаться на ночь у незнакомых. Так что ему до нашей привычной остановки в Унегетее надо было ехать и полночи. Уже стемнело, когда на одном из мостиков на его тройку бросились трое вооруженных. Двое спереди схватили коней, третий вскочил сзади на телегу. Андрей Егорович вскочил на ноги, понукнул лошадей и одной рукой поднял винчестер. Кони сшибли одного из нападавших, оттолкнули другого.

Андрей Егорович прикладом спихнул с телеги третьего и поскакал, стреляя назад. В ответ были крики и три или четыре выстрела. Все выстрелы, конечно, впустую.

Сам Андрей Егорович относился к этому происшествию как к досадной помехе, не больше.

Сейчас такие старшие перевелись, и давно уже. И дело вовсе не в том, что на место вьюка пришел автомобиль.

Не может он заменить верховую лошадь в таких местах, куда уходит на работу столько геологов. Дело совсем в ином. Такой высокой квалификации специалист был нужен только нам, «научным бродягам». Сколько-нибудь подходящей работы в деревне или в городе для него не было, разве что владел еще второй нужной специальностью. И получалось, что семья старшого жила на его экспедиционные заработки всю зиму. Это, и огромная польза от него в полевой работе, определяли высокую зарплату. В 20-х и начале 30-х годов он получал больше, чем геолог партии, мой помощник (конечно, кроме основного оклада у геолога были еще и суточные), и раза в три-четыре больше рядового рабочего каравана. Понять такую оплату не мог ни один финансовый работник, бухгалтерии всячески старались снизить ее. Мы сопротивлялись, доплачивали из своего кармана. И вот

где-то в 30-х годах старшие практически вывелись – работавшие раньше вышли из строя, а новых в создавшихся условиях нельзя было воспитать. Иногда и теперь слышишь о хорошем старшом, но когда встречаешь, оказывается он просто либо любителем дела, либо обычным старательным работником. Поэтому заботу о караване чаще всего берет на себя геолог, либо доверяет ее кому-нибудь из своих помощников. Поэтому на ходу приходится перевьючивать не одно животное, за неделю – дней десять – набиваются спины, а иной раз и гибнут кони самым нелепым образом. Я, например, знаю случай, когда тувинец, торопясь скорее возвратиться из поселка в лагерь, пропорол брюхо лошади торчащим суком. Подобного при хорошем караван-баши не может быть; как и почему – другое дело. Может быть, такого не пошлют, может, караван-баши добьется его немедленного увольнения, как только ясно станет, что это за работник. И получить хорошего работника всё трудней – при малых доходах колхозу невыгодно посылать в партию хороших коноводов.

Всё это говорилось о старшом вообще, и всё это относилось к Андрею Егоровичу. И как же он терял в своем облике, возвращаясь в Иркутск! Тот же подтянутый вид и путаные сентенции, но люди как будто стесняли его, делали рядовым и не слишком устроенным жителем города, далеко не всегда умеющим наладить свою жизнь.

Характерно, что обеспечивая семью зимой, он меньше всего полагался на город. Дрова из тайги, мясо из нее же (дикие козы, которых он заготавливал поздней осенью, как и многие из нас). А в городе были малые заработки, чаще всего подсобным рабочим в геологическом управлении (надо же сохранить такого работника на летний сезон).

В феврале 1932 года я покидал Иркутск. Ангара еще не встала, что даже для нее поздно. Андрей Егорыч пришел ко мне, как раньше к Черкесову – кому я передам его. Я уехал и после того не пришлось увидеться с ним. В 1934 году я списался с ним – предполагалась моя поездка в Западное Верхоянье, и мне очень хотелось, чтобы поехал Андрей Егорович. Он живо откликнулся, и я уже думал снова работать с ним в глухой, хорошей тайге. Он писал, что вывихнул левую руку и она никак не работает и не поправляется. И беспокоился, что будет в тягость. Я успокоил его, и без обеих рук он был бы незаменим.

Моя поездка сорвалась – И. М. Губкин не разрешил столь долгое отсутствие. Я предложил в замену Николая Павловича Хераскова. Уже зимой, вернувшись в Москву, он рассказывал о поездке и всё время возвращался к Андрею Егорычу:

– Где вы нашли его? Ничего подобного я не встречал еще! Если бы не он, ничего бы у нас не вышло. Рабочие не справлялись, и только он мог заставить их. И держал в порядке караван. Всю дорогу, пять

месяцев, лошади были целы и невредимы. Чудо какое-то, а не человек, ваш Андрей Егорыч!

Я и так знал – чудо! Но был один вопрос:

– А как с его рукой?

– Он ехать не хотел, боялся быть обузой. А там… Ведь одной правой, помогая коленом, даже зубами, он вьючил скорее и лучше, чем пара остальных рабочих.

Я еще раз написал Андрею Егоровичу, поблагодарил его. Больше я о нем ничего не знаю. Он заканчивал свою таежную деятельность: и годы брали свое, и рука не поправлялась. Вряд ли он мог в городе быть счастливым. Наверно, чувствовал себя не у места и сник. Трудно представить другое.

Всё вроде бы было хорошо в нашем житье в Иркутске. Но наступало тревожное время. Я-то не помню, лучше приведу отрывки из письма мамы папиному другу Борису Абрамовичу Петрушевскому. Письмо было передано мне после смерти Бориса Абрамовича.

> «Мы поженились очень рано – было обоим по 22 года. Как и всё наше поколение были марксистски, вернее энгельсовски, настроены: поистине «Происхождение семьи, частной собственности и государства» – вроде Евангелия; веровали, что для Человечества период моногамии должен окончиться. Любовь – свободная крылатая птица и брак ей не нужен. Таков был теоретический тезис, и 8 лет мы не переставали удивляться: почему не улетает эта птица? Почему она приняла форму семьи и брак? Году, эдак, на седьмом совместного житья, при двух дочерях (оба любили их), Юра сказал: «Ты знаешь, я понял ясно, что у нас самая обыкновенная семья». – «Неужели? – удивилась я – Не может быть!» – «Очевидно может!» – утверждающе ответил он. Но я не поверила: «Вероятно всё-таки временно и пройдет… Но мне не хотелось бы». Мы оба расхохотались.
>
> А уже наступали для нас времена глубокого кризиса. <…> 30-й год – один из самых страшных – сталинское раскулачивание крестьян и начало ликвидации интеллигенции. Через Иркутск проходили эшелоны раскулаченных. Один вагон загнали на запасные пути и забыли там. Через 2 дня вспомнили и нашли трупы. Все замерзли. Привезли трупы в анатомический театр Университета, анатомировать. По городу поползли слухи. Спохватились – убрали трупы.
>
> Тревожно было. В Университете обстановка была напряженной. Многие курсы ликвидировали: этнография

была признана не наукой, а «пережитком буржуазного мышления», фольклористика – «отживающей дребеденью». Профессор Азадовский – сибиревед и фольклорист, коренной иркутянин, поспешил уехать в Ленинград. О курсах мне нечего было и думать. Я поступила в Крайплан.

Мы держались тесным ленинградским кружком, а иркутская интеллигенция не торопилась сходиться с нами.

Я случайно встретила в Иркутске свою одноклассницу по гимназии – Ирину Попову, в замужестве Теплякову. Она приехала в Иркутск в качестве секретаря и переводчика при иностранном специалисте (были в 31-м году такие иностранцы, приглашенные в концессии). Она стала бывать у нас.

Я тяжело заболела, и мой отец в письмах уговорил меня поехать лечиться, достал мне путевку в санаторий (он был врач). Я могла спокойно поехать, оставив дочерей, потому что няня, приехавшая с нами из Ленинграда (последний образец Арины Родионовны) оставалась с ними. И Ирина Павловна уговаривала ехать, обещала помогать ей. Юрия не выпускали из Иркутска. Он метался, тосковал, писал мне грустные письма. Сообщил, что часто бывает Ирина и предложила давать ему уроки английского языка. Это отвлекает немного. «Что она за человек? – спрашивала я в письме. – Я ее плохо помню по гимназии».

– «Обыкновенная офицерская жена, малость покультурнее. Муж у нее был белый офицер и канул куда-то», – сообщил Юрий.

В Ленинграде, после тяжелой болезни и операции, умер мой отец. Остались сломленная горем мама и две старухи – сестры отца и сложное дачное хозяйство семьи – все на моих руках. Я не могла бросить маму. Мы решили, что лучше переправить дочерей с няней в Ленинград, а Юре постараться добиться перевода из Иркутска. Тянулись месяцы, Юрий писал, что от тоски и безделья спасают только занятия английским.

Ну, что ж, спасают, так спасают. Энгельсовский принцип об абсолютной свободе отношений дернул меня пойти в ЗАГС и взять бумажку о разводе. Тогда это было просто: не надо было согласия сторон, достаточно было одной стороне подать заявление. Подала, получила зелененькую бумажку и послала ему. Просто так, из принципиальной свободы. А он понял всерьез. Разлюбила. Занятия

> «по английскому языку» продолжались. Из Иркутска он рвался (там была очень трудная обстановка для работы), но перевод получил не в Питер, а в Москву. Ирина Павловна также поехала в Москву».

Что помню я? Появление Ирины Павловны помню смутно. Что-то чужое и чуждое: нарядное платье, крупные бусы, уложенные завитые волосы, накрашенные большие губы, духи. У нас это не водилось. На кафельной печке, на полочке-припечке у нее дома стоит много маленьких фарфоровых куколок в разных красивых костюмах. И их почему-то не разрешается трогать, даже взять в руки, посмотреть!

А насчет «малость покультурнее» – неправда. Она свободно читала и говорила на трех зыках, знала литературу и искусство не хуже моих родителей, но она не жила этим. Искусство, наука – шли как бы по поверхности, не «сквозь жар души, сквозь хлад ума», а как бы для салонных разговоров. Могла поговорить об иностранной литературе, об искусстве, говорила, что вроде бы любила прерафаэлитов, но по сути это ее не касалось. (Не зря после смерти отца все его книги, не только геологические, но, например, старые издания Гумилева – были немедленно проданы. И не из-за безденежья – всё имущество было завещано ей.)

Она всегда очень следила за своей внешностью, всегда была очень ухоженной и очень уверенной в себе. Уже в старости, показывая моей сестре фотографию тех времен, она убеждала ее, что была очень красивой. (А моя подруга Нера, увидев эту фотографию в книге об отце, спросила: «А это что за домработница?»)

Но что она очень женственна, женщина до мозга костей – не отнять. Маминой резкости и настойчивости нет и в помине. Словом, обычный любовный треугольник: Сигурд, Брингильда и Гудрун. Разрыв был неизбежен. О других это мама понимала. Она пишет в своем дневнике за 1974 год об Андрее Белом (его она считала своим учителем):

> «Работаю над статьей Nivat. И вдруг, неожиданно, поняла, почему Ася Тургенева не только ушла от Бориса Николаевича, но (что его оскорбило больше всего), ушла к такому «ничтожеству», как Кусиков. Не может ни один человек, имеющий собственную индивидуальность и желающий остаться самим собой, выдержать тесной близости с гением. Как реакция на чрезмерную сложность его – захотелось отдыха в плоскости примитива».

Так писала она о других. А о себе… Здесь, конечно, не идет речь о гении, но сила и напряженность творческого духа женщи-

ны, конечно, утомляют мужчину, тем более что он и сам творец. А ей нужно, чтобы каждый день был праздником Духа. Но ведь есть и рабочие будни.

Он действительно полюбил Ирину. И думал, что ее добивался. Через ревность американца, у которого она работала. Всё произошло, как произошло. Расстались дружески. Семью можно было сохранить, но о семье как таковой и не думалось. Отец впоследствии выдвинул формулу: «Я – отец, ты – мать, но мы не вместе родители». Но и «не вместе родителями» им пришлось быть мало: последующих два тура ГУЛАГа у каждого. Как же не хватало их обоих, а тут еще «не вместе»!

К 1932 году нас с сестрой с няней переправили к маме в Ленинград. Отец оставался в Иркутске, его не отпускали. Сейчас молодежь даже представить себе не может: как это – не отпускать! А тогда это было нормой.

В феврале 1932 года отец получил перевод в Москву, в Геологический комитет, к И. М. Губкину. Ему дали маленькую двухкомнатную квартирку: две комнатки по 11 м и кухонька, без горячей воды, без газа, без ванной – «на семью». Ирина Павловна приехала с ним. Зарегистрировались. Оба считали, что прошлое ушло безвозвратно. Но в больнице, в тюрьме, в лагере – всплывала юность. У мамы всегда. Но, кажется, и у него.

Глава 5

МОСКВА. СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Геолком тогда помещался на Котельнической набережной в перестроенном здании бывшей богадельни. Надстроили два этажа, над входом приделали фриз с буровиками – вот вам и Геолком. А из богадельневской конюшни, надстроив 2-й этаж, сделали жилой дом для геологов. По комнатке техническим работникам, секретарям и т. п. Две – профессору В. М. Крейтеру, две – профессору-буровику Б. И. Воздвиженскому, две – гидрогеологу Дроздову, две – Шейнманну.

В своей официальной автобиографии отец пишет:

«В разное время мои научные интересы менялись:

1929–1938 – региональная тектоника (Забайкалье, Средняя Азия, Китайская платформа), вопросы общей тектоники, объемы и границы тектонического цикла, условия появления несогласий, различия в тектонической истории крупнейших регионов Земли и разделение ее на атлантическую, тихоокеанскую и южную провинции».

Такая вот широта интересов. И активность. И хорошее знание нескольких иностранных языков. Он был ценным работником для И. М. Губкина – главного геологического начальства той поры. Работа в Главном Геологическом Управлении тогда была отнюдь не канцелярской – старые чиновники вымерли, а новые – еще не возродились. И властный и категоричный И. М. Губкин был геологом, а не чиновником.

Я уже говорила, что работа у Губкина отнюдь не была канцелярской. В феврале 1932 года Юрий Михайлович покинул Иркутск. А лето этого же года молодожены встретили в Средней Азии, в Таджикистане, в Гиссарском хребте. Отряд был причислен к Памиро-Таджикской экспедиции.

В его состав входили: Юрий Михайлович (начальник), Ирина Павловна и Дмитрий Дмитриевич Пенинский – молодой 22-летний коллектор, светлоглазый стеснительный парень – «Митка», как звали его рабочие. Он, единственный, имел опыт работы в Средней Азии. Работа предстояла трудная и даже опасная – в районе недавно активно действовали басмачи. Но всё-таки это было нечто вроде

свадебной поездки. И именно тогда пришла любовь к Средней Азии, сохранявшаяся всю жизнь.

В Душанбе (тогда Сталинабаде) получили оборудование, продукты, деньги. Надо было нанять рабочих, закупить коней и ишаков, собрать караван, приобрести хоть что-нибудь в обменный фонд, так как деньги в горах почти не имели хождения. Только после визита к наркому в Сталинабаде удалось получить две штуки цветастого ситца – самый желанный обменный фонд. Другой трудностью было получение наличных денег, необходимых для закупки лошадей (третья трудность). С этим тоже удалось справиться: «Митка» предложил обратиться в Госбракераж. В то время главная масса лошадей была в личной собственности, торговали ими на рынке и государственный бракер обязан был следить, чтобы пригодные для армии кони не попали в продажу в частные руки. Основным признаком был рост. Бракером был опытный лошадник. Он согласился отобрать пригодных для экспедиции коней ниже армейского роста, но надежных и выносливых. И при этом добавил: «Если вы попробуете мне за это преподнести хотя бы пачку папирос, я подам на вас в суд за попытку сунуть взятку. Поняли? А теперь рассказывайте о вашей работе». Он улыбнулся и стал виден влюбленный в коней хороший парень. Шесть лошадей он подобрал. Седьмую пришлось искать самим. Но вот лошади куплены, ишаки тоже, караван снаряжен и, измученные непривычной 30-градусной жарой, они выступают в горы.

С деньгами тоже уладилось, правда, с трудом – деньги в банке выдавали не сразу и с большими очередями. Юрий Михайлович и Ирина Павловна выезжают вдвоем к Янгибазару (тогда это был Орджоникидзе-абад). «Митка» ведет туда караван. Уже говорилось, что полевые работы были опасными: за год до этого через Пяндж переправились басмачи Ибрагим-бека, по численности их банда равнялась двум кавалерийским полкам и была вооружена английскими винтовками.

Сначала они действовали успешно, но вскоре Красная Армия их разбила, сам Ибагим-бек был схвачен, но его курбан-баши уцелел и остатки рассредоточенной банды басмачей ходили по округе. Встреча с ними могла плохо кончиться.

Но слово самому Юрию Михайловичу:

Из рассказа «Там, где были басмачи»

Мы вдвоем решили подняться немного по Варзобу, перевалить в долину и выйти по ней к Янгибазару. Путь не представлял ничего исключительного, хотя для нас, новичков, всё было интересно. В пер-

вую ночевку в маленьком кишлаке я отличился, и до сих пор мне вспоминают мое «глубокое знание» таджикского (вернее, в данном случае – узбекского) языка. Нам очень хотелось кислого молока, и я настойчиво просил у таджика «курсак» (живот), вместо «катык» (простокваша). Таджики смеялись, Ирина тоже, а я даже злиться начал. Вторая ночевка была уже в долине, в кишлаке, куда мы подъехали перед самым вечером. Нас приняли, как принимают на Востоке, и мы долго сидели за чаем в саду одного из домов. Слабое знание языка (о моем можно судить по истории с катыком) не мешало беседе. Угощали нас, угощали мы. Было уже давно темно, той особой южной темнотой, которую так мало ценят северяне. Смех, возгласы, хлопки руками оборвались с приходом двух стариков. Они сказали что-то, и наши хозяева засуетились. Потом заговорил один из стариков, немного говорящий по-русски:

– Товарищи, надо ходить. Один дом. Очень хороший. Надо.

Мы не могли понять, в чем дело, а он повторил:

– Очин харош. Надо.

Догадалась Ирина:

– Они хотят переселить нас. В чем дело – не понимаю. Послушай их.

Опять нам говорили, мы спрашивали. И стало ясно, что что-то случилось. Им видней, тем более что они явно извиняются и очень мирны. Мы согласились. Тут же были приведены кони, и нас повели – старик впереди – на другой конец кишлака. В новом доме приняли нас еще лучше, и старик долго сидел и говорил с нами. Потом простился и ушел. Мы усвоили только, что он заботился, чтобы нам было удобно и что – в этом мы были уверены – кто-то другой приехал затемно в кишлак.

– А ты знаешь, не басмач ли какой приехал?

– Спи. Наверное, ты права. Его приняли как начальника. А то, что нас отделили от него, хорошо. Значит, мы не должны знать о нем – и всё в порядке. Спать надо.

И мы легли спать. Утром, позавтракав, сели на лошадей. Прощались с нами только хозяева дома. Аксакалы были заняты гостем.

По мере нашего продвижения вниз по реке галечная пойма долины расширялась. Мы, не торопясь, двигались по левому берегу, но невысокой, с уже подсыхающей травой террасе. За два дня мы успели познакомиться с нашими конями (кстати, при их передаче бракер прямо указал, какого коня должен взять себе я, а какого Ирина). Сейчас, очень довольные, мы продолжали знакомство. Кони были прекрасные, о таких в наших условиях только мечтать можно. И чем дальше, тем более, до самого конца сезона, мы убеждались, как знал свое дело бракер. Неудачной была только лошадь, выбранная нами самими.

Через некоторое время обрыв нашей террасы подошел к крутому коренному склону – терраса кончилась. Надо было либо карабкаться по склону, либо перебраться на другую сторону. Мы выбрали второе. Терраса обрывалась двухметровым уступом к галечнику поймы. Этот обрывчик тянулся назад с километр, надо было объехать его. Я подъехал к самому уступу и, шутя, сказал:

– Смотри, я сейчас прыгну. – И дал легонько шенкеля. Конь чуть двинулся вперед, и я только успел крикнуть:

– Держи своего, держи!

Конь прыгнул вниз сразу. Думать было некогда – только бы не сломать ему спину приземляясь.

Встряска. Ноги спружинили, и я не плюхнулся в седло. Лошадь немного подогнула колени, но тут же встала, на чуть дрожащих ногах.

Летя вниз, я оглянулся: надо мной справа был конь Ирины, тоже в воздухе. Через секунду после моего он коснулся гальки, упал на колени и тут же встал.

Писать об этом долго, на деле всё закончилось в две-три секунды, и мы оба могли вздохнуть, Ирина и я. Испугаться было некогда. Страх пришел только теперь, но за лошадей. Мы слезли. Оба коня были спокойны и чуть помахивали хвостами.

Подобных историй мы больше не допускали. <…> Для меня перестали казаться выдумкой прыжки конницы Тараса Бульбы. Сами поймете, какими стали после этого случая наши отношения к коням.

Перебравшись через речку, мы поехали по берегу. Вскоре показался кишлак, и унылые желтоватые склоны сменились зеленью садов. Почти у въезда в кишлак стояла чайхана. Мы давно проголодались и направились к прикрытым воротам. Соскочив с вороного, я отдал повод Ирине и открыл ворота. Она въехала следом. Двор был пуст, и его светлая лессовая окраска почти резала глаза на ярком солнце. Слева была терраса с крышей на резных деревянных столбиках. На террасе сидели человек шесть-семь за кок-чаем. Их неспешные движения не изменились с нашим появлением. Только один посмотрел на нас, а я уставился на стоявшие рядом с ними пирамидкой винтовки. Нет, не трехлинейки, в этом я уверился сразу; английские Ли-Энфилд.

– Ты чего хотел, друг?

– Жарко, чай надо. (И назад: Ирина, быстро за ворота.)

– Тут совсем близко хороший чой-хона есть. Здесь ни хорошо. Ни надо.

Всё было слишком ясно. Я что-то ответил, выскочил за ворота и захлопнул их. Вскочил на коня, и мы поскакали. Неслись все четыре километра до следующего кишлака. И оглядывались – вдруг они передумают там.

Но они не передумали. Уже на рысях мы подъехали к чайхане. Так, в приподнятом настроении (приключение всё-таки!) мы поели и двинулись дальше к Янгибазару...

Дорога к Янгибазару шла всё время вниз по речке и не запомнилась – слишком много впечатлений было за день. Дмитрий Дмитриевич ждал нас, и мы обрадовались, когда снова были все вместе. Обрадовались и остальные наши спутники – старший Кадыр и Смаил. Всё было в порядке. Во дворе стояли семь лошадей и шесть ослов, для перехода были налажены вьюки. Назавтра можно было идти вверх по Кафирнигануи дальше на Сарда-и-Миона, влекущую уж одним своим названием...

Дальнейшие полевые работы обошлись без встреч с басмачами.

Правда, перед выездом на полевые работы была еще встреча с уполномоченным НКВД, который сказал, что работать они смогут, басмачи разбиты, но небольшие группки их еще скрываются в горах.

Надо, чтобы для местного населения геологи выглядели нейтральными лицами, поэтому если есть оружие – его надо спрятать и контактов с уполномоченным и красноармейцами на людях не поддерживать. Юрий Михайлович это и сам знал – три года назад погибли несколько человек из Памирской экспедиции только из-за того, что имели оружие на виду.

Работа захватила. Места были изумительно красивы, геология интересна. Басмачи несколько раз, видимо, проезжали мимо, но себя не обнаруживали. Было только еще одно приключение, в конце сезона – оставался неизученным небольшой кусок: часть плато и котловина с кишлаком Джур-Йос, о котором шла дурная слава, что он, отрезанный от мира высокими горами, является зимним гнездом басмачей. Кишлак стоял в котловине, к нему подходили только две тропы – с юго-востока и с юго-запада. Остальные горы непроходимы. Видимо, из-за опасности. Юрий Михайлович поехал один, Ирина Павловна осталась с караваном, перекочевавшим в соседнюю долину, да Дмитрий Дмитриевич мог обследовать часть плато, в то время как Юрий Михайлович изучит строение котловины.

Геология этого участка оказалась интереснейшей. Но вокруг были высокие непроходимые горы, и только две тропы спускались в нее, к кишлаку, Работы было на три дня. Ночевал, как всегда в Средней Азии, в местной мечети, на террасе. Утром, проснувшись, обнаружил, что по тропе в кишлак спускается большая группа вооруженных людей в халатах. Спастись некуда: вторая тропа тоже вся на виду.

Испугался порядком. Но когда всадники подъехали – оказалось, что это красноармейцы во главе с уполномоченным НКВД, прочесывающие подозрительный район. А в халаты они переоделись потому, что в горах холодно, а в шинелях и холодно и неудобно. Так что опасное приключение оказалось просто забавным эпизодом.

А Средняя Азия прочно вошла в жизнь. Относительно невысокие, до 4400 м, горы Гиссара, долины рек, широкие с террасами по обоим берегам в нижнем течении и ущелья с бешеными потоками в горах, солнце и ярко-синее небо, редкие горные кишлаки и таджики, свято чтущие законы гостеприимства, – всё стало своим, близким. Когда мы с сестрой в 1937 году попали в Москву, к отцу – мы застали цветное сюзанне на тахте, полосатые желто-белые халаты из натурального неокрашенного шелка (цветные за счет разной окраски коконов), медный кумган, пиалы, скрепленные маленькими кусочками меди – так умеют чинить разбитую посуду только в Средней Азии, и очень заинтересовавший меня лук-пращу: у него две тетивы с кусочком кожи между ними – клади камень и стреляй куропаток. Еще были сухие одеревеневшие выдолбленные маленькие тыквы-табакерки с нацарапанным иглой примитивным рисунком (одна живет у меня до сих пор). И масса любительских фотографий. И любовь к кок-чаю. На праздник отец устроил дастархан: надел халат и тюбетейку, расстелил на полу, на ковре скатерть, поставил пиалы и блюда с восточными сладостями. Словом, Восток стал своим. Ирина Павловна больше в поле не ездила.

А потом был Синьцзян. Об этой экспедиции есть подробные записки отца – воспоминания и очерки, так что мне здесь делать нечего.

Глава 6

В СИНЬЦЗЯНЕ

Начало экспедиции

Осенью 1934 года Дмитрий Ефимович Перкин, заместитель директора Института минерального сырья подошел ко мне в здании Главного Геологического Управления.

– Вы не откажетесь проехать со мной в машине до Института? Хотелось бы поговорить.

Зачем ему надо говорить в машине, а не тут, в комнате? Интересно.

Но у меня нашлось дело в ВИМСе, а Перкин был человек интересный и удачливый*.

Мы поехали, и он начал:

– Дело в следующем. Я получил согласие Ивана Михайловича (Губкина) на реорганизацию монгольской экспедиции. Что вы думаете об этом?

– А зачем вы задаете мне этот вопрос?

– Тогда прямо в лоб. Хотите принять участие в экспедиции? Не только на месте, но и в обдумывании ее?

– Дмитрий Ефимович, вопрос излишен. Кто из нас откажется от такой перспективы? А я – вы знаете прекрасно – и поэтому обратились ко мне – давно интересовался Монголией. Только... Можно тоже прямо? Так вот, вы знаете Иванова Евгения Васильевича, ученика и помощника по работам в Средней Азии Мушкетова?

– Знаю, но не знаком. А почему о нём?

– Он давно лелеет мечту о посылке большой группы геологов для изучения Восточного Туркестана. Ну, экспедиция особого назначения при Главникельолове. Они ведь работают на нашей стороне границы широким фронтом и готовы в любой момент начать работы с той стороны, продолжая свои участки. Подумайте, насколько интересно было бы использовать эту идею. Страна ведь сказочная. Я бы на вашем месте о ней подумал и Иванова привлек.

Перкин замолчал и дальше разговор шел о всякой повседневности. Недели через две он зашел ко мне в Управление.

---

* Позже он погиб в ежовской тюрьме – покончил с собой. – *Г. Г.*

– Юрий Михайлович, я подумал, что восток Средней Азии изумительно интересен геологически. Еще интереснее Монголии. Как по-вашему?

– Мои мысли вам известны.

– Так вот, хотите ехать, если туда будет послана экспедиция?

– И это вам известно, Дмитрий Ефимович.

– Разрешение на переход для вас Губкин даст. С Серго* я уже говорил. Он идею одобрил.

Очень скоро идея начала обрастать мясом. Дмитрий Ефимович был исключительным организатором. Был еще разговор – кем я хочу ехать. Перкину явно хотелось, чтобы его заместителем по научной части. Я этого не хотел – и по характеру работы и по тому, что считал необходимым привлечь Евгения Васильевича Иванова.

Для себя хотелось не «взгляда и нечто», а прямого исследования. Поэтому попросил себе одну из партий. Перкин согласился с этим, но явно не хотел видеть в экспедиции Иванова.

Скоро стал выясняться контур плана работ, подбирались кадры, в большинстве новые люди. Появился и план моей партии – северная окраина китайского Тянь-Шаня, примерно на середине между границей и Урумчи, с базой в городе Шихо. Я предложил маршрут на Юлдусы, чтобы получить сведения о геологии внутренней части гор.

Позднее была долгая беседа с Владимиром Афанасьевичем Обручевым, прошедшим в молодости вдоль подножия Тянь-Шаня в этих местах. О возможностях работы мы говорили много, кое-что он предложил добавочно и очень одобрил маршрут. Говорил и о желательности пересечения: «хотя бы до Юлдусов». После этой беседы план был утвержден. Его окончательное утверждение и утверждение нас, исполнителей, взял на себя тов. Серго.

Потом были хлопоты, много хлопот. Отъезд. Я выезжал немного позже остальных, один. Вернее, вдвоем с шестимесячным Номи, белой лайкой. Он оказался в дальнейшем хорошим спутником, начал помогать в охоте, особенно по фазанам, и взрослым вернулся со мной в Москву.

Граница. Бахты. Маленький поселок в степи. Здесь я задержался еще на двое суток. Наконец прибыла машина, исполнены последние формальности, и среди дня шофер, Номи и я выехали на полуторатонке к границе. Часа через полтора мы были в Чугучаке.

Уже смеркалось, и я, оставив на постоялом дворе шофера и Номи, пошел искать консула.

Для меня, никак не привыкшего к подобным обстоятельствам, разговор был странен и интересен: дружить с баями, купцами, чи-

* Орджоникидзе все подчиненные так и называли, партийной кличкой.

новниками, снять не торгуясь самое лучшее помещение – всё равно, нужно ли нам такое или нет. На мой вопрос:

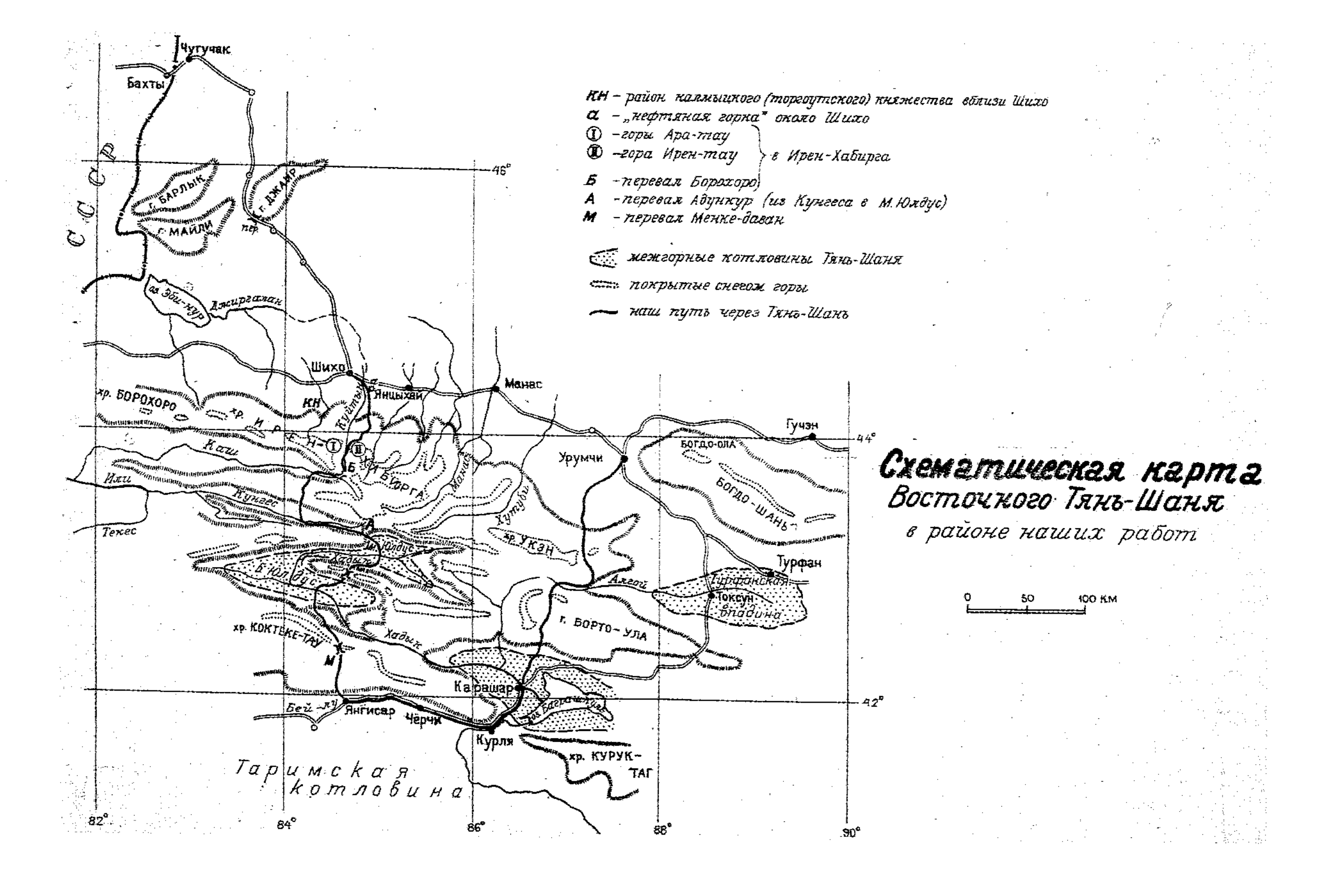
– А как же быть с беднотой? – спокойный ответ:

– Дружите, если хотите, но не показывайте этого.

Утром, раздобыв немного денег в банке на мелкие расходы, я пошел на рынок. Китайцы есть, казахи есть, есть и пока еще незнакомые мне дунганы. Но основной тон от русских. Несмотря на китайские лавки, вывески, на китайские постройки, жизнь города определена русским говором, русскими типами и домами. Остальное – такой же фон, как наличие татар на нижней Оке, армян под Ростовом-на-Дону и т. д. Это не мешает Ростову и приокским местам быть русскими. Так и здесь. Чугучак только наполовину Азия. Пожалуй, даже меньше, чем многие наши города, хотя в последних гораздо больше русских. Я ходил по магазинам и лавкам базара. Товары не наши, больше китайские, а с ними на лотках наши папиросы. И незаметно я попал во что-то неосознанное, но страшно знакомое, чуть ли не родное. Почему-то вспомнилось детство. И не так, как обычно вспоминаешь что-либо. Вспомнилось, как вспоминается жарким летом что-либо из давно прошедших лет. В воспоминаниях участвовали и обоняние, и вкус, и слух, и ощущение тепла от солнца и воздуха, и зрение, и просто память. Так было в то утро в Чугучаке.

Понять я смог только через несколько часов. Это была русская дореволюционная провинция. Будто ничего в ней не изменилось, вернее, казалось, что не изменилось. Встал живым быт, который я видел лет десяти-двенадцати. Тот же язык. Мы ведь не замечаем, сколько новых слов и оборотов появилось в нашем разговорном языке и сколько старых вымерло. И вдруг новое исчезло, а старое проявилось. Будто и не было революции и многих лет после нее. И интересы чугучакцев соответствовали языку. Работы как призвания не стало. Главное – заработок, прибыль и как тратить деньги. То, что у нас отпало или глубоко скрыто – здесь было открытым, даже почетным. Спекуляция, мелкий обман – лезли отовсюду. Отсутствие грамотных – я лучше увидел это позже – но и сейчас чувствовалось в толпе. И над всем этим, с виду незаметное, но на самом деле важное, отсутствие перспективы в жизни, развития ее. Чувствовалась не простая уверенность, что человек будет жить всегда именно так, как живет сейчас (разве что повезет и появятся деньги), что не будет у него иных интересов, кроме интересов сегодняшнего дня, чувствовалось большее – ничего другого и быть не может, существующий уклад является каким-то абсолютом.

И это настолько поражало, что вся экзотика глухой Азии воспринималась только внешне. Странным был и людской набор в городе:



Схематическая карта
Восточного Тянь-Шаня
в районе наших работ
КН – район калмыцкого (торгоутского) княжества вблизи Шихо
а – „нефтяная горка" около Шихо
I – горы Ара-тау
II – гора Ирен-тау
} в Ирен-Хабирга
Б – перевал Борохоро
А – перевал Адункур (из Кунгеса в М. Юлдус)
М – перевал Менке-даван
межгорные котловины Тянь-Шаня
покрытые снегом горы
наш путь через Тянь-Шань
0
50
100 КМ
Чугучак
Бахты
С С С Р
г. БАРЛЫК
г. ДЖАИР
г. МАЙЛИ
пер.
оз. Эби-нур
Джиргалан
Шихо
Янцыхай
Манас
хр. БОРОХОРО
хр. И Р Е Н
КН
Куйтун
Б
ХАБИРГА
Каш
Или
Кунгес
Текес
Манас
Хутуби
хр. Укан
М. Юлдус
Б. Юлдус
хр. КОКТЕКЕ-ТАУ
М
Хадык
Урумчи
Гучэн
БОГДО-ОЛА
БОГДО-ШАНЬ
Турфан
Турфанская впадина
Токсун
Алгой
г. ВОРТО-УЛА
Карашар
оз. Баграш-куль
Бей-лу
Янгисар
Чёрчк
Курля
хр. КУРУК-ТАГ
Таримская котловина
46°
44°
42°
82°
84°
86°
88°
90°

китайцы-мещане и мелкие купцы, русские – больше люмпен-пролетарии (по-простому – босяки) и дремучие мещане.

Из Чугучака мы тронулись утром. Сразу выпал из памяти этот нелепый город, в котором то ли экзотика, то ли старье. Еще с полчаса думал о нем. Потом степь совсем охватила нас, и она была для меня новой. На мокрых местах была еще зеленая трава. Широкие покати, за ними причудливые формы маленьких гор. Я понимал, что это от безводья. Но формы были странными, незакономерными, и невольно я снова и снова оборачивался к ним. Наша полуторка легко бежала по укатанному следу.

Дорогу никто не делал, и составляющие ее следы то сгруживались в довольно узкую полосу, то разбегались по степи метров на сто. Номка положил передние лапы мне на колени, глядел, стоя между моими ногами, в окно кабины. Скоро стало жарко. Степь пошла волнами и пожелтела.

Мы медленно поднимались к Джаиру. Потом дорога вошла в неглубокую теснину со скалами по бокам. По ней мы перевалили через этот хребтик и стали спускаться в равнину Джунгарских ворот. Названия станций, встреченных по дороге, забылись, да и неинтересны эти станции.

Обрывистые пустынные формы Джаира сразу перешли в равнину, поросшую чием, а пониже осокой. И тот и другая растут пучками, как будто на кочках. С ними появился разнолистый тополь, образующий целые леса. Но воды нет. Дорога идет по буграм, врезана в землю. Машину раскачивает, ход резко сбавлен, а Номка то и дело стукается головой о стенки. Единичные станции на этом участке предельно бедны. Кроме ячменной лепешки на них достать было нечего.

Главная смена ландшафта не в этих мелочах. В конце спуска с Джаира, когда дорога вышла из лощины, неожиданно открылась широкая равнина «дороги народов». И тополевые леса, и луга, и болотистые участки не покрывали ее целиком. Широкая, то орошаемая, то сухая, она уходила на запад и на восток за пределы видимости. Мы в яви видели дорогу, которая представлялась мне при звуках музыки. Здесь шли когда-то гунны и все кто пришли за ними позже. Это дорога монгол. От такого сознания всё приобретало особый смысл. А за равниной, после сливающихся в единую полоску покатей и предгорий, сплошной темно-серой стеной стоял Ирен-Хабирга. С трудом можно было различить пару крупных, сбегающих с него долин. Отдельные кряжи сливались один с другим, и казалось, что стоит монолитная, сразу от степи вознесенная стена. На хребте не было особо выдающихся вершин. Почти вдоль всего хребта тянулись сплошные зубцы, то сбивающиеся в цепь, то отдельные. Они были очень далеко, вероятно

не менее 150 км, и всё-таки производили много большее впечатление, чем Большой Кавказ с севера. Это была действительно стена, о проходе через которую, казалось, нечего было и думать. Она ждала нас, и где-то в ее пределах мы должны были ходить и работать. Я искал приметы, какие-то указания – где? Это не удавалось.

Снизу, со дна Джунгарской долины, Ирен-Хабирга виден не всегда и частями. Но он постепенно приближался и как бы расслаивался на более мелкие единицы. Стали видны отдельные вершины и кряжи предгорий.

На покати пьедестала стали видны отдельные пятна оазисов. Машину по-прежнему бросало на буграх. Потом кончился лесок, и мы поехали по сухой степи.

Незадолго до заката мы подъезжали к городу Шихо. Дорога полого поднималась к предгорьям. В город въехали сразу. Сразу обступили лавки и глинобитные стены, обрамлявшие узкие улицы. Из-за дувалов поднимались огромные пирамидальные тополя. Мы ехали по такой улице в надежде, что встретим человека, понимающего по-русски, чтобы расспросить, где искать наших. Неожиданно натолкнулись на всех четверых: Михаила Павловича Ложечкина, Алексея Васильевича Богданова, Василия Васильевича Когтева и Громова. Они атаковали машину, а через пару минут мы въехали в большой двор двухэтажного дома. Все комнаты второго этажа первого двора и по фасаду, а также сам двор со складами были сняты нашей партией. Конечно, это было излишне, но как же иначе было выполнить инструкцию консула. Помещение принадлежало самому богатому купцу города, и было снято не торгуясь.

В Шихо в то время было, вероятно, тысяч 5–10 жителей. Городок был совершенно непривычного для нас типа. С одного его края помещался «центр» – квадратное глинобитное укрепление. Внутри него располагалась резиденция «господина уездного начальника», его канцелярия и казарма его личной охраны, сколько ему полагалось по чину. В остальном – площадь укрепления была совершенно пуста, без зелени и более чем уныла.

Самый город состоял из двух улиц. Одна протянулась примерно с севера на юг, затем сворачивала на запад, сливаясь с дорогой на Кульджу. Другая, примерно перпендикулярная первой, шла, в общем, на восток. Обе, в большей своей части, были застроены сплошь и также почти сплошь в мелких лавках, уйгурских и китайских. Специализация в торговле была невысокой, и многие «предприятия» были своеобразными ГУМами. Всё это походило, в какой-то степени, на нашу Среднюю Азию, но было далеко не столь красочным, а крик, говор, жесты были и вовсе чужими.



В восточной части города был большой двор и жилье, принадлежавшие Совсиньторгу. Его представитель Самойлов был единственным, кроме нас, советским человеком в городе. У него мы бывали часто, много беседовали и еще больше слушали патефон, снабженный едва ли десятком пластинок. Другой музыки не было, и до сих пор «Карамболина» и «Ты смотри никому не рассказывай» – сразу возвращают меня в Шихо.

Через город круглый год шли машины Совсиньторга и местных купцов, наши ЗИСы. У любого лавочника или лотошника были наши «Северная Пальмира», «Казбек», крупчатка, ткани и т. п. В Бахты везли шерсть, кожи. Привелось видеть гурт наших рамбулье, которых гнали в Синьцзян на улучшение местной породы овец.

На примере купеческой семьи, в доме которой мы остановились, было видно, как местное купечество приспособилось к новым условиям. Семья состояла из трех братьев, ведших общее дело. Об их влиянии можно судить по тому, что позже, когда мы уже работали в поле, по всему уезду мы встречались со стереотипным ответом:

– Это чьи бараны (лошади, рогатый скот)?

– Это больших баев таких-то.

Или:

– Земля твоя?

– Нет, я плачу за нее хозяевам, баям таким-то.

И всегда только одна фамилия – наших хозяев. А если она не называлась, то оказывалось, что хозяин скота или земли находится в зависимости от этих же баев. Конечно, были и мелкие, и даже относительно крупные владельцы скота и земли, но мнимая самостоятельность не освобождала от подчинения всё тем же трем братьям – реализация товарной части продукции их хозяйства и покупка необходимых товаров могли производиться только через наших хозяев.

Всё это не бросалось в глаза в первые дни, но по мере нашего вживания в район становилось всё более ясным, и роль наших хозяев в жизни уезда возрастала в нашем представлении. Она практически ограничивалась только границами уезда (вероятно, результат соглашения с баями соседних уездов).

О влиянии трех братьев на жизнь уезда говорит такой случай. Перед началом полевых работ нам с Ложечкиным пришлось обратиться за разрешением (то ли на покупку лошадей, то ли на наем рабочих) к уездному начальнику. Мы были приняты солидно, даже несколько чопорно. Поговорили, как требует политес, о посторонних предметах, выпили по чашечке чая, затем изложили основную просьбу. Ответ на пустяковую, в сущности, просьбу был неожидан – уездный начальник попросил нас подождать денек-другой, пока он обдумает,

что может сделать. Разрешение мы, конечно, получили, но стороной узнали, что начальник предварительно справился у трех братьев, можно ли, по их мнению, дать разрешение.

Главной специализацией этого торгового дома была оптовая торговля, хотя братья имели и сравнительно большой магазин. Здесь преимущественно торговали на экспорт. По местным понятиям особенно большое почтение можно было проявить, перейдя в подданство той страны, с которой велась торговля. Старший брат, возглавлявший дело, был китайским подданным. Второй ведал всеми делами по вывозу в СССР и покупке у нас товаров. Соответственно он был подданным СССР, а младший перешел в индийское подданство. Не знаю, как с Индией, но наше подданство было достаточно своеобразным – о въезде к нам этот гражданин СССР мог хлопотать сколь угодно долго и, как правило, безуспешно. А если бы ему дали разрешение, он попал бы в руки «Интуриста». Но всё-таки, будучи подданным СССР, он делал этим особую любезность представителям Совсиньторга.

Мы постепенно подбирали персонал партии. Едва ли не первым появился казах-переводчик, знавший китайский и русский языки. Имя его забылось. Он был послан к нам самим уездным начальником, и его кандидатура обсуждению не подлежала. Работу переводчика он должен был совмещать с «адъютантством» при мне и, конечно же, с соглядатайством. Но последнюю функцию он выполнял не слишком рьяно. Очень скоро он стал хорошим и верным работником, тем более что от правительства он не видел практически ничего хорошего, а у нас ему было хорошо и выгодно. Через некоторое время он обратился ко мне с вопросом:

– Начальник, скажи, что я должен писать господину начальнику уезда? Он велел, чтобы ему всё было рассказано, но ты лучше знаешь, что ему написать надо.

Кроме него мы наняли одного пожилого казаха и двух русских парней (по совету консула). Один худощавый, бледный, другой весь в веснушках, круглолицый. Оба отслужили в солдатах, оба были совершенно неграмотны и застыли в своем развитии на уровне молодых мещан какого-нибудь Яранска или Сарапула 1910–1912 годов. На нас глядели то ли с некоторым подозрением, то ли с почтением, то ли с угодливостью. Первое время всего хватало. Прежде всего мы были начальство, вроде благородий, во всяком случае – господа. Это было для наших ребят несомненно – недаром нас так величали в выданных нам китайских паспортах (огромный лист бумаги с двумя колонками текста, слева по-китайски, справа по-уйгурски). Так, в моем паспорте значилось, что полковник Сюнемана (или что-то созвучнее этому) направляется китайским правительством для научных изысканий,



что ему необходимо всячески помогать и благоприятствовать и что в подтверждение сказанного ему дан пистолет (у меня был выданный в Москве браунинг). Иметь чин ниже полковника мне было невозможно, потому что я стоял во главе самостоятельного отряда. Таким образом, в глазах наших двух русских мы были несомненными господами. В то же время мы были из СССР, значит товарищи, конечно, к тому же безбожники и коммунисты. Следовательно, страшноваты, и следовательно, к нам как-то тянуло.

Подозреваю, что купленные нами лошади принадлежали всё тем же трем братьям. После их покупки мы смогли начать первые маршруты в горах и предгорьях.

Посетили мы местные нефтяные разработки. Месторождение было приурочено к куполу, разбитому трещинами. Нефть сочилась каплями со стенок штолен и вместе с водой стекала по канавке либо наружу, либо в зумпф в самой штольне. Там ее собирали черпаками и отвозили на местный керосиновый завод. Это предприятие хорошо иллюстрирует экономику тогдашнего Синьцзяна. Оно было высоко рентабельным и поставляло в год до трехсот ведер керосина. Во главе завода стоял какой-то чиновник из маньчжур – их было много, бежавших из Маньчжурии после ее оккупации японцами.

В те годы Синьцзян был очень далек от Восточного Китая. Еще не существовало самолетов, которые могли бы покрыть расстояние от Бейпина (Пекина) без промежуточных аэродромов. Не было ничего похожего на автомобильную дорогу. Только караваны верблюдов, не спеша, доставляли сюда кое-какие товары – шелка китайских фабрик, консервированные ярко-красные или изумрудные водоросли, индийские парчовые шелка, манильские сигары и т. п. Шел такой караван около трех месяцев. Поэтому, когда центральному правительству Китая потребовалось послать в Урумчи своего эмиссара, тот для скорости ехал через Владивосток – Новосибирск – Бахты, выгадав не меньше двух месяцев в каждый конец.

Синьцзян тех лет был на положении нашей дореволюционной Якутии. И дубань (генерал-губернатор провинции) мог себе позволить делать то, что считал нужным, не оглядываясь на Нанкин. Он с охотой принимал помощь СССР. Больше того, во время дунганского восстания 1932–33 годов, когда талантливый молодой маньчжурский генерал Ма-Чжу-Ин возглавил восстание и наносил сокрушающие удары провинциальным войскам, правительство Синьцзяна смогло опереться только на два казачьих (белых) полка с русскими офицерами и генерал-майором во главе. Они стойко выдерживали удар, но против многочисленного противника не могли устоять. Тогда Синьцзян попросил о помощи СССР. Кавалерия и легкие танки сра-

жались с войсками Ма бок о бок с белыми полками (это едва ли не единственный случай в истории нашей революции).

После поражения Ма перешел границу и был вместе с остатками своего войска интернирован в Иркештаме. Говорят, он позднее жил в Новосибирске и проходил курс нашей Академии, уже третьей после японской и германской.

Такие действия китайской провинции в гоминдановском Китае лучше любого описания говорят о степени ее связи с центром страны.

Экономика была более чем своеобразной. Ланы – только в виде кредиток по 50 лан – стремительно теряли всякую ценность. За такую бумажку можно было купить всего лишь коробок спичек. При наездах в Урумчи, выходя за покупками в магазин, надо было брать с собою рюкзак денег. Объем покупок был в три-четыре раза меньшим.

Наши первые маршруты всей партией, чтобы сработаться и выработать общие подходы, показали, что прямого прохода через хребет нет. Предполагалось, что позже Ложечкин с Когтевым и Громовым останутся работать в пределах северного склона, а Богданов и я, перевалив хребет, пойдем на Юлдусы. Впоследствии оттуда мы прошли дальше на юг и в результате сделали полное геологическое (и топографическое) пересечение Тянь-Шаня в очень слабо изученной части и второе – по меридиану Баграш-куль – Урумчи.

В следующих отрывках я коснусь всего пути, но не в виде сплошного описания, а по отдельным участкам, чтобы не занимать слишком много места малоинтересными буднями нашего продвижения.

Наш путь от Шихо вел через Ирен-Хабиргу, мимо Ирен-тау («Ирен-Хабирга»), к верховьям Каша, потом некоторое расстояние вниз по нему («Каш») и через невысокий хребет на Кунгас, оттуда вверх по его долине и через легкий перевал Адункур на Юлдусы («Юлдусы»). С Большого Юлдуса на юг, через Менке-даван к городу Янгисар («От Юлдуса к Янгисару»), («Янгисар»). После короткого отдыха там мы пошли по Бей-лу (северной дороге) на восток, через деревушку Черчи («Черчи») и город Курля («Директор из Курли») и, снова повернув, на этот раз на север, через городок Карашар на реке Алгой. Затем пересекли самую западную оконечность Турфанской котловины и, через горы, вышли в Урумчи («Карашар»). Здесь и закончился наш с Богдановым большой маршрут. На автомобиле мы перебрались в Шихо. Была уже осень. Отряд Михаила Павловича Ложечкина закончил работу в горах, и, соединившись, мы занялись предгорьями с их юрского и мелового возраста породами, углем, признаками нефти, и, когда морозы уже установились, мы еще промывали на переносном устройстве пески стекавших с гор речек, проверяя их на золото.

В конце ноября, совсем зимой, партия тронулась в обратный путь. Последняя остановка в Чугучаке, и утром мы приветствовали на границе красноармейца, а через полчаса здоровались с таможенниками. Документы об уплате пошлины, оформленные еще в Урумчи, в нашем Генконсульстве, очень сократили процедуру. Нам буквально не давали открывать чемоданы. Вот и крохотная гостиница в Бахтах. Здесь надо было пожить, поскольку дорога заметена метелями и еще не прошли отары овец, которым полагалось умять ее. Кстати это средство почти идеальное – тысячи твердых копытец делают дорогу плотной и проезжей скорее, чем одинокая машина. На третий день мы двинулись к железной дороге. Остальное – уже неинтересно.

В ВОСТОЧНОМ ТЯНЬ-ШАНЕ
(путевые очерки)

1. Я «покупаю» человека

В период наших первых поездок в окрестностях Шихо выяснилось, что совершенно необходимо иметь среди рабочих монгола, хоть немного говорящего по-казахски или по-уйгурски. В районе, в котором должен был работать Михаил Павлович Ложечкин, такой человек был крайне полезен. Несколько юго-западнее Шихо находилось небольшое монгольское (торгоутское) княжество. Оно охватывало участок хребта и северной своей границей выходило к его подножию. Глава этого вассального по отношению к Китаю государства вовсе не бывал здесь. Большую часть года он проживал в Пекине, остальное время в Париже. Управлял княжеством его премьер-министр. Узнав о нашем прибытии, он издал приказ, запрещающий монголам работать с нами или помогать нам. Такое отношение к русским у здешних монголов обычно. Это память о том времени, когда калмыки возненавидели русских за притеснения и ушли из астраханских степей назад на восток. В пути, где-то в районе Семиречья, большая часть калмыков погибла, остатки дошли до центральной части Восточного Тянь-Шаня и там осели.

Из этих-то калмыков и создались два княжества, сохранившихся до середины XX века: большое в районе Баграш-куля и Юлдусов и малое около Шихо. И до наших дней пронесли здешние калмыки ненависть к России и русским.

Эти обстоятельства делали проблему рабочего-монгола почти неразрешимой. Ослушание приказа премьер-министра вело к остракизму.

К нам никто не шел, несмотря на сказочную по здешним местам оплату. Выручил «адъютант». Он сообщил, что есть юноша-монгол,

который живет отдельно от родичей и которого можно было бы использовать для наших целей.

– Где этот парень?

– Он принадлежит богатому крестьянину такому-то.

– То есть как – принадлежит?

– Еще его дядя принадлежал. Не смог свой долг выплатить. Всё работал, а теперь умер. Вместо него этот парень пошел. Теперь он принадлежит хозяину вместо дяди. Работать будет.

– Почему же он не отработает и не уйдет к себе?

– Э, долг растет, каждый год всё больше делается. Как можно отработать? Кушать надо, одеться надо. Так всегда бывает – в долг берешь, себя продаешь и сына потом продаешь.

– А мы его получим, этого парня?

– Это можно. Пошли меня. Поеду к хозяину. Наверно продаст, деньги возьмет.

Так и было сделано. По сведениям «адъютанта», долг дошел сейчас до двадцати двух рублей. Это колоссальная сумма по местным понятиям. При торговле мы могли бы предложить хозяину рубля на два-три больше, и скорее всего, это устроило бы его.

Торг был короток. Хозяину было предложено 25 рублей, он их принял, дал расписку (на китайском, конечно), и молодой монгол перешел в мою собственность. Позже, уже в Москве, мне очень хотелось приложить эту расписку к финансовому отчету и посмотреть, какие будут лица у бухгалтеров, когда они будут проводить покупку человека по своим книгам.

Через сутки монгол прибыл в Шихо. В сопровождении «адъютанта» он вошел в дом, верней, его ввели и показали на меня. Прежде чем мы могли что-нибудь сообразить, он упал передо мной ниц. Его подняли. Первые его слова:

– Господин, я пришел к тебе. Я твой и всегда буду служить тебе.

Ему долго, через переводчика, внушали: он свободен, мы не покупаем людей и не продаем их. Единственное, что требуется от него, это чтобы он проработал у нас месяца четыре. Старались, чтобы он понял – долга за ним больше нет, никто не будет записывать ему новые долги. Наоборот, работая у нас, он будет получать сказочную сумму – четыре рубля в месяц и еще даром кормиться, так что будет всегда сыт. Возможно, он не осознал сумму оплаты – слишком уж она выпадала из всего ему привычного. В то время в Синьцзяне батрак получал два–три рубля в год, а на прокорм – ячменную лепешку в день, да еще плохонький хлопковый халат на год.

Монгол был юношески свеж, даже красив, со смуглым румянцем, яркими губами и живыми глазами. Понимал ли он нас? Судя

по блеску глаз, вроде и понимал. Не сразу, но что-то усвоил. Он спросил:

– А ты, господин, разрешишь ли мне жениться?

– Твое дело. Хочешь – женись, не хочешь – не женись.

– А я могу жениться сейчас?

– Конечно.

Он отпросился в юрту отца, чтобы обзавестись женой. Мы отпустили его с тем, чтобы на третий день он был обратно.

И тогда Владимир Павлович сказал мне шутя:

– Поздравляю, Юрий Михайлович, ведь вы рабовладельцем стали.

И в самом деле! Пусть сейчас ему объяснено, что он свободен. Но ведь пару дней он был моим, я платил за него (из своих денег!) Так что сомнений быть не могло – я, самый обычный сын СССР, владел человеком, купил его по всем правилам. Интересно, много ли есть моих сограждан, которые занимались таким же делом?

На третий день невольник вернулся. Он привез с собой молоденькую жену, ее и своих родителей. Они хором подобострастно благодарили меня, и нельзя было понять – то ли за освобождение, то ли за разрешение рабу жениться. И прогостили у нас дня два.

Нет, надо было всю эту волокиту и церемонии возложить на Ложечкина – ведь это ему был нужен монгол. А тут возись с ним!

Гости уехали. Уехал «на медовую неделю» и виновник кутерьмы. Историю с рабовладением можно было считать законченной. Но на деле она возникла еще раз, при нашем отъезде домой. Но об этом в конце очерков.

2. Поездка в Урумчи

Перед выступлением в дальний поход необходимо было побывать в центре нашей экспедиции в Урумчи, получить деньги. Это была первая поездка. Позже пришлось побывать в этом городе еще раза два, и, возможно, что некоторые детали последующих поездок наложились в памяти на первую. Но, в конце концов, это не имеет существенного значения. Мы с шофером Виктором выехали из Шихо ранним утром.

Вам, на севере, окруженным напитанной влагой землей, среди сплошного зеленого ковра, трудно вообразить особые запахи, краски, воздух пустынь и полупустынь Азии.

Всё подернуто еле видимой дымкой пыли, краски блеклы – желтоватые и сероватые тона земли и камня, сероватая, редкая растительность на склонах. Справа горы. Они сразу встают из поднявшейся покатой равнины и издали, проецируясь на одну плоскость, видны как единая каменная громада. В ее просветах кое-где белеют снега самой Ирен-Хабирги. Предгорья – полоса холмов – попросту не узна-

ются, если о них не знаешь. Сама накатанная дорога идет широким пыльным полотном, как старинные украинские шляхи. Слева степь полого спускается в далекую равнину «Дороги народов». На ней то тополевые, то тростниковые заросли. И всё это без капли воды на поверхности.

Мутный Куйтын разлился на ряд проток. Мы ныряем в одну, потом в другую. Вода захлестывает низ мотора, потом входит в кабину. Машина фыркает и победоносно проходит мимо пары застрявших в воде ЗИСов. Одному пытаемся помочь, но он слишком тяжел для нашей полуторки.

А наши автомобилисты – они все из знаменитого Каракумского пробега – вывели на крышу кабин всасывающие трубы, залепили моторы так, чтобы не могла попасть вода, на крышу же поставили аккумуляторы. В результате мы могли переезжать реки, когда вода полностью перекрывала мотор и в кабине людям вода была по пояс.

Двигаемся дальше. Та же дорога. Пара бедных селений, с тополями и небольшими садами. Обязательные мелочные лавки, собаки и куры. Всё настолько не наше, что кажется бутафорией. В одном из селений в кузов садится молодой китаец с китаянкой – мы везем их до Урумчи. Я тоже вылезаю в кузов – скучно в кабине. Болтаем. Китаец как переводчик: он кое-как объясняется по-русски, я знаю два десятка китайских слов. Нам этого хватает. Китаяночка – совсем молоденькая – оказывается женой повара в маленьком заштатном городке. Китаец – клерк Русско-Азиатского банка в Урумчи. Разговаривать нелегко. Не только слов мало – темы не подберешь. Уже поговорили о погоде, о городах Шихо, Манасе, Урумчи. Даже о синем небе, а оно по-настоящему синее. И, выполняя ритуал светской беседы, перешли на тему о театре:

– Видели ли театр в Шихо?

– Конечно, и не раз.

– Как господину понравился наш театр? Господин очень снисходителен. В Шихо очень плохой театр. Но в Китае есть и хороший.

– Да, я знаю. Я видел китайский театр в Москве.

– А у Вас разве есть китайский театр?

– Нет. Но к нам приезжал ваш артист и постановщик, Мей-Лан-Фан. Я видел его игру.

– Господин видел самого Мей-Лан-Фана? Это прекрасно.

И далее идет хорошее, со знанием дела, обсуждение его игры, характера отдельных ролей. Так что создается впечатление, что передо мной завсегдатаи, во всяком случае, многократные посетители его театра.

– Где вы видели Мей-Лан-Фана? Он приезжал сюда?

– Нет, что вы! Я была бы счастлива увидеть его хоть раз. Но сюда так далеко. Он не может приехать.

Я был сражен. Как-то сразу стало ясно, как глубоко вошла в этих мещан захолустья древняя культура Китая.

В какой Чите, Хабаровске, Якутске старых лет мог с такой любовью говорить о Шаляпине или Комиссаржевской местный интеллигент, даже не мещанин? Этот разговор сразу дополнил уже виденное перед этим. Дома ли, за делом – большинство виденных мною китайцев как-то по-особенному вели себя. Выражаясь по-старинному – они были воспитаны. Пусть это внешнее – манеры, умение держать себя, улыбка, жест рукой – но это вошло в кровь, они не думают об этом. Это было и в нашем разговоре тем фоном, на котором столь выпукло прозвучали фразы о театре. Скажем прямо – манеры этой китаяночки были бы вполне хороши во многих гостиных.

Немного позже я спросил у счетовода, почему он не поухаживает за своей спутницей (она ему, несомненно, нравилась). И получил еще один урок. Его лицо совсем изменилось, и он сказал:

– Как можно? Она замужем. Я потеряю лицо, если сделаю так худо.

Мне бы очень хотелось, чтобы ни эти люди, ни их дети не были сейчас в лагере хунвейбинов.

Мы остановились поесть и отдохнуть в Манасе. Такой же город, как Шихо. Многоводная река с тем же именем недалеко от него выходит из гор и растекается по долине. Центральная улица – «Сити» – вся в лавках и харчевнях. В одной из них поели манты – большие среднеазиатские открытые пельмени. На улице кричали торговцы, шла обычная сутолока.

У опиекурильни китаец скручивал и растягивал резиноподобное тесто; мне сказали, что это – будущий опий. Оно было на двух палочках, к нему не прикасались руками. Позже я не раз видел, как на ночлеге вместо ужина заказывается трубка опия. Он есть в любой ашхане и в каждом постоялом дворе. Трубка опия много дешевле ужина, и после нее есть не хочется. Это ужин переходящего с места на место поденщика и прочей бедноты.

Дорога до Урумчи всё та же. Длинные участки полупустыни, оазисы, похожие один на другой и достаточно безрадостные. Больших рек нет, а стекающая с гор вода используется на единицы процентов. Но вот дорога свернула на юго-восток. Урумчи еще не видно, он за отрогами невысокого здесь хребта. А на востоке вздымается огромным трезубцем Богдо-ола. Его почти отвесные пики – средний намного выше других – торчат над черными горами пьедестала и кажутся невероятными рядом с окружающей равниной. Пики поднимаются

километров на пять, если не больше. А равнина, постепенно поднимаясь, заливом заходит в горы западнее Богдо-ола, там на ней расположен Урумчи. Амфитеатр гор, много мелких оазисов и зарослей. Еще немного, и мы въехали в столицу Синьцзяна.

В Урумчи, наверное, тысяч пятьдесят населения. Описать город мне трудно, слишком мало пришлось бывать в нем. Большая цитадель с дворцом губернатора (по-китайски – дубаня). Много военных, но уже не тех, что в Шихо. Там одетые в серую форму бедняки от 15 до 60 лет. На ногах тапочки и рейтузы. Между ними грязные ноги, ничем не прикрытые. Маленькие серые кепи на голове. В походе – ни намека на строй – растянутая толпа, каждый несет свою винтовку как хочет. Один присел поесть, другой отошел по другой надобности, кто поет, кто разговаривает.

На посту, охраняя казарму, сидит часовой. Ружье поставлено к стенке шагах в пяти от него. Сам он, сидя, спит, не дремлет, а именно спит.

В Урумчи всё по-иному. Подтянутые офицеры с донельзя знакомыми лицами – русские. И солдаты русские, во всяком случае, их много. Это состав двух русских полков на службе у китайского правительства. Здесь осела анненковщина с офицерами, женами, домочадцами. И вот нашлось дело – воинская служба. С этой публикой мы старались не встречаться.

Мы попали в главную, деловую часть города. Уже не лавки – магазины, сравнительно широкие улицы без тротуаров. Машина еле ползла – пешеходы не уступают дороги. Они совершенно уверены, что на них не рискнут наехать. Это привело бы к грандиозному скандалу.

Мы проехали весь город. Кончились магазины. Пошли небольшие, хорошие жилые дома – зажиточный квартал. Потом большое каменное здание нашего генерального консульства, больница, школа.

Утром я отправился в город, но посмотреть успел немного. Самым интересным была, пожалуй, деревянная статуя прежнего дубаня, поставленная против дворца теперешнего дубаня. История ее такова. Дубань, с которым мы имели дело, перед своим возвышением пришел с шайкой молодцов к дворцу и удушил своего предшественника, после чего поставил ему памятник, так сказать, «во искупление грехов».

Сразу после его «воцарения» восстали дунгане под руководством очень способного молодого маньчжурского генерала Ма-Чжу-Иня. Китайские войска оказались бессильны, и только два русских (белогвардейских) полка отражали превосходящие силы противника и были осаждены в Урумчи*.

---

* См. предисловие Ю. М. к этим очеркам. – *Г. Г.*

3. Ирен-Хабирга

На севере Тянь-Шаня, там, где горы стеной поднялись над низкой «плоскотиной», местами заросшей кустами и тополем и легшей сухой степью в других, находится этот хребет, на запад низина уходит к Джунгарским воротам у границы с СССР, на восток она тянется мимо Урумчи, ограничивает с севера Богдо-ола и сливается с Хашиунской Гоби, где еще совсем недавно водились лошади Пржевальского и где, к сожалению, сейчас не найдешь ни одной. Вдоль этой низины, отделенный от нее полого поднимающейся голой степью, тянется Тянь-Шань, без перерывов, без единой широкой долины или понижения, до самого Урумчи, километров на 600–700. Это и есть Ирен-Хабирга.

Узкие щели прорывающих его речек непроходимы. Высокий снежный кряж отпугнет кого угодно. Проходов нет. Так считают или, по крайней мере, считали совсем недавно казахи, живущие в предгорьях. Так писали об Ирен-Хабирга редкие путешественники – Регель, Мерцбахер – пытавшиеся проникнуть в горы в конце XIX и начале XX столетия.

А нам – Ложечкину, Богданову, Коптеву, Громову и мне было поручено изучить этот хребет и постараться пересечь его в наиболее высокой средней части, примерно против города Шихо.

Первые экскурсии не обнадеживали. Мы работали на северном склоне и натыкались на одну и ту же, явно непроходимую зону высокогорья. Единственная река, пересекающая здесь хребет, Куйтын, по размеру вроде нашего Терека, выходила в предгорья по такому ущелью, что и думать пройти по нему было нельзя. Наши казахи говорили, однако, что есть путь через горы, трудный, ходят по нему не каждый год и только торгоуты, плохой путь. Но калмыки не хотели иметь с нами дела, да и среди них трудно было найти человека, знающего эту дорогу. Тогда один из казахов вспомнил – есть один человек, кузнец. Он, будто бы, давным-давно прошел этой дорогой до истоков Каша и вернулся назад. Только согласится ли он пойти – не молод уже. Однако надо пойти спросить, попробовать.

Тас-Пайкамбыр согласился. Не знаю, чем мы взяли, то ли хорошей славой, то ли оплатой. Вероятно, это было и то и другое. Согласился только до Каша, где горячие источники. А дальше сами пойдем.

Мы вышли из Шихо. Состав отряда: двое рабочих – пожилой казах и русский парень, наш «адъютант»-переводчик, Алексей Васильевич Богданов (он ведет топосъемку) и я. С нами 14 лошадей. Путь был очень сложный: из одной долины в другую, через крутые перевалы, с едва заметной тропой. Правда, в первые дни она была получше, здесь еще кочуют казахи со стадами. Прямой дороги через хребет нет, потому что все речки текут здесь так: широкая долина, с лугами,

даже с лесом иной раз, тянется километров на 10, редко 15. С обоих концов она переходит в узкие ущелья, вроде того, по которому Куйтын вырывается из гор. А он там, перед самой равниной, ревет в щели столь узкой, что через нее перекинут мостик из двух параллельно положенных еловых стволов.

И вот приходится, пройдя каких-нибудь 5 километров по долине, карабкаться на кряж по крутым осыпям, эдак с километр по вертикали и, перейдя острый гребень, снова спускаться, но уже в соседнюю долину, чтобы, пройдя немного по ней, опять проделать такой же подъем, а за ним и спуск. И так каждый день, иной раз и по два раза в день. И не раз Тас-Пайкамбыр внимательно разглядывал склон, ища хоть какие-нибудь признаки пропавшей тропы.

После первого перевала, еще совсем удобного, мы попали в безлесые места, в поразительно прямую, создавшуюся по трещине в земной коре, долину. Здесь впервые встретились с кииками и впервые увидели их способности при беге по отвесным скалам. Они спускались, уходя от нас и наших ружей, наискосок, по обрыву, большими спокойными прыжками. Наутро, проходя мимо одной из скал, мы увидели огромные кииковые рога, лежавшие у самого обрыва над тропой.

– Алексей Васильевич, взгляните! Вот бы забраться и взять их, да уж больно высоко и, потом, как потащишь такой груз?

Мы задрали головы, и в этот момент рога тихонько приподнялись и большой старый козел, встав на ноги, внимательно посмотрел на нас, незваных.

В один из этих дней я и переводчик задержались на маршруте и, уже в темноте, наткнулись на две видавшие виды юрты. Остались там ночевать. Пастухи угощали нас чаем. Кумыса тут не было – всё имущество обеих семей состояло из нескольких овец. Началась гостевая суета. Я предупредил:

– Скажи, чтобы барана не колол, не буду есть его.

Но было уже поздно, барашка освежевали, а через час все обитатели юрт и мы с ними ели баранину. Я выговаривал хозяину:

– Зачем? Разве у тебя овец много? Зачем колол?

Ответ был горячий, убежденный, и мне пришлось сдаться.

– Баю я колю, ему надо колоть. Начальнику тоже буду колоть. А ты советский человек. Разве для тебя я должен быть плохим, разве я не могу тебя принять как дорогого, а не как бая?

Нам осталось только позвать хозяина и кто еще с ним захочет пойти к нам утром. Там мы дали им из наших припасов (что можно было) раза в три против стоимости барана и еще лекарств. Описывать бедность всегда трудно, а здесь, собственно, и описывать было нечего, у них действительно ничего не было.

Мы шли дальше. Мелкие висячие ледники наверху, скалы, скалы и скалы всюду. А после крутого перевала – круглая чаша долины, замкнутая в щель внизу. Над зеленью джайляу – высокие скалы, кое-где со снежком.

Внизу на траве несколько юрт и скот. Здесь, наверху, Богданов убил улара. И снова мы поднимались по осыпи. В конце подъема кони еле брели. За перевалом полудолина-полуущелье казалось темным. Пара клушиц (альпийских галок) с галочьим писком сорвалось с тропы, а Номи, выйдя на гребень, присел, оглянулся и, заметив вдали отдельно стоящий снежный купол, возмутился и залаял на него – непорядок. Так эту гору мы и назвали пиком Номи.

С каждого перевала мы видели впереди море острых кряжей, то снежных, чаще голых, скалистых. Гребни, выраставшие один за другим, манили вперед, неизвестно куда, потому что мы не знали, что за ними. С каждым перевалом всё острее и мрачнее становились горы, грандиозней пики. Снега всё-таки мало: в сухом воздухе его линия проходит очень высоко. Появились настоящие ледники. Но они завалены щебнем серого цвета, льда вовсе не видать. И только в конце такого сланцевого языка неожиданно вытекает ручей. Не ледники, а живые движущиеся морены.

Последний перевал перед Куйтыном – мы таки вышли, в конце концов, на него, в его верховьях. Отсюда прекрасно виден главный кряж Ирен-Хабирга. Он не является водоразделом. Разделившись на две части, он дает место долине Куйтына, не ущелью. Справа и слева от нее – высокие горы, в снегу, поскольку снег может лежать на их крутейших склонах. Справа, на запад от реки – длинный кряж, как гигантская пила, с зубьями высотой в километр, черно-белыми от пятен снега. Мы оценивали высоту их близко к пяти километрам. Горы были без названия и, посовещавшись всей партией, мы решили называть их Ара-тау – Пила-гора. Слева – одна из самых красивых когда-либо виденных мною вершин – Ирен-тау. Огромный черный пьедестал, высокий и будто из черного мрамора. По нему серебряными струйками речки. Их две, с притоками. Большая – вся в белой пене – ее и зовут Бешенной, Тентек-су. Выше ее и ее напарницы – языки ледников, чистые, не скрытые сланцевым нагромождением. Ниже она уходила в черные еловые леса.

Не знаю, есть ли на современных картах название Ирен-тау. Но под этим именем она была зарисована на карте Богданова. Ведь никто до нас из представителей «культурного мира» этих мест не видел, да и многие ли бывали после нас – уж очень неуютен путь и без надобности сюда не полезешь.

Выше черного пьедестала – ослепительно белые вершины, снежные, почти правильные пирамиды, самая большая – в середине. Они

своими отрогами свободно расходятся, как бы собираясь в кульминацию в главном пике. Его высота не могла быть меньше пяти с половиной километров, а возможно превышала и шесть.

Вот в этих-то местах мы с Алексеем Васильевичем почти каждый вечер слушали песню уларов, почти в каждой долине, были бы над нею скалы. Вечером, после тяжелого перехода, отдыхали перед палаткой, отдыхали на горной траве кони. Слышен только шум реки, катящихся по ее дну камней. Долина заполняется сумерками, только на ее краю розовеет скалистый гребень в лучах закатного солнца. В эти минуты где-то наверху запевают улары, на два тона, кажется фа-до (снизу вверх). А потом огромные, желтоватые в вечернем свете птицы срываются с гребня и коротко, по-куриному размахивая крыльями, летят через долину на ночевку, на затемненную сторону. Там они утром встретят солнце, той же песней: фа-до, фа-до. А сейчас летит уже следующая партия, и опять частые взмахи крыльев над темной уже долиной. Это прощание с днем.

И мы уходим в палатку на ночлег, чтобы завтра снова идти на новый перевал и в новой долине услышать тот же вечерний концерт, такой же чистый и простенький.

В вечер, когда открылась нам Ирен-тау, когда после ужина сидели мы у маленького костра и снова пели нам улары, Тас-Пайкамбыр собрался, наконец, ответить на мой давний вопрос: что же значит Ирен-Хабирга.

Я не передаю его рассказ точно, но говорил он вот о чем:

– Ирен-Хабирга? Человек был такой, Ирен. Великий аксакал, молла. Хабирга по-твоему – ребра, всё равно у тебя или на горах, всё хабирга. И еще хабирга – косогоры. Почему так горы зовем? А ты слушай!

4. Ирен (казахская легенда)

Это – немного вольная передача рассказа Тас-Пайкамбыра, выслушанная мною в час, когда остатки ужина и вечернего чая еще не были убраны, а седло, которое он должен был чинить, еще не принесено в палатку. В долине темнело, прокричали улары, белые пики Ирен-тау еще блестели на солнце.

Горам нет конца. Старые, поседевшие. Где-то вверху скалы. Они тянутся лентами. Под ними весь склон в серо-черных с рыжими пятнами осыпях. Ровный скат их бездушен, мертв. Кое-где на площадках на ровном склоне – участки травы. Плотный снег лежит пятнами, хотя лето уже вошло во вторую половину.

Над уступами и осыпями в небе светят ослепительные снежные вершины Ирен-тау. Дикой песней брошены они. Другие пики, ребра,

хребты кажутся небольшими и скромными – они спутники владычицы Ирен-тау.

Серо-черным скелетом выступает горная страна – обнажены кости земли, без мяса, без кожи. Подняться наверх – и до конца земли из-за одного кряжа поднимется другой, третий. Последний – там, где земля переходит в небо. В долинах между ними нет деревьев – только трава. Реки белы от пены, и шум их бешеной воды далеко отзывается в вершинах. Пенится, сбегая с Ирен-тау, Тенек-су – Бешеная. Глядеть сверху – серебряной молнией ветвится она в черных обветренных уступах. В теснинах Куйтын ревет в таких узких щелях, что их с разбега берет хороший скакун. Здесь к воде не может подойти даже теке – бородатый и круторогий дух утесов.

Ранним утром и вечером, встречая и провожая солнце, утесы поют простую, на два тона, песню, протяжную и радостную. Говорят, что это свистят улары, но разве может так петь птица, чтобы перекликались утес с утесом по всей долине и даже через кряж с соседней долиной. Эти минуты неповторимы, и никто не может работать, когда запоют в рыже-красных лучах громады камня и большие рыжеватые птицы полетят на ночевку над уже потемневшей долиной.

Днем над обрывом вдруг появятся бородатые, с крутыми рогами хозяева скал. Их прыжки – как полет над краем пропасти, без опоры. Точно на воздух становятся на миг их черные копыта.

И редко, очень редко, покажется бич всего живущего – белая, в черных пятнах, могучая кошка.

В немногих расширенных котловинах видны юрты, такие же понятные здесь, как камни, скатившиеся с гор на луга. И скот точно рожден крутыми склонами, как рождают они травы и цветы. И узкоглазые, загорелые обитатели юрт кажутся детьми благодетеля-солнца и суровой, но теплой земли. Так сейчас.

Но раньше, много лет назад, по-иному выглядели эти места.

До горизонта протянулась вольная благодатная степь. Холмами и широкими долинами уходит она к далекому морю песков. Ленивы прячущиеся в земле и снова выходящие на солнце реки. Степные травы переливчатым бархатом покрывают землю. Однотонная, как будто скучная, степь искрится сотнями оттенков и небывалым ковром уходит в голубовато-зеленую даль. Округлые холмы не знают, что такое камни. Редко лежит один-другой на какой-нибудь вершине. Волны холмов, как застывшая зыбь.

Около речек и болотец изумрудом зацветает трава, и тянутся узкие полосы ив и тополей. В кустах мягкой воркотней встречают путника горлинки, из травы с треском рвутся тетерева. Но чаще мокрые места зарастают стеной камыша. Просеками сквозь него

пробиваются тропы к водопою. Камыши шуршат ночами, когда идут к своим лежкам кабаны. Прямокрылые беркуты парят, едва шевеля крыльями, высматривают утиные стаи. Свистят тарбаганы, стоя, как могильные камни, у своих нор.

Солнце светит, горячее и ласковое, воздух сух и тепел. И трель жаворонка сливается с ржанием коней.

Ни к чему торопиться степняку. Медленно набухают, как капли янтарного меда, дни и падают, отрываясь в бывшее. Растут овцы и жеребята, растут дети. И никто не знает, когда и как сменяют они стариков.

Вольно стоят белые юрты в степи, поют под звуки домры певцы, и песни их о старине и счастье казахов. Много скота у казахов. Дорогим соболем и черной лисой оторочены шапки и одежда. Серебром поблескивают седла и позванивают стремена. Неспешна жизнь. Много места в степи, много людей кормит она. И всё-таки свободно в ней куланам, диким саврасым лошадям, джейранам и сайгакам. Джигиты с беркутами на толстых кожаных рукавицах, гоняются за ними. И, хлопая ушами, несутся на помощь вцепившемуся в спину козла беркуту, круторебрые тазы.

Узорчаты луки в кожаных чехлах. Поют стрелы в полете. Быстры как степной ветер и неотвратимы как смерть соколы. В ужасе несутся от них тяжелые от жира утки и осыпанные искрами солнца фазаны.

Солнце, горячее и ласковое, не прячется за тучи, ему нечего стыдиться своего народа. В его лучах поет степь сотнями голосов и трепещет крыльями застывший в воздухе копчик. И пряной полынью чуть отравлен воздух. В вольной степи и живут вольные и мирные люди. Мудрые, как мудры переливы красок выгорающей травы, как светящийся степной воздух. Они не знают войн. К чему воевать, когда степь велика, как мир. Плодятся стада, крепок кумыс и здоровы казахи. Много молока у кобыл, жирны овцы, крепки верблюды.

В юрте против входа садится гость. Не торопясь, оправляет полы одежды, не торопясь, пьет кумыс и отвечает: «Да, кони здоровы. И овцы здоровы. И дети здоровы». Не торопясь, рассказывает новости степи: пала корова, родила верблюдица, волка затравил джигит, привез козла на байге другой. Слушают хозяева, слушает, приподняв уши, таз у входа, слушает дух степи, присев у ног лошади. Наслушавшись, седлает своего конька и гонит к соседу. А люди видят только степной вихрь, видят, как он падает и поднимается снова – это сосед помчался передавать новости другим духам в холмах.

Самый почтенный и большой человек в степи – старик молла. Даже деды молодых джигитов помнят его белым глубоким стариком. Его слово – тихое и короткое – прекращает споры родов, прячет в кол-

чаны стрелы мести и возвращает жене мужа, а мужу – жену. Очень стар молла. Его покой – покой степи.

И вот уже не первый год неспокоен Ирен, не видит, куда идет жизнь народа. Холодны зимы, и, сидя у огня в юрте, согревая старческие кости, покачивается в такт своим думам старик. Двадцать, а может больше, лет назад услышал он в первый раз о юртах калмыков далеко за степью.

Это были рассказы длинного уха, безобидные, как сказки прошлого.

Снова и снова расцветала степь весной. И одинаково беззаботно встречали казахи летнюю радость.

Но вот пришли вести, что люди самого дальнего рода подались на чужие земли, что земли их захвачены монголами. Мирные, спокойные казахи не могли справиться с пришельцами. То там, то здесь налетали они на казахские стада, уводили скот, убивали людей. И казахские джигиты отступали, уступая земли отцов, бросая кочевья. Смутным стало время. Солнце жгло. И не было покоя и радости от его света. Пыльной дымкой закрыты дали. Неспокоен воздух.

Всё ближе монголы. Сомкнутыми рядами налетают их всадники на казахские толпы, и убегают казахи от монгольской лавы. Уже два рода со скотом, юртами и детьми ушли на север, в безводные, сухие степи. Нет покоя казахам.

Пришла зима. Подолгу говорили, собираясь, аксакалы. Войны требовала молодежь. Ирен молчал и слушал. Его глаза со вспухшими красными веками спокойно глядели в даль. Длинной чередой проходили перед ним старые дни. Он искал в них ответа. Ответа не было. Только одно, очень древнее сказание могло помочь. О том, как казахи пришли в степь, как увидели эти места, привольные и радостные, как вступили в бой с другими, которые жили здесь. И как те ушли куда-то вдаль.

Молчит, качаясь, Ирен. Молчат, глядя на него, старики. Молчит степь, отдыхая от вьюги. Только на сердце тяжесть и гнет.

Подошла весна, с нею кочевья. Пришли вести, что монголы идут всей ордой, уже на летовках они, по холмам Куйтына. В испуге метались утиные стаи, поднятые их конями на водопоях. Сайги и джейраны уходили на север. Как саранча покрыли степь полчища монголов.

Нестройной толпой вышли навстречу казахские джигиты, забывшие боевой лук и копье.... Сотнями падали на травы, кровью расцвечивая их зеленый ковер. Остатки собрались кучками, бежали назад, к зимовьям. Снимались юрты. Истошно кричали верблюды. Народ, весь народ, поднялся и уходил .

Мутны глаза старого Ирена, прощается он со степью. Знает он, что монголы быстрее, что настигнут они и раздавят казахов. И молчит. Только раз сказал: «Уходите». И показал на север.

Ирен и с ним две сотни отборных всадников остались. Мимо них шли семьи и роды, лошади и верблюды. Юрта Ирена одна белеет в степи.

Уже ушли последние... С нетерпением смотрит молодежь на погруженного в думы старика. Он знает: можно было не отдавать земли, можно было биться с монголами и прогнать их. Но для этого надо быть всем вместе, быть войском, а не толпой, не десятью родами, а казахским народом. Сидит и смотрит старик. Погибнет народ, раздавят его монголы. Молчит и ждет. И видит, как туманом, пылью покрылась степь под ногами коней, черной лавой идут монголы. Всё ближе и ближе. Вот из куйтынских камышей, испуганные криками орды и топотом коней, вырвались кабаны и, обезумев, несутся по открытой степи.

Тогда только встал Ирен. Его впалая грудь обрела былую силу. Молодой голос услышали джигиты: «Сыновья сынов моих! Спасайте ушедших, остановите монгол. За жизнь каждого из вас возьмите пять монгольских. Вперед! С вами Аллах!»

И, показав рукой на монгольскую орду, снова замолк. Только глаза горели, как уголья.

Легкими птицами понеслись навстречу монголам джигиты. Из-под копыт коней поднималась пыль, свертывалась в вихри – скакали следом духи трав и степи. Но Ирен не смотрел. Он знал, через полчаса в раю у Пророка будет двести молодых гостей. А монголы снова пойдут вперед и догонят казахов.

Он просил о помощи. Просил Пророка, молил степь.

И, когда джигиты были совсем близко к монголам, когда полетели уж первые стрелы, снова вошла молодость в его дряхлое тело. Почти без помощи двух оставшихся с ним пожилых казахов вскочил Ирен в седло. Снова огнем вспыхнули глаза. Камча в протянутой руке казалась саблей, соболий малахай – шлемом.

– «Ты не наша, степь, ты отступилась от нас! Спаси народ! Не дай пройти монголам. Так велит Пророк!»

Большие слова вложил в уста Ирена Пророк. Закачалась земля. Гром пошел в ее чреве. В ужасе бились под седлами кони. Только кобыла Ирена стояла спокойно, точно понимала силу старца. Били и ранили один другого кони монголов, испуганными птицами носились лошади казахских джигитов.

И снова зазвучал голос Ирена:

– Ко мне, дети мои, ко мне!

Один за другим направляли к старику своих коней казахи. Дрожат кони, сбившись в кучу, на холме рядом с Иреном. Затягивают небо черные тучи, уж закрыли солнце. Ветер, холодный и резкий, метет пыль. Забелел в воздухе снег.

Спокоен Ирен, и благостен взгляд его. Еще раз, точно торопя кого-то, поднял он руку с камчой. Сильней заколебалась, затрещала земля. Треснула ее зеленая гладкая кожа, в прорывах выглянули каменные кости. Молчат сбившиеся в кучу джигиты. Дрожат и подгибаются ноги коней. Дикими, лишенными разума глазами глядят монголы. И молчит, подняв камчу, Ирен. В трещинах холмов растут черные скалы. Растут и от натуги осыпями скатываются вниз их обломки. Всё выше скалы, страшнее их ребра. Лопается земля. Тогда повернулся Ирен к казахам:

– Едем!

И двинулся на север. Идут лошади по косогорам, а холмы всё выше и выше, всё круче косогоры. Ребрами выдаются каменные гряды, слепит снег коней и джигитов.

Следом идут монголы. Их окружают горы. Всё хуже путь, всё труднее. Где прошли казахи косогорами, там по скалам, по ребрам идут монголы. И обвал за обвалом преграждают их путь.

Отряд Ирена впереди. Вьется змейкой по склонам. Уже нет над ними туч, уже блестит солнце, но всё еще качается земля, и подземным огнем горят глаза старика. Ирен крепко держит камчу и как молодой сидит в седле.

Растут горы. Глубокий снег лег на пути монголов. Ветер и мороз бьют в лицо. А впереди, купаясь в тепле и свете, уходят казахи. И вот остановились монгольские кони. Падают усталые, замерзающие всадники. И растут горы. Всё тесней долины, всё страшней осыпи. Как бешеный, ревет между скал Куйтын. Теряют последние силы, падают монголы и их кони.

Тогда повернули они назад, уходят от ветра и снега. Сотнями падают, сотнями гибнут. Еле пробиваются узкими ущельями.

Там, где осталась белая юрта Ирена, еще раз заколебалась земля. Еще выше поднялась гора, и белыми шапками засветилась вверху Ирен-тау.

Выходят в степь казахские кони. Кончились скалистые ребра и крутые косогоры. До горизонта переливаются в закатном солнце степные краски. Вдали видны стада ушедших родов. Мягок воздух, зовет дымами далеких костров.

Сзади всех выходит из гор белая кобылица. Осторожно несет она величавого старца. Но не горят его глаза, не поднимает камчи жилистая рука. И бережно поддерживают холодеющее тело два пожилых казаха.

Вот Ирен-тау. Эта гора. И ребра гор кругом Ирен сделал. Всё он.

Мы были вольны не верить легенде. Но вот она, Ирен-тау. Далеко на севере в степи живут казахи. Там табуны и стада, стоят юрты. И так

же далеко на юге Юлдусы, там монголы. И разделяет их Ирен-Хабирга. А мы знаем, каковы пути через нее.

5. Каш

Там, где мы спустились, в самом верху этой долины, нет зелени. Река забирается сюда по черной от камней теснине и круто поворачивает к западу. На повороте – горячие серные ключи. Около них мы и остановились. Отсюда уходил, как мы и договаривались, назад в Шихо Тас-Пайкамбыр, он уводил, кроме своей, еще одну лошадь, несшую до сих пор немного овса – слишком скуден был травяной рацион, чтобы целиком полагаться на него. Отсюда никакой прикормки лошадям не было, они должны были выдюжить на траве, как сумеют.

Здесь наши пути пересеклись с путями геологов экспедиции Мерцбахера, посетившей Восточный Тянь-Шань еще в начале столетия.

Серные ключи (температура около 70 °С) бьют у основания склона, и вода их перетекает из одной выкопанной ямы в другую. Богданов и я смогли перенести температуру только третьей от низа ямы. Как залезают в верхние – непонятно. Около ключей стояли «на курорте» десятка полтора юрт киргизов.

Мужчины пришли к нам в гости. Мы угощали их супом, кашей, чаем и конфетами. Обряд еды последних был в таких случаях один и тот же: конфеты рассыпались на «столе» (брезент, постеленный на земле), между мисками и прочими сосудами. Поглощались они вприкуску и с супом, и со вторым, и с чаем. Количество ограничивалось лишь нашей щедростью. До предела не удалось дойти ни разу. Мы были, конечно, крупнейшим событием для этих людей – свалились неизвестно откуда и идем неизвестно зачем.

На другой день мы спустились по Кашу, по его прямой и широкой долине между совсем низких гор. Пройти к Юлдусам прямо от серных источников, через высоченный массив было невозможно, по крайней мере для нас, поскольку киргизы тропы не знали, а идти без проводника было, по меньшей мере, рискованно.

По бортам долины узкими полосками тянется еловый лес (тяньшаньская ель). Его полосы всего сто – триста метров шириной. Перед въездом в эти леса, на открытом степном склоне, из-под ног коня вылетели крупные, тяжелые и страшно знакомые птицы. Я так растерялся, что промазал по этим глухарям. На второй день мы перебрались через Каш и стали подниматься по его притоку. Дорога была поразительно легкой. Горы в отдалении едва доходили до пояса скал, так что и лошади и мы шли, как на прогулке. Было так легко, что дорога плохо запоминалась. Здесь, в междуречье Каша и Кунгеса, мы натолкнулись на граниты, которые прорывали юрские сланцы.

Сомнений не было – растительные остатки были найдены, совсем близко от гранитов. Только через 15 лет подобное было обнаружено в нашем Тянь-Шане. Но в те годы опубликовать наши находки было еще нельзя и сведения о них остались спрятанными в рукописных отчетах.

В два перехода мы подошли к долине Кунгеса.

Раньше мне казалось, что все уютные места на Земле давно освоены. Пустыми остаются только самые неудобные для жизни районы, но и те спешно осваиваются и заселяются. А вот оказалось же, что чудесные места с умеренно жарким летом и короткой милостивой зимой, с травами в два с половиной метра ростом, со смешанными лесами, иной раз парковыми, иногда требующими дровосеков, – страна между двумя хребтами и сама умеренно гористая (до альпийских лугов, не выше) и прекрасно орошенная – пуста. На участке долины длиной 150 км и шириной 30 км было 10–15 юрт киргизов и калмыков.

Мы шли лесами, выходили на поляны и луга, где трава иногда оставляла видной только голову всадника, а иной раз скрывали с головой даже меня, самого высокого из нас и на самой высокой лошади. В этой траве были примяты лежки маралов, мы поднимали их, но в травяных джунглях не могли видеть. Туннели-тропы кабанов пересекали луговины. Так мы шли целый день. Только всегда сохраняющееся чувство ответственности за работу не позволило простоять здесь хоть пару дней для охоты.

Мы вышли на самый Кунгес и стали подниматься по нему к перевалу Айдункур, ведущему на Юлдусы.

6. Юлдусы

В самой середине Тянь-Шаня горы неожиданно расступаются. Их цепи всё также вытянуты с запада на восток, но на месте сплошной горной страны, с ее узкими долинами Каша, Кунгеса, Текеса и Хадыка, с короткими поперечными ущельями, на месте моря островерхих кряжей, скал и снегов, в самой середине нагорья – распростерлись две равнины. Это не низины: высота одной больше 2500 м, другой – все 2700, так что окружающие их хребты кажутся совсем невысокими, их гребни на километр, реже полтора выше самих Юлдусов. Кстати «юлдас» в переводе «звезда» – так окрестили кочевники этот рай для скотоводов.

И хотя знаешь о Юлдусах заранее и ждешь их – впечатление огромное. Но вот последние минуты подъема на легчайший перевал Айдункур. Сзади пройденная до самых верховий долина Кунгеса, левой составляющей Или. Почти прямая и сама состоящая из сети

долин и долинок его притоков, разделенных невысокими горами. Там есть долины и луговины с травой, в которой не видно верхового, там травы примяты лежками маралов и пересечены кабаньими тропами. Мы прошли эту долину, как и верхнюю половину долины Каша и водораздел между ними – без проводников. На Каше не было кочевий, где можно было взять проводника, а на Кунгесе с трудом найденный проводник-калмык сбежал при первой возможности. Получилось, что выход с Кунгеса к Юлдусу нужно искать самим, и в результате я первый из нашей компании вышел на водораздел и увидел оттуда Малый Юлдус.

Вечерело. В ясном свете на сотню и более километров тянулась к востоку абсолютная равнина: ни холмика, ни долинки. Вечернее солнце освещало ее чуть желтеющую зелень и делало краски сочными и густыми. Вдали по равнине петляла медленная, с болотами, озерами и старицами, река. До того борта долины было километров двадцать, кругом были горы. Они были не слишком высоки, их правильные хребты поднимались на километр-полтора над долиной, но они были в снегу. Еще только начинался сентябрь, и снежная линия еще не успела спуститься.

Ограничивающий долину с севера хребет был повыше. Далеко на востоке хребты смыкались. На юге и около перевала Айдункур горы были пониже. Хребет Ихе-Дибен-ула отделял Малый Юлдус от Большого, более южного. Ровная цепь его выделялась особенно ясно и, казалось, что она вовсе невысока, но снег лежал и на ней.

Мы постояли, рассматривая всё это великолепие.

Как образовались Юлдусы? Почему здесь между хребтами опущена и сохранилась равнина, какой сравнительно недавно была вся поверхность Тянь-Шаня?

Но надо было спускаться до первой воды, с тем чтобы с утра отправиться к ближайшим юртам, стоящим где-нибудь на реке. Утром, после короткой ночевки, мы встали лагерем на южном берегу реки. До юрт было километра два, так что ни мы не стесняли монголов, ни они нас. Мимо шла «большая дорога» в Большой Юлдус. Чтобы дать отдых коням и привести в порядок имущество, мы решили остаться тут на пару дней, а затем уж кочевать на Большой Юлдус. Пройти хотелось через хребет, чтобы познакомиться с его строением.

Дорога по Хадыку, из долины в долину, была геологически неинтересна. Отдых был заслужен и не только лошадьми, устали и мы. Позади были нехоженые тропы Ирен-Хабирга, горячие серные источники Каша и долгий путь по нему и Кунгесу. И хотя после Ирен-Хабирга все пути казались легкими, почти прогулкой, отдых был крайне нужен. А для коней лучше такой степи не найдешь места.

Какая же была охота на птицу по Хадыку, его петлям, озеркам и извивам! Тысячи уток, стаи тянь-шаньского гуся, многие сотни птиц. Этот гусь поменьше нашего гуменника, с бежевой грудкой, опоясанной черным тонким ожерельем. Птицы было так много, что при охоте на самую желанную добычу – лебедя, когда осторожно скрадываешь этих великанов, мы ругали всевозможными словами гусей (уж они-то чем не добыча!) А ругали потому, что не дают подползти. Огромными стаями срываются они на расстоянии близкого выстрела, гоготом своим поднимают еще далеких лебедей. Видимо, на птицу здесь никто не охотится. Мы не видели у монголов ловчей птицы: ни соколов, ни ястребов. Правда, может быть, они есть у более привилегированных охотников, которые уже ушли на зимовки, а может быть их и не употребляют для птичьей охоты и добывают ими только мелкого зверя. О выстреле дробью монголы не знали... Настолько не знали, что считали почти чудом, когда немного позже, уже на Большом Юлдусе были сбиты на их глазах два пролетавших над поселком гуся; они упал едва ли не на головы лам.

Но отдых отдыхом, а надо идти дальше. Лошади подбодрились, даже отъелись немного. Большой Юлдус на расстоянии только одного перехода. Но по какой долине можно пересечь Ихе-дибен-ула? Как найти нужную тропу, а не «скотьи дорожки», которым здесь нет числа? Из стоявших невдалеке юрт к нам приезжали монголы. Говорить с ними было трудно, но всё-таки как-то дело налаживалось. Но стоило заговорить о проводнике или дороге – всё обрывалось. Каменные лица, полные непонимания того, о чем мы говорим, даже от чая отказываются. Значит надо опять идти по своему разумению, искать дорогу самим.

Мы сделали так: «адъютант» был выслан вслед за парой монголов, по всей видимости, отправившихся через хребет. Таясь, он следил за ними до самого перевала и только к ночи вернулся назад. А наутро мы легко перевалили через хребет и заночевали на восточном краю Большого Юлдуса, там, где в беспорядке торчат крутые, иной раз отвесные горки и где горы севера и юга близко подходят друг к другу. Наутро мы собирались двинуться к ставке князя, но вышло иначе.

Мы еще сидели за завтраком и не начинали вьючить лошадей, когда от дальних юрт отделилась группа всадников и направилась в нашу сторону. Старший, пожилой, довольно тщедушного вида монгол слез с коня у самой палатки и что-то заговорил. Судя по тону, он обращался к нам отнюдь не с приветствием. Его толмач переводил на уйгурский, наш – на плохой русский.

– Он говорит: зачем ты пришел? Нельзя ходить это место. Это калмыков земля. Здесь наш ван хозяин. Он говорит – уходи назад.

Дальнейшие уточнения показали, что перед нами «министр двора» или, может быть точней, – внутренних дел. Держал он себя более чем вызывающе. Соответственно реагировали и те трое-четверо, что были с ним. Надо было осадить сразу и взять инициативу в свои руки, но как – я еще не знал. Прежде всего надо было представиться, а то мы пока в глазах «их превосходительства» – ничто. И еще можно было думать, что он не случайно здесь, он предполагал о нашем приходе, возможно со слов тех, за кем ехал два дня назад «адъютант».

Я ушел в палатку за документом. «Господин министр» пошел было следом, но ребята догадались остановить его. Этот запрет был в нашу пользу. Потом я развернул свой китайский паспорт, так, что посетитель мог прочитать обо мне как о полковнике и так далее. Он не читал, но действие сей бумаги было изумительным. Наглая улыбка, поза начальника, злоба – всё слетело, как не бывало. «Министр» опустился на колени и униженно поклонился. Нет, не мне – это выяснилось так быстро, что я не успел двинуться. Его рука протянулась к краю документа, он тронул лбом место около печати дубаня. Его тон, когда он заговорил, был неузнаваем:

– Я только замещаю вана. Я его слуга. Всё тут к твоим услугам, господин. Приказывай, и твои слова будут исполнены, как слова самого дубаня.

Это была победа. Мы доели наш завтрак. «Министр» со спутниками сидел в стороне, ему поднесли чаю и конфет. Потом мы не спеша собрались и двинулись по совершенно плоской степи к средней части Юлдуса. Через 20 километров встали у большого «юртяного» поселка, Это и был летний центр княжества: монастырь, юрта старика-министра, а недавно и юрты князя.

Пришлось простоять еще один день. Посмотрели лам, их юрты. После ранее мною виденных забайкальских монастырей этот, кочевой, не оставил никакого впечатления. Пожалуй, самым любопытным в поселке было знакомство с торговцем, сравнительно культурным киргизом. Весь его «универмаг» помещался в двух сумах его седла. Но были здесь и зеркальца, и бусы, и нитки, две-три пары галош, одно пальто, одна фетровая шляпа и куча всякой всячины. Всё это было аккуратно разложено на земле в самом людном месте поселка. Его товары объясняли некоторые странности в одежде монголов. «Министр» щеголял в богатом халате, зажиточные и ламы – все в толщенных овчинных штанах и овчинных же мягких сапогах до середины бедер. На сапоги надеты самые прозаические галоши, а поверх штанов и прочего надето москвошвеевское дешевенькое пальто, кринолином растопыривающееся над штанами. На голове не треух, как этого следовало бы ожидать,

а фетровая шляпа. Я приценился к сладостям. Они были очень дороги. Поговорили с купцом. Он торгует только на живых овец – деньги его не прельщают. Овец он отгоняет в Кульджу и продает там. Такой оборот позволяет ему в каждую поездку получить 600–800 % прибыли. Он также рассказал нам, что в западной части Большого Юлдуса осело несколько семейств русских. Это здесь редкость, потому что китайцы не разрешают русским садиться на землю. Другой такой поселок есть на Кунгесе, ниже тех мест, куда мы вышли с Каша. У тех хозяйство пошло крепко. Проблемой стали завезенные свиньи. Огромное количество кабанов, приходящих осенью в яблоневые леса (об этом в свое время писал Пржевальский) уничтожают посевы. Приходится бить зверя, и мяса столько, что домашних свиней вовсе не режут и они стали чуть ли не бедствием. Урожаи в обоих поселках прекрасные, овощи и хлеб по высоким ценам продают кочевникам. Даже на Юлдусе (2,5 км над уровнем моря) поспевают арбузы.

Мы получили проводника через южные хребты до города Янгисара. Жалко было, конечно, что всего за несколько дней до нас ушел на зимние квартиры ван с его двором – посмотреть на живого феодала было бы интересно.

И вот мы двинулись.

7. От Юлдуса к Янгисару

Мы вышли из поселка, перешли через довольно глубокий Хадык и двинулись по совершенно плоской равнине, вытоптанной и выеденной скотом. Редкие, еле заметные западинки на ней были мокроваты, иной раз с болотцем или озерком. На одном из таких озер настреляли шесть лебедей, которых мы потом без конца ели с Алексеем Васильевичем – остальные наши спутники лебедей не ели. Выйдя к одному из притоков Хадыка, мы поднимались по еще широкой долине, безлесной и унылой. Свернув в долину небольшой речушки, вскоре попали в узкое ущелье с типично альпийскими резкими формами – в настоящую горную страну. Она тянулась целых полтора перехода, до тех пор, пока мы не поднялись на один из бортов ущелья и не очутились снова на равнине, поднятой почти на километр над Юлдусом. Это в ней пропилен каньон, которым мы шли столько времени. Вдали видны еще подобные врезы, но издали они кажутся плоскими небольшими долинками. Только подойдя вплотную, видишь отвесные стены и глубокую щель, на дне которой мечется речушка. Высокая равнина протянулась далеко на запад и на восток – туда мы и свернули по ней. На севере видно ущелье Хадыка, тоже врезавшегося в нее и, вероятно, ревущего в своем каменном ложе. Другого пути к Баграш-кулю ему нет. На равнине кое-где стоят небольшие

хребтики – остаточные горы, еще более древние, чем равнина. Такие горки – остатки некогда существовавших высоких хребтов – можно видеть и в Восточном Казахстане, но здесь они, при их небольшой, не свыше полутора километров относительной высоте, оказываются очень высокими, нередко водораздельными хребтами, с отметками в 4–4,5 км над уровнем моря. Здесь я, впервые в жизни, встретил снежного барса. Об этой встрече написано в другом очерке...

Встреча с барсом

Охотник я посредственный, и никаких особых, из ряду вон выходящих встреч со зверями у меня не было, да и успехи мои в этом деле отнюдь не выдающиеся, скорее скромные. Лучше всего это оказывается простым признанием, что за всю экспедиционную жизнь не пришлось вплотную встретиться с медведем. А сколько раз бывал в медвежьих углах! И кабанов видел только раза два. И всё-таки есть приятные воспоминания. Вот дважды видел снежного барса. Нет, не убивал, но всё-таки видел. В первый раз это было в конце лета 1935 года. Мы только что покинули Большой Юлдус – совершенно плоскую впадину в центре Китайского Тянь-Шаня. Дорога вела на юг, через южные хребты к северной окраине Таримской впадины, к городу Янгисару. От Юлдуса подъем едва заметен. Горы невысоки, поначалу по крайней мере, и весьма пологи. На второй день мы еще шли слабо наклоненной равниной, и только вдали она, поднявшись на трехкилометровую высоту, прерывалась небольшим, будто насаженным на нее чьей-то расшалившейся рукой, хребтом. На светлом, желтоватом фоне равнины этот хребтик – вся-то его высота с полкилометра над нею – резко выделялся своими черными и темно-серыми скалистыми склонами с пятнами снега на вершинах. С него на север, то есть к нам, спускался довольно значительный ледник Менке-даван*, нацело заваленный обломками горных пород. Лед можно было увидеть только у конца ледника, в обрыве его, где из него вытекает речка, да и то какой лед – весь набитый, как кекс изюмом, осколками камня. Такие «закрытые» ледники не редкость в горах Средней Азии. Но всё это мы увидели на следующий день, когда поднимались к перевалу.

Нам предстояло пройти по леднику вверх и по фирновому полю подняться на гребень хребта. Оттуда начинался спуск к Тариму. Мы остановились на ночевку далеко не доходя до ледника, в довольно глубокой, врезанной в равнину долинке. Нетерпение взглянуть на завтрашнюю дорогу погнало меня вперед, на разведку. Палатки будут поставлены и без моей помощи.

---

* Менке-даван – в переводе *ледяной*. – *Г. Г.*

Равнина казалась непрерывной. На ней были только низенькие пологие холмы. Желтела уже сохнущая трава. Медленно двигаясь по узкой тропе, я всматривался, не увижу ли архаров или киков (козлов). Потом обозначилась долинка, спускающаяся с Менке-давана, того самого перевала, на который мы поднимемся завтра. Но пологой долинка казалась только издали. Вблизи она оказалась узким глубоким ущельем, врезанным в эту высоко поднятую равнину. Остановив лошадь, я вглядывался в склоны, в надежде увидеть кого-либо на холмиках. В бинокль были видны только сидящие у нор сурки. Но вот на одном из холмов поднялся на ноги какой-то зверь. Далеко, метров за 200–300. Первая мысль – не красный ли волк?

О возможности увидеть эту редкость думалось не раз. Но «волк» сделал прыжок, другой. Кошка, несомненная кошка. Вон и длинный хвост. Еще пара прыжков и остановка. Явно всматривается в меня – мы с конем хорошо видны на фоне неба. По существу совершенно не нужно было снимать ружье, переводить курок на третий ствол и выцеливать вновь побежавшего зверя. На таком расстоянии выстрел был совершенно безнадежен. Пуля ударила, далеко не долетев до барса. Он убегал и был еще долго виден. Пробежал с полкилометра и скрылся за холмом. Когда я доехал до этого места, то убедился – барс ушел в скалы того самого невидимого издали ущелья, был на самом краю его. И сколько я ни обшаривал биноклем скалы – увидеть зверя больше не пришлось. Он знал, где спрятаться.

После ночевки на дне ущелья выбрались мы на утро третьего дня и начали подъем на главный перевал Менке-даван. Тропа шла плоскогорьем, потом круто повернула в одну из долинок на невысоком хребтике – водораздельном кряже, на который нам нужно было подняться. Еще выше – и мы вышли на переметный ледник (он спускается с кряжа на обе его стороны) и пошли по льду, почти скрытому здесь щебневыми нагромождениями.

К югу от Юлдуса горы всюду неприветливы, без снега (Менке-даван – исключение), без лесов. Глазу не на чем остановиться. В долинах и ущельях крошечные речушки – откуда здесь взяться воде. Снегов за зиму выпадает мало, и тают они быстро. Еще весной сбегает их вода в предгорья и теряется в полупустыне. Особенно безрадостны южные склоны. Долины вовсе сухи, только редкие кусты вдоль русел. И пусто: за весь путь после перевала мы не видели ни одного зверя. И только изредка поднимали кекликов (горных куропаток). Ни кииков, как на Ирен-Хабирга, ни водоплавающих, как на Юлдусах. Даже барс не вскочит и не побежит, подкидывая задом, не покажется волк – им нечего делать в этой горной стране. Только крутые кряжи,

узкие долины – нет и следа некогда бывшей здесь равнины, подобной юлдусской.

После двух дней такого безрадостного пути горы снизились. Последняя ночевка в них, у самого выхода в предгорье, была тягостной. Совсем кончилась вода (в русле), почти нет топлива, кони уныло жевали сухую редкую траву. Дальше, до самых оазисов, на большой дневной переход воды вовсе нет, и надо пройти его без остановок, без питья, чтобы попасть в обетованные сады и поля Янгисара.

Мы, как всегда, разделились. С караваном пошел на этот раз «адъютант» – хотел организовать нам ночевку, всё-таки город. Алексей Васильевич с рабочим-казахом отстал от меня, так бывало почти всегда: топографическая съемка идет медленней геологических наблюдений. Так что мы шли втроем – мой гнедой, Номка и я. Номи стал от пыли из белого желтым и вяло брел, высунув язык – жарко, сухо, разве такое для лайки? Но шел всё-таки.

Сухое русло извивалось между совершенно неправдоподобной формы пустынными горушками, вначале желто-серыми, потом кирпично-красными. Каньоны в них, с плоским песчаным дном, появлялись неожиданно, то с одной стороны, то с другой. Гнедой пошел совсем вяло, даже мне стало трудно сидеть в седле. Незаметно минул полдень, и когда мы, наконец, выбрались из предгорий, взобравшись на последнюю горку, и впереди была только покатая равнина, солнце стояло совсем низко. Равнина спускалась далеко, и там, в дымке, черными пятнами виднелись заросли, но сады ли, кусты ли – не понять. До них еще очень далеко. Дымка заволокла весь юг и стояла там пыльным туманом. От него стало краснеть солнце. Там, где-то за оазисами, был Тарим, а за ним знаменитая Такла-Макан, почти непроходимая пустыня, отделяющая тянь-шаньские оазисы от куэньлуньских. Но для нас она была запретной. Где-то на пути начиналась зона английского влияния, в Кашгаре стояли английские войска. Словом, туда, на юг, никак нельзя было.

Я остановился и долго вглядывался – где Янгисар. Всё-таки город можно было заметить. Где же? Может быть, мы не туда вышли? Он где-то в стороне? Каравана не видно. Либо ушел далеко, либо мы разминулись. Вернее первое. Да и неважно всё это. Только бы к воде, траве, прохладе. А утром найдем своих.

На плоской покати, километрах в двух, виднелась кучка людей. Трое. Лошади отведены в сторону. Один отделился и направляется ко мне. Надо признаться – выглядело это скорее всего заставой и от этого стало невесело. Шут его знает – могло ведь влияние англичан продвинуться на север. Тогда, если застава, я сделал большую глупость, посылая вперед «адъютанта» и доверяя ему и еще большую – отпустив

караван. Теперь путь назад отрезан и остается одно – идти вперед, а затем – что будет. Может быть, и не много было оснований для таких мыслей, но подумалось. Как иначе объяснить эту группку на тропе, ведь зря в полупустыню никто не выезжает. К тому же мы все трое умаялись – воды бы только, да и есть пора всем. Вот и полезли всякие мысли. Отъехавший от группы всадник быстро приближался, я поджидал его, не трогаясь вперед. Он подъехал, что-то весьма жарко кричал мне, но вроде без злобы, и показывал рукой на горы. Чтобы отделаться, я махнул рукой туда же и кивнул головой. Ни малейшего понятия, чего он хочет от меня, не было. Он хлестнул лошадь и поскакал. Постояв минутку, тронулись и мы, не слишком быстро, какая уж тут быстрота. Застава всё ближе и ничего угрожающего как будто нет, но всё же не совсем спокойно: зачем всё это, что им нужно от меня? Солнце совсем покраснело, но воздух по-прежнему сухой и горячий, и гнедой идет медленно, опустив голову. Наконец стало видно, что среди этих троих наш «адъютант», который держит себя хозяином. Двое сидят на расстеленном ковре. Третий в стороне держит лошадей. Оружия не видно.

Я трусцой подъехал к ним. Ко мне подбежал главный и не помог, а почти ссадил меня с лошади, держа под мышки. «Адъютант» тут же объяснил, что это они меня встречают, почет оказывают. Меня повели, чуть придерживая мою руку пальцами, к ковру, гнедого к лошадям. Тут пошли улыбки, приветствия. Мне пододвинули разрезанный арбуз и блюдо персиков. Удержаться было трудно. Взяв по персику в каждую руку, я откусил от обоих. Надо пройти такой день, чтобы понять, какой сок полился в меня. Право, хорошо, что греческие боги давно исчезли и не могли позавидовать, потому что их нектар был много хуже и грубей. И будь они живы, мне пришлось бы плохо. А в этот момент мой собеседник протянул мне только что вскрытую коробку «Казбека». Это было уж свыше всяких сил – табак у нас вышел еще в Юлдусах.

Мой собеседник, стройный брюнет лет тридцати, с худощавым тонким и смуглым лицом, тонким, немного орлиным носом. У него были плавные жесты и легкая, немного хитроватая, хорошая улыбка на узких губах. Он шанья (мэр) Янгисара. И пришел он специально, чтобы приветствовать большого человека, полковника из СССР (значит, адъютант рассказал ему о нас). Не очень ли я утомился и как себя чувствую? Так беседуем мы, пока я поглощаю, не считаясь с приличиями, фрукты. Солнце совсем садится, быстро темнеет, надо ехать. Шанья смотрит на горы – не появится тот, посланный навстречу Алексею Васильевичу и нашему казаху. Посланец повез им в куржумах дыню и большой арбуз. Но их не видно, да и не увидишь в коротких южных сумерках. Мы садимся на коней.

У меня новая забота – как пойдет гнедой? Нельзя, чтобы подо мной был плохой конь, еще хуже, если мне предложат сесть на чужого. Но гнедой будто понял это, а может быть, учуял далекий запах арыков и сырой травы. Мы не торопясь отъезжаем. Сумерки переходят в темноту, и гнедой просит удила. И всё сильней, так что веду нашу кавалькаду я, и не надо шанье придерживать своего коня, чтобы оказать вежливость гостю. Всё хорошо.

Надо самому испытать переход от зноя, жажды и усталости к такой благодати, самому ожидать неприятностей и попасть в руки предупредительного и вежливейшего хозяина, самому ощутить, наконец, окончание мучительного пути. Рассказать об этом, видимо, нельзя, потому что словами передаются мысли, иной раз чувства, зрительные, слуховые ощущения. Но рассказать о блаженстве пришедшего к прохладе тела, о снятии всеохватывающего напряжения, о заливающих сознание запахах, о вкусе, разлившемся по всему телу, – невозможно. Не для таких вещей изобреталась речь.

В километре от места встречи подъехали к первым кустам и небольшому арыку. Его вовсе не видно, разве что мелькнуло отражение какой-то звезды в воде. И сразу исчез сухой воздух с еле уловимыми запахами давно пожелтевшей травы, камня и зноя, воздух пустыни. Вместо него запахи травы, воды, дерева и сырой почвы. Такие привычные у нас, они пьянили в равной степени лошадей и меня. И гнедой еще прибавил ходу, не отдавая лидерства, держась хоть немного впереди других коней. Влажные запахи смели усталость, темные купы деревьев и кустов пробегали мимо, и примерно через час мы въехали в темный, уже уснувший Янгисар.

Во дворе мечети – деревенская мечеть всюду на востоке выполняет функцию гостиницы – уже стояли остальные лошади, наши вещи были внесены внутрь здания, были горячий чай и самый обычный полевой ужин. Как только мы скинули наши куртки – шанья исчез и через полчаса вернулся с большим блюдом фруктов. Наша жизнь в Янгисаре началась.

8. Янгисар

Как хорошо проснуться с сознанием, что нет нужды укладывать имущество, вьючиться и целый день идти под палящим солнцем. Вместо этого чай с еще теплой пшеничной лепешкой, а потом почти неограниченное количество фруктов гостеприимного Янгисара. Это ли не благодать! И такое блаженство должно продолжаться три дня, пока хоть немного отдохнут кони и мы управимся со всякими мелкими делами (тут и ковка, и ремонт вьюков, стирка, мытье, да мало ли что набежит после такого похода). Наш хозяин – мэр горда – был сама

любезность и предусмотрительность Поэтому было удобно и легко. Таким он был в течение всех трех дней и в последние минуты, когда наш караван уже ушел на Бей-лу. Проводил Алексея Васильевича, нашего «адъютанта» и меня таким же дастарханом, каким встретил перед Янгисаром.

Янгисар не выделяется ничем. Это обычный «восточный» (то есть мусульманский) город Средней Азии. Такие же глинобитные дома без окон на улицу, высокие дувалы, тополя вдоль арыков по краю улицы и фруктовые сады вперемежку с домами чуть дальше от центра. Зелень, как и положено, припорошена пылью. Женщины в чадрах. Довольно бедный базар, но по-азиатски пестрый. Всё это интересно, но давно знакомо. Мы походили по городу, заходили в лавочки на единственной торговой улице (на ней было, вероятно, лавки три-четыре), выпили в чайхане зеленого чая, поели лапши.

Всюду в арыках журчала вода. Наша мечеть, темная, прохладная, находилась в очень тенистом саду. Во дворе благоденствуют лошади, жуя вику.

«Адъютант» пожаловался, что трудно говорить со здешними людьми: «Совсем уйгур. Только много слов очень трудные».

Отдыхая, мы подолгу беседовали с шаньей и приходящими с ним гостями (надо же на нас поглядеть). По правде – такое времяпровождение – безобразие, но мы устали, кроме того, главное ведь сделано – Тянь-Шань пересечен от края до края, и это льстит Богданову и мне. Во время таких бесед, прислушиваясь к разговору наших хозяев, я ловлю много не по-тюркски звучащих слов. Да и лица: много настоящих тюрков, но другие, и наш шанья в первую очередь, имеют совсем другой облик. Спрашиваю, кто они. Убежденный и единственный ответ – уйгуры. Кажется, правильно, но мы нашли отгадку в их речи. Строй речи, насколько я могу понять, тюркский, но, пожалуй, половина слов таджикская. Немудрено, что наш «адъютант» не понимает их, и я, кое-как вспоминая полевой сезон 1932 года, помогаю ему. Кажется, моя родившаяся там гипотеза правильна: уйгуры пришельцы, пусть давние. Они ассимилировали местное население, таджиков, но и сами поддались их влиянию. Мне до этого никогда не приходилось слышать о столь далеком проникновении на север и на восток таджиков. Но, может быть, это давно уже известно специалистам? Не знаю.

В первый наш день в Янгисаре наш хозяин пожаловал к нам и с торжественным видом просил нас (опять-таки Богданова, «адъютанта» и меня) пойти с ним в местную школу. Единственно годным для детворы в нашем запасе были карамели, мы и взяли почти всё, что было у нас. На месте оказалось, что организован парад школьников в честь именитых гостей города. Что это за ребята? – то ли скауты,

то ли пионеры, они выстроились в две шеренги – с одной стороны мальчики, с другой – девочки и приветствовали нас какой-то песней. «Адъютант» сказал:

– Всё равно – ваши пионеры.

Потом преподаватели – двое стоявших во главе шеренги – подошли ближе к нам, а красногалстучная толпа сбилась в кучу и с азартом грызла конфеты. Надо правду сказать – стоять перед строем и делать важный вид – было достаточно глупо. Но делать было нечего: нас представили как больших людей, и теперь эти самые большие люди должны были хоть в малой степени расплачиваться.

На второй день мы отделались не так легко. Мэр пришел без всякой торжественности.

– Господин, очень прошу тебя, помоги человеку. Очень хорошему человеку. Ему плохо. Совсем плохо, совсем больной лежит. Может быть, помирает. Его ножом резали. Он большой человек, бай.

Лечение баев, которых пыряют ножами, не входило в наши задачи и планы. Но как отказаться?

– А куда его ткнули ножом? И какой нож – большой, маленький? Когда его ранили?

– Нож большой. Вот какой (он отмерил два пальца длины). Очень плохой человек его резал. Вот сюда (рука легла на бок живота) Третий день уже. Плохо ему. Очень плохо.

– Слушай, хозяин. Я не врач. Не знаю, смогу ли помочь. Нож большой, рана в животе. А вдруг умрет твой бай? Как тогда?

– Господин, он совсем умирает. Кто про тебя плохое думать будет. Очень прошу, пойди. Ты ученый человек.

Такой примерно шел у нас разговор. Просьба была настойчивой, и мы колебались – шутка ли нам врачевать рану в живот. И как он жив еще? Или что-то тут не так? Ведь и врач может быть бессилен в этой обстановке. Но с другой стороны – как отказать? Ведь не поверят нам, что мы не можем помочь. Будут уверены – не хотим, гнушаемся.

Положенье не из приятных. Идти очень не хотелось, и мы всю дорогу молчали. С собой скальпель, бинты, йод и еще что-то. Но главное, идем сказать, что мы не в силах и что больной умрет. Кроме того, сам бай не слишком привлекал как объект милосердия. Так и молчали, смотря себе под ноги. Наконец плотно закрытые ворота. Большой, совершенно пустой двор, какой-то неустроенный. Открывший нам мальчик и пожилой слуга, ведущий нас к дому, оба были испуганы и будто стремились спрятаться. Мы вначале подумали, что это они нас боятся. У дверей ждала женщина, почти старуха, маленькая, сморщенная. У нее всё провалилось внутрь, как в пустоту – и щеки, и рот, глаза, грудь. Это была старшая жена «самого». Глядя на нее, мы

поняли: для нее, для всего дома, для слуг и домочадцев, над всем был страх перед ним, лежащим там, за дверью. Страх даже перед бессильным. Это читалось в голосе, в движеньях, во взгляде жены, в каждом жесте всех, кто вышел посмотреть на нас.

А шанья говорил, обращаясь то к нам, то к хозяевам. Из его слов постепенно выяснилось, что третьего дня «совсем плохой человек», работник хозяина, ударил его ножом, когда тот отказал ему в небольшой сумме в долг.

– Такому разве можно давать денег? Он много должен хозяину за еду, за товары. Не хочет работать как надо. Только в долг берет, кричит – есть нечего. Совсем плохой человек.

Этот рассказ и то, что мы увидели в доме, сообщили о хозяине всё, и это отнюдь не вызвало теплого чувства к нему. Но мы пришли, и надо было приступать к делу. А что стало с бедняком? О нем молчали. И не в его ли судьбе объяснение того еле скрываемого страха, который мы видим кругом?

В душном помещении, на нескольких подстилках (я так и не отдал себе отчета, были это ковры или одеяла, скорее последнее) лежал пожилой, грузный человек. Пудов на семь и лет эдак пятидесяти. Жидкая бородка торчала вверх, лицо от бледности казалось желтым, глаза полузакрыты. В комнате нестерпимо воняло гниющим мясом, грязь.

Надо начинать. Мою руки, раскладываю вату, бинты. На больном слева, чуть пониже ребер, повязка довольно своеобразного сорта. Платок или жгут грязной материи, немногим чище половой тряпки, по краям залит уже высохшим гноем. Из-под него виден кусок виноградного листа. На тряпке, образуя вершину повязки, привязан кусок гнилого вонючего мяса и на нем черви, жирные, большие.

– Зачем мясо привязали?

– Господин, – говорит мэр – так хорошо, так мухи на рану не сядут и рана будет чистой, без червей.

Отрезаю мясо, потом жгут, его сразу не отдерешь – он приклеен гноем и приходится отмывать. Бай кряхтит, вздрагивает, стонет, но черт с ним, может и помучиться. Рана оказалась действительно без червей, так что – гигиена! Всё это очень противно, но Алексей Васильевич держится молодцом. Судя по ране, нож скользнул по ребру и прошел почти параллельно коже, так что мы в состоянии что-то сделать. Гною в ней невероятно много – ведь рана была закрыта. Пока выпускаю гной, и бай корежится, его держат покрепче. Он орет, ругается, хозяйка трясется. А я, по правде говоря, злюсь. Делаю на совесть, но пусть покорежится, не жалко. Пускаю в ход йод, обмываю, бинтую. Затем длиннейший инструктаж, как надо дальше делать. Оставляем бинты, йод, прочее и уходим.

Бай прислал нам гонорар – небольшое блюдо персиков, стоит примерно столько же, как у нас полкило картошки. Уже через день, когда мы уходили из Янгисара, бай начал поправляться.

9. Черчи

Никакого отношения к черту это название не имеет. Это небольшая деревенька среди сухих безрадостных холмов в южных предгорьях Восточного Тянь-Шаня. Не знаю, существует ли сейчас эта деревня, или жители ее, те, кто выжил и собрался с силами, уже покинули ее и переселились в другие, более удобные для жизни места. Ведь мы были там очень давно, в конце лета 1935 года.

Черчи находится почти на полпути между Янгисаром и Курлей. Мы пришли туда через два дня после выхода из Янгисара. Южные склоны всегда сухие. Лесов вовсе нет, да и трава высыхает рано. Нередко сухая степь переходит в настоящую пустыню, желтовато-серую, если только не участвуют в ее строении красные глины и песчаники. Особенно безрадостна она в районах «дурных земель» – в лабиринте сухих долин и таких же сухих гор, столь сложном и запутанном, что составить представление о его плане невозможно.

Большая дорога идет по покатой равнине, медленно спускающейся к Тариму. Его желтые воды с рядами тополей и ивы, травой и кустарниками видны в виде неясной темной полоски в пыльной дымке. С севера почти к самой дороге подходят последние отроги гор. Жарко. Ни облачка. Небо светлое, чуть голубоватое – всё от той же дымки. Жара сухая, «азиатская», и широкополая киргизская шапка из толстого войлока как раз к месту.

Так идем весь день. Нудно. Ни тебе ландшафта, ни геологии. Раз или два за день прошли по тополевым рощам. Деревья стоят прямо в сухой земле, такой сухой, что как ни жми – влаги не будет. Нет ни травинки. Где-то в глубине под галечником очередного сухого русла есть немного сырости. Вот и питаются ею тополя. А дальше снова голая земля, даже насекомых не видно.

Мы ждали деревеньки, отдыха, журчащей в арычке воды, листвы деревьев, пусть запыленной, к ужину прохладного кислого молока. И главное – прохлады. А Черчи показалось неожиданно: глинобитные дома и дувалы, и больше ничего. Нет деревьев, не видно и травы. Дворов двадцать – тридцать, не больше. Странное село и совсем нищенское.

Остановка, знакомство, развьючивание каравана. Полдеревни следит за каждым нашим движением. Наш приход чрезвычайное событие. Потом первые разговоры, знакомство с нашими хозяевами. Вероятно, уйгуры, но может быть, обуйгуренные таджики. Во всяком

случае, слышу и таджикские слова. Постепенно проступает картина бедности, почти бедствия.

Мы готовили свой обычный ужин, без всяких разносолов. Тут же рядом готовят наши хозяева. У них в казане ведра полтора воды, жменя соли и тыква. Ее вряд ли больше двух килограммов. И по половине небольшой лепешки на человека. Пришлось – что тут поделаешь – поделиться с ними и пополнить их рацион. Пока готовили ужин, узнали: вода до деревни не доходит. Раньше доходила. Только сохнет речка. Теперь вода только там, в горах, километрах в пяти или больше. Там и поля, козы, овцы. А здесь из колодца немного воды достанешь. «Хамаз боло» – всё наверху, в горах (сказано, кстати, по-таджикски). А там... Молоко, только немного, сыр – почти редкость, по самой малости есть можно. Хлеб? – Осенью всегда есть, у богатых даже до лета имеется. А так – месяца на три-четыре хватает.

– Что же едите?

– Тыква в похлебке или с кашей, молоко.

О мясе мы не спрашивали – и в селах побогаче оно почти не доступно.

– Почему так мало скота держите?

– Где держать? Травы совсем мало. Воды мало.

После таких разговоров, даже отдав продукты и пригласив поесть с нами, – ужинать неприятно. Всю деревню не накормишь. Посетителей хозяева выставляли за дверь. Но ведь они тут же и стояли, наверное. И всё-таки мы поужинали. А потом кто-то из хозяев пожаловался на мелкую хворь. Это всегда бывает в таких местах. Мы вынули наши запасы и дали им лекарств, не помню уж что. И вот пошли люди. Как в поликлинике. Многое переменилось за прошедшие годы, а тогда и в глухих уголках СССР приходилось лечить. Нельзя было иначе. Человек, который столько знает о камнях, или умеет различать всех птиц и зверей, или еще что-то необыкновенное, должен уметь лечить. И. если не лечит – значит плохой человек, не хочет помочь. В этой необходимости помочь совсем лишенным медицины людям соединялись и самый элементарный гуманизм и возможность облегчить свою работу, завоевав доверие населения. И нас, еще студентов, обучали, что надо, в меру сил своих, быть в таких углах и врачом. И мы, как умели, делали это.

Но такого, как здесь, – видеть не приходилось. Всё вместе – и отсутствие какой-либо медицины, вообще каких-либо знаний, и недоедание, и бедность. Я не мог справиться. В братья милосердия был спешно произведен Алексей Васильевич, благо ему не впервой. А люди шли. Весь вечер, вся деревня. К счастью, почти все с простыми недомоганиями. Правда, у одного вроде воспаление легких. Пришла

молодая пара. Черноволосая уйгурка, стыдясь и отворачиваясь, показала вспухшую от запущенной грудницы грудь. Как-то справился и с этим. Ну, конец, кажется.

Только кажется. В открытую дверь входят двое, что-то неся на сложенном пополам ковре. Подошли, расстелили. Красивый мальчик, лет десяти, наверное. Темные кудри, хорошие, живые глаза. Они еще больше, потому что здесь мы, невиданные люди, советские. Это слово знают тут. Мальчик приподнялся, опираясь на руки. А на ковре миниатюрные ноги урода. Живые, но как у мумии. Вот тут стало по-настоящему трудно. Отказать? Об этом и думать нельзя. Глупо ставить такой вопрос. Тут отец и мать. Смотрят на меня.

– Когда заболел?

– Давно. Раньше ходил понемногу, потом хуже. Теперь, смотри, совсем плохо.

– Лечили?

– Кому лечить? Нет у нас врача. Никто не приезжает к нам. И мулла не может. А чем платить будешь?

Начался осмотр парня. Пролежни, большие, загрязненные. Отчего сохнут ноги? Ни малейшего понятия. Туберкулез? Всё равно не поможем. В общем, мерзкое состояние. И парня жаль. Славный такой, только очень тихий. И глаза уж очень хорошие.

Отказать нельзя. Пользуюсь переводчиком и стараюсь втолковать, что сделать ничего не могу, что болезнь очень серьезная (будто они и без меня этого не знают), что надо показать хорошим врачам в больнице в Урумчи, при советском консульстве. И денег они не возьмут, и мальчику хорошо будет. Думаете, приятно такое говорить? Попробуйте.

Родители кивают головой, а глаза безучастные:

– В Урумчи далеко. Не довезти нам. Да и деньги откуда возьмем. Всё, что наше, не хватит и на полдороги.

Потом я смазал, уж не помню чем, пролежни, промыв и продезинфицировав их. Сделал повязки (кажется, надо говорить – наложил?). Дал родителям мази, марганцовки с ватой. И опять объяснил, что не могу лечить, а что дал – так это только от ран. И они ушли, долго благодарили, кланялись, потом сложили вдвое ковер и унесли мальчика. Мой Алексей Васильевич был сам не свой. Хорошо, что нет больше больных. Вызвал он меня на улицу поговорить. И набросился. И лжец я, и совесть последнюю потерял, и не советский я человек, и еще – все грехи на мне. Поспорили мы с ним горячо. Тогда он не хотел понимать, что не репутацию свою я поддерживал, делая то, что делал. Родителям помогал, да и мальчику лучше, если меньше будут беспокоить пролежни. Всё это не доходило до него,

я всё равно получил такую характеристику, что не дай бог ей в отдел кадров попасть! И хотя самому было погано – и мальчик этот, и его родители, и всё, что связано с этим, и усталость (ведь после дневного перехода принял человек тридцать, этого и врачу хватит) – всё-таки я понимал, что взвинчен парень, никогда такого не видел и плохо ему. Позже ведь он не думал так.

Вошли мы снова в дом, хотели на ночь устраиваться. Но тут открывается дверь, входят отец и мать мальчика. И будто хоругвь или мощи святые несут – так спокойно и торжественно. В руках у него кумган медный, у нее – что-то в платке завернутое. Вошли, встали. Заговорил отец. Не сразу. Наш «адъютант» начал переводить, но и так всё понимаю.

– Начальник, мы к тебе пришли. Здесь большая дорога и разные люди проходят. Давно, очень давно была большая экспедиция и большие люди ездили из Пекина. (Это, наверное, про последнюю экспедицию Свена Гедина.) И потом другая была, на машинах, франки. (Мы не сразу поняли, что это про экспедицию Ситроена, года за три до нас.) Они на восток шли. И другие ездят, наши. И не было так, чтобы они пришли к нам и помогли. Вот вы, советские, вы помогли. Ты один лечил сына. И мы принесли тебе чай, молоко, и вот, пышки. Ешь, они вкусные. При нас ешь.

На расстеленный платок перед нами поставлены были кумган, пиалы с синим кашгарским рисунком и положены китайские пышки из белой муки, варенные на пару, еще горячие.

Спокойные, сосредоточенные лица родителей. Для них обряд важен и нужен. А перед глазами – ножки-уроды с гноящимися пролежнями. Вдумчивое личико, каким я его видел полчаса назад. И больше всего хочется крикнуть и оборвать всё это. А Алексей впился глазами в меня – вот, дескать, до чего доводит ваше…

И всё-таки:

– Алексей Васильевич, Садитесь. Надо пить чай и есть.

И дальше, тоном приказа:

– Садитесь!

Мы сели. Поддерживая пальцем левой руки правый рукав халата, старик налил чай в пиалы и тихонько, концами пальцев, пододвинул пышки. И снова встал, неподвижный и строгий. Не глядя друг на друга, мы взяли пиалы и надкусили пышки. Алексей попробовал проглотить, будто подавился и бросился к двери. Его стошнило. Я медленно глотал чай и пышку. Отец и мать мальчика всё так же, не двинувшись, смотрели на меня, стояли напротив.

Кончив с чаем, я встал, поблагодарил. Мы со стариком подержали в ладонях руки друг друга, и они, не спеша, собрали всё и ушли, так

же, как и вошли. Только (не показалось мне это, оно было) во взгляде появился некий покой, удовлетворение, что ли.

Надо было спать. Меня не стошнило, но от этого не легче. И ведь они знали, что мальчик обречен, что не могли мы помочь ему и не мне пытаться лечить такого. А белая мука – это, наверное, неприкосновенный запас для него же. И что толку, что мы оставили им немного продуктов.

10. Директор из Курли

После Черчи и длительного перехода по полупустыне Курля буквально очаровала нас. Мощная мутноватая Конче-дарья течет почти вровень с улицами города. С понтонного моста видны огромные рыбины, никак не реагирующие на людей и животных. Рыбы стоят у наших ног, ожидая падающего в воду корма. В этих странах рыб не едят и не трогают. Городок тесный, почти без зелени, с узкими улочками, криком, запахами, отнюдь не среднеазиатский. По-видимому, здесь преобладают дунгане и китайцы.

Мы остановились в нем на сутки, надо было запастись кое-чем и подковать коней. Это была крайняя точка нашего пути. Дальше он поворачивал на север к Карашару и, через понизившийся Тянь-Шань, к Урумчи. Мы и так прошли больше, чем предполагалось по первоначальному плану. Лошади очень утомились, деньги совсем кончились. Только-только закупить самое необходимое и оплатить проводников.

Остановились мы в караван-сарае, не очень заботясь об удобствах. Лошади ушли под город на траву и должны были придти за нами к утру. Покупки, огромные китайские пельмени – манты, прогулка по городу и визит к уездному начальнику. Вот и все дела, так что мы рано освободились.

Во второй половине дня слуга караван-сарая доложил, что нас хочет видеть какой-то человек. В комнату вошел маленький кругленький человечек. В нем всё было круглым: тело с явно выпиравшим животиком, бритая голова с немного раскосыми глазами, даже короткие ножки и руки казались круглыми. На вид ему было лет сорок, возможно немногим больше. Войдя, он представился – имени и фамилии не помню – и добавил:

– Директор местной гимназии.

По-русски он говорил хорошо, с легким, но не китайским акцентом. Манерами напоминал, скорее всего, Павла Ивановича Чичикова, только бородка клинышком.

– Извините, что побеспокоил вас. Вы из России. Считаю долгом представиться вам. Может быть, вы согласитесь посетить нашу гимназию. Это настоящая гимназия, совсем не китайская школа.

Он явно придавал существованию гимназии в Курле очень большое значение. Мы осмотрели ее. Это было двухэтажное здание, ничем не примечательное, разве что тем, что находилось в Курле, в самом сердце Азии. Особым в школе было практически полное отсутствие учебных пособий. Директор еще в гостинице, не дожидаясь наших вопросов, рассказывал:

– В гимназии уже семь классов, и она успешно растет. Преподавание, конечно, на уйгурском и китайском языках, но и на русском тоже.

– На русском? Почему?

– Это, видите ли, полезно. Да и к тому же надо считаться с преподавательским составом. Не так вдруг найдешь учителя. Хорошо, что есть русские офицеры. Да, русские, казачьи, из анненковцев. Вы же знаете, сюда ушло много казаков.

Мы знали это.

– Что же преподается у вас?

– Мы стараемся приблизиться к программе настоящей гимназии. Китайский, уйгурский, русский языки, арифметика, алгебра, история, география. Недавно удалось начать латинский.

– Латынь? А она зачем тут?

– Ну, знаете ли, может пригодиться. К тому же заработок одному капитану. Вот мы и включили в программу.

Мы поинтересовались учебниками. Это оказалось едва ли не наибольшей трудностью.

– Нет их. Кое-какие китайские. История, география, математика – по старым русским учебникам. Нашли несколько экземпляров у офицеров. Есть русская и латинская грамматики. Но вот очень недостает учебника политграмоты. А она нужна. Есть даже преподаватель, очень культурный офицер.

Если мне не изменяет память, сам директор считал себя тоже вполне подготовленным преподавать этот предмет. Но учебники! Они обязательно нужны.

– Вы извините меня. У нас огромная просьба. Не могли бы вы, вернувшись домой, прислать нам несколько экземпляров таких учебников? Очень прошу.

Разговор перешел на личность самого директора.

– Вы по профессии учитель? Откуда вы так хорошо русский язык знаете?

– О, нет, я не педагог. Это пришлось так. Я ведь тоже из России.

Он не всё рассказал сразу. Кое-что во время этого разговора, кое-что во время посещения школы. Он был из-под Казани. Татарин. Кончил прогимназию. Специальность? Так, торговал немного. Чем?

– Ну, знаете ли… разное бывало.

В конце концов, стало ясно – он нэпман, спекулянт. Был арестован в 1928 году. Потом сбежал из Соловков, кое-как переправился на материк.

– А сюда как попали?

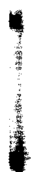
– Пешком шел, редко ехать удавалось. Почти два года. Через границу просто перебрался. И вот, видите, организовал гимназию, стал директором. В целом ничего, неплохо живу, и меня ценят.

С господином директором мы расстались скоро и перед сном посудачили о нем. А утром вышли из Курли, снова перешли по мосту Конче-дарью и, пройдя по оазису, скоро поднялись на невысокую гряду, отделяющую впадину Баграш-куля от Таримской. За ночь пыль осела, зной еще не затуманил воздух, и с перевала было видно далеко на юг. По полосе деревьев, росших вдоль русла, узнавался Тарим. За ним над пустыней и утром стояла дымка. Левее он поворачивал на юг. С востока к нему подходили хребты Курук-тага и обрывались к долине. Они были жемчужные в слабом тумане. А дальше Курук-тага скорее угадывалось, чем виднелось темное пятно. Оно было задернуто завесой пустыни и чуть просвечивало сквозь нее. Там был Лоб-нор.

В этот момент желание пройти туда, увидеть его – было самым сильным из всех желаний. Это можно было сделать в две недели. Но для этого надо было сменить лошадей, иметь деньги на обмен их. Таких сумм у нас и отдаленно не было. Мы простояли несколько минут, глядя на эти дали, и даже сейчас остаются в памяти все мельчайшие черты этой панорамы. А потом мы повернули лошадей, чтобы догнать караван, легко обогнавший нас на пути в Карашар.

11. Карашар

После Курли наш путь казался обыденным. До этого мы шли вперед, к новому. Теперь повернули вспять. И хотя шли незнакомыми местами, всё стало как бы ниже. Впереди был нетрудный путь по невысоким горам, почти нигде не переходящим снеговую линию. Это было хорошо, потому что утомленные кони не могли бы без длительного отдыха продолжать путь вроде пройденного. Хорошо и потому, что наша более чем скромная казна (при выходе из Шихо рублей 50 в золотом исчислении) почти исчезла. Несколько оставшихся рублей еле-еле могли обеспечить самые насущные потребности до Урумчи.



Короткий путь вдоль многоводной Конче-дарьи, мутноватой и совсем не похожей на Хадык в Юлдусах, питающий ее своей водой. Потом Баграш-куль, голубой от отраженного неба, в плоских желтых степных берегах. Белыми точками на нем несколько лебедей и черная россыпь уток у берега. На равнине слева от него Карашар, по-здешнему большой город. Где-то тут – зимняя ставка юлдусского вана, которого мы

не застали в горах. Времени мало, и искать встречи с ним не будем. Хотя и интересно бы было посмотреть на уцелевшего (как уцелели древние пресмыкающиеся в Новой Зеландии или «драконы» острова Комодо) живого феодала. Там, на Юлдусах, его «министр» сказал мне:

– Если война? Мы сами решим. Захотим – пойдем с китайцами, захотим – не пойдем. Ван знает, что ему надо. Он сам хозяин, властитель, и не обязан слушаться кого-то.

Наш «адъютант» выезжает вперед, чтобы получить от властей указание о нашем пристанище на пару дней, пока закупим продукты и найдем проводника. Мы получили в Карашаре для постоя большой дом китайского стиля, с двором и службами. Его жилая часть, как во всех таких домах, состоит из трех комнат: центральная, куда попадаешь с улицы, и по комнате справа и слева. Мы расположились.

Утром пришло приглашение от губернатора прибыть к нему на обед. И опять скучно, официально, с улыбками, коньяком и ханшином. Ему – ханшин, нам – коньяк, хотя попробовали и рисовой водки, теплой, с тяжелым запахом. За обедом, к счастью, было блюд не так уж много – с двадцать, наверное. И как было не вспомнить день рождения одного из крестьян под Шихо. Богатый крестьянин-китаец, у него весело, много народу, всё просто, хозяин благодушный, приветливый, приветливы и гости, для которых действительно важна улыбка и веселье чужеземцев – почетных гостей хозяина.

Мы с радостью уходили из Карашара к Алгою через сравнительно невысокие горы. Наш «адъютант» съездил в деревню и привел проводника монгола. Ведет он нас только до Алгоя, там найдем другого. Да и затруднений там не предвидится: имеется прекрасная маршрутная съемка П. К. Козлова, спутника Пржевальского, так что можем пройти и сами. До гор дорога шла по впадине Баграш-куля, ровной и скучной. Мы с Алексеем Васильевичем ехали в стороне – как всегда шла съемка, и с караваном идти было трудно. Вдруг издали вижу, как наш «адъютант» нагоняет проводника и лупит его камчой наотмашь. Бросаемся туда,

– В чем дело? Как ты можешь человека бить?

– Он уйти хотел. Я его бил. Так надо, потому что ты большой начальник. Так всегда делается.

– У нас людей не бьют. И никогда не смей, пока ты с нами. Понимаешь?

Он с недоумением смотрит на меня – как может настоящий начальник нести такую чушь. Чушь, сплошная чушь! Но всё-таки слушается, обещает И затем добавляет:

– Он теперь совсем хороший проводник будет. Так хорошо. Сам увидишь.

И действительно, ничто не напоминает о побоях. Ровный, приветливый. И, когда прощались, был явно доволен работой у нас. Вот до чего можно довести людей!

На Алгое без труда находим тополевый столб с надписью экспедиции Пржевальского – астрономический знак, поставленный Козловым. Это уже третий знак на нашем пути. Привязываемся к нему, остается привязаться еще к четвертому знаку в Урумчи. Путь этот по невысоким, легко проходимым и безлесным горам не оставил больших впечатлений. Обычные для Средней Азии ландшафты. Людей вовсе мало. В районе между Алгоем и самым западным хвостиком Турфанской впадины горы повыше. Даже конец впадины находится на высоте километра два над уровнем моря. Снега нет или почти нет, но пошли высокогорные осыпи, появились улары и теке. Здесь мы предельно близко встретились с ними. Дело было так: Мы проходили небольшой, очень острый кряж. Он темно-серой массой закрывал север, и тропа поднималась почти вдоль него. Впереди виднелась небольшая выемка перевала.

Я отстал, долго колотил молотком в надежде найти ископаемую фауну, записывал в дневник, так что караван был примерно километров в пяти впереди, а может и больше. Мой гнедой без смены пронес меня от самого Шихо и явно уставал, в последние дни это стало особенно ясно. Шел он неохотно, и здесь мне пришлось взять его в повод. А это было мучительное дело – он никак не мог привыкнуть к такому, дергал головой, упирался. В результате у самого перевала, когда он дернул сильней обычного, я споткнулся, полетел на камни и ногой сломал шейку ложа у моего тройника. Встал, ругаясь: в одной руке было сломанное ложе, а в другой – стволы с торчащим сзади длинным и острым шипом. Он был остер, как игла, и ружье превратилось в палку. Стрелять из него никаким образом было нельзя. Вечером в палатке я попробую замотать всё веревкой и хоть как-то прикрепить ложе к ружью. Так, держа ствол в одной руке, а ложе в другой, я пошел к узкой щели, по которой тропа переваливала на ту сторону. На самом верху – нам оставалось обогнуть небольшой выступ скалы и начать спуск – пришлось спешно попятиться: чуть не смяв меня, по тропе скакали теке. Они прошли на галопе, чуть дальше вытянутой руки. Не остановились, вообще будто не видели нас. Стрелять? Из чего? Из моего обрубка? Их было четырнадцать. Тут и взрослые рогали, и матки, и несколько молодых самцов, пара козлят. Испуг их был так велик, что, выйди мы из-за скалы, они, возможно, смяли бы нас. Караван был слишком далеко, чтобы вызвать такую панику. Думаю, где-то здесь на них бросился барс. Больше некому.

Дальше тропа шла вдоль осыпи. Унылые черные сланцы, зелени вовсе нет – одни скалы. Небольшой поворот – и впереди меня прямо на тропе показались три улара, всего метрах в двадцати. Это было уж слишком. Я бросил негодное ружье на камни и выругался. А потом смотрел на летящих через долину больших птиц. Надо же было сломать ружье именно в этот час! К вечеру мы встали лагерем в небольшой котловине с несколькими разбросанными по ней крупными горками. Осмотр их показал, что это лакколиты. Так геологи называют как бы застрявшие под землей вулканы, которым не хватило сил пробиться на поверхность. Расплавленная лава, поднимаясь по расчищенному ею для себя же каналу, теряет иногда столько энергии, что не в состоянии выбраться на поверхность. Лава как бы накачивается к верхнему концу канала и приподнимает вышележащие слои, образуя под ними более или менее правильной формы «каравай». Позже лава затвердевает и «каравай» становится каменным. Он сидит на тонкой каменной ножке – канале. Получается что-то вроде спрятанного в окружающие породы каменного опенка. Такие вот «караваи» сидели в осмотренных нами холмах. Правда, ножек не было видно – они слишком тонки и редко наблюдаются, всегда почти остаются спрятанными в недрах. Но «караваи» застывшей лавы видны были превосходно. Породы, в которые проникла лава, были впоследствии собраны в складки, и потому «караваи» наклонились в разные стороны. Были видны не только верхние части, но и донышко. На их осмотр и описание ушел целый день.

Дальше до самого Урумчи ничего особенно занятного мы не встретили. А то, как мы с Алексеем Васильевичем полночи шли по снегу, спускаясь с перевала и не зная, правильно ли мы идем к юртам, которые должны были быть сразу за перевалом, – это даже не приключение, только досадная ошибка.

Перед Урумчи, километрах в тридцати от него, мы встретили в горах небольшой поселок осевших на этой земле русских. Из казаков. У них мы ночевали. Колесной связи с городом у них не было – только вьючная тропа. Эти несколько семей были буквально оторваны от всего света, практически не бывали в Урумчи, ездили туда только для самых необходимых покупок. Весь мир для них сузился до поселка и небольших полей вокруг. Все они были совершенно неграмотны.

Перед следующим вечером, выйдя на большую дорогу, мы увидели три зубца Богдо-ула – скоро уже и Урумчи. Тут и закончились оба наши пересечения Тянь-Шаня. И хотя мы ждали встречи со своими, ждали почты и чистых постелей, возбуждение не могло пересилить усталости. Она пришла сразу, тяжелая, липкая. Кажется, что при подходе к городу больше всего мне хотелось бани.

12. Возвращение

Когда окончен трудный путь и вы лежите на постели в тепле и чистоте, приходит усталость, и надо справляться с нею поскорей. Впереди путь в Шихо и еще месяца полтора маршрутов в предгорьях, где снег ляжет позже и не так глубок, как в горах. В первый вечер в домике центра экспедиции были баня, чай с булочками и ужин. Серьезные разговоры отложены назавтра. Груда газет ждет нас – мы не видели почты и людей полтора месяца. В комнате стоят две кровати у противоположных стен. Еще светло, но мы оба уже вытянулись и блаженствуем. Я читаю газеты подряд. Алексей Васильевич – от последних номеров к старым. Покой и мир. И вдруг:

– Сволочи! Что же это такое?

Он никогда не ругался, а сейчас бушует, и не поймешь отчего. Обеспокоенный, пытаюсь узнать причину. А когда понимаю, хочется, пожалуй, улыбнуться. Алексей Васильевич молод, очень молод даже для меня, тридцатичетырехлетнего. И реакции иногда уж очень непосредственные, а тут еще и усталость. В последних газетах – вести о завершении перехода туркменских конников из Ашхабада в Москву. Переход показательный и массовый. Их сопровождают автомобили, походные амбулатории, врачи, высококвалифицированные ветеринары, у них радио, запасы фуража. Тяжелый переход с успехом закончен, и слава туркменскому текинцу! Но Богданов взбешен:

– Попробовали бы они, без фуража, с нашими перевалами без счета! И травы мало. А обошлось без сбитых спин, без травм. И только устали.

И снова он кипятится, обиженный за нашу работу, за наших коней и наших рабочих. В конце концов с неохотой принимает положение, что для кавалеристов проделанный путь почти подвиг, нечто из ряда вон выходящее, а для нас это работа, наша обязанность и будни.

– Всё равно не так, Юрий Михайлович! Ведь нам было трудней! И прошли!

Но вот снова наступили покой и мир, мы продолжали прерванное чтение.

В Урумчи короткий отдых. Пару дней бродим по городу, покупаем еще дефицитный у нас шелк в подарок нашим близким. И подолгу смотрим на трезубец Богдо-ула, повисший над полупустыней. Успеваю съездить с сотрудниками консульства на охоту, привозим несколько уток и фазанов.

Лошади очень утомлены. Мы немного боимся за них, но болезней как будто нет. Выпрашиваю у начальства грузовик, на него грузим трех коней, кладем пару мешков овса и отправляем в Шихо. Остальные дойдут сами.

Мне необходимо остаться еще ненадолго – мало ли мелочей надо оформить. Завершаем покупки, в последний день самые интересные, потому что в те годы в Урумчи было всё шиворот навыворот: в лавке на виду самые дешевые ходовые товары. Надо выразить недовольство, и тогда купец, всегда китаец, открывает дверь и ведет вас в заднее помещение, поменьше. Там совсем другие ткани, другие сорта обуви – всё другое, лучше. Но не берите много. Еще раз выскажите недовольство плохим товаром, и вам откроют каморку или попросту сундук с редкостями. Они дороги, но какие рисунки, какие расцветки! И тогда пожалеешь, что столько денег истрачено на то, что видел раньше. И снова улица. Харчевни с мантами, лапшой и пышками на пару. Зеленый чай, а если гостю угодно, то и трубка с опиумом. Не совсем открыто, но для всех.

На нашем пикапе-газике с неизменным Виктором за рулем вновь едем по большой дороге в Шихо. Очень быстро остаются позади деревушки и городки. Только один раз засели мы в грязи столь плотно, что своими силами выбраться не смогли. На помощь пришли лошади из проходящего каравана. Их около десяти, но и они не в силах стронуть с места наш пикап. Тогда Виктор заводит мотор и, взревев им, включает свет. Кони в ужасе шарахаются и выносят нашу машину на сухое место. А потом их долго поглаживают, и они всё еще испуганно всхрапывают, косясь в темноту.

Одна, другая ночевки в придорожных харчевнях, где рядом с нами сидят пастухи и батраки, направляющиеся на зиму домой. Они сверхэкономны после летних заработков. Чуть-чуть еды на обед. На ужин – чай и трубочка, после которой не хочется есть до самого утра и которая так дешева. Я раз попробовал, нарушил запрет – и свой собственный и формальный. Противно, а вкус и запах попросту ужасны. Удивительно, что может прийти желание повторить пробу.

Мы едем среди бурых осенних красок и к вечеру прибываем в Шихо. Там встреча после долгих дней разлуки, рассказы, разглядывание карт и образцов. Наш калмык-торгоут, мой бывший «раб», благоденствует, отъелся и явно счастлив. Вскоре мы двинулись на восток искать вдоль предгорий места возможных нефтяных залежей. «Керосиновая гора» под Шихо явно указывала на такие возможности. Стало холодать, по ночам стоят морозы, даже днем всё чаще не оттаивает. С нами были только легкие спальные мешки, и мы перешли из палаток в юрту. После горных переходов, после их незабываемых впечатлений работа в холмистом краю казалась спокойной и легкой.

День за днем шло простое картирование, и, сами собой, обозначились еще 4–5 новых, по-видимому нефтеносных, структур. На

склоне одной из них было отмечено даже небольшое просачивание нефти на поверхность. Оставалась проверка на золото нескольких выходящих из гор речушек, в которых китайские старатели добывали небольшое количество металла. Стало трудно работать – мороз вполне зимний, текущая вода застывала на промывальном устройстве. Мы достали пару больших казанов и в них доводили воду до кипения. Ее ведрами вливали в воду сплотков и таким образом смогли продолжить опробование. Наконец довели промывку до конца. И – нечего скрывать – все этому очень обрадовались.

Оставалось свернуть партию, рассчитаться, продать лошадей – и домой. Наши с Богдановым лошади уже отдохнули и начали отъедаться даже на сухой зимней траве. Рабочие покидали нас неохотно. Они были богатыми – по 10–20 рублей на брата. А под самый конец было такое «представление»: шла укладка багажа, коллекций, составлялся отчет для бухгалтерии. Ко мне подошел наш торгоут, с ним его жена.

– Начальник, ты едешь в свою страну. Скажи, можно мне ехать с женой?

– Зачем тебе ехать? Что ты там делать хочешь, да еще с женой?

– Значит, жена здесь останется, – лицо его стало грустным, – я один должен ехать. Ты мой хозяин. Ты купил меня, и я еду.

Вот так. Тогда, в начале работы, казалось, он понял всё – и что свободен, и что не хозяин я ему – всё. А на деле: «Ты купил меня». Значит, в его голове все эти месяцы он был мой, и не два-три дня, а целое лето был у меня «раб».

– Слушай. Тебе сказали – ты свободен. Делай, что хочешь. Ты – свободный, свободный. Я тебе не хозяин. Ты работал у меня, я платил. Теперь работа кончилась, я уеду. А ты останешься, с женой. Понял?

Это была радость, настоящая, большая. И счастье – так он взглянул на жену. Понял. Наконец-то!

Вот и конец. По зимней, скользкой дороге едем в Чугучак. Кутаемся в полушубки. Холодно. В пути сбиваю из винтовки пару фазанов – они поедут со мной в Москву. И прощай, Синьцзян.

Это была, вероятно, последняя русская экспедиция по нехоженым европейцами местам Центральной Азии. Такая, как экспедиции Пржевальского, Козлова, Свена Гедина. Но, в силу советской секретности, неизвестная людям. А может быть не только «в силу секретности», а и потому, что инициатор ее – зам. начальника ВИМСа, большевик с 1917 года Д. Е. Перкин был расстрелян в январе 1938 года, а благословивший экспедицию Серго Орджоникидзе, предчувствуя неизбежный арест и зная характер своего друга Кобы, вовремя покончил с собой, чем избежал шель-

мования. А книги и работы арестованных всегда изымались – будто их и не бывало.

Сейчас эти места вполне обжиты. И люди и обстановка другие. Даже географические названия поменялись или поменяли транскрипцию. Надеюсь, что теперь всё-таки в эти края проникла медицина и что исчезла вопиющая бедность населения. Не знаю, разрабатываются ли открытые экспедицией месторождения и рудопроявления. А людей, сделавших эту работу, давно нет. Кто умер, кто сгинул в ГУЛАГе. Нет даже фото – секретно было.

Глава 7

ВПЕРЕДИ – НОРИЛЬСК

Конец тридцатых

Шла подготовка к XVII Международному геологическому конгрессу в Москве. Легко общающийся с людьми, знающий три иностранных языка, способный молодой ученый Юрий Михайлович Шейнманн был назначен ученым секретарем Оргкомитета XVII Конгресса. Шла интенсивная подготовка, общение с членами делегаций – огромная организационная работа. И подготовка собственных докладов. А после сессии – издание Трудов Конгресса. Работа захватила Ю. М. целиком. Об этом времени могли бы хорошо рассказать его сотрудницы тех лет: Наталья Гавриловна Маркова, Наталья Андреевна Архангельская и Кира Николаевна Тюляева. Последняя стала потом большим другом нашей семьи, много помогала и Ирине Павловне, и особенно нам, дочерям, а потом и моим детям и даже познакомилась с нашей мамой. Я часто бывала у нее дома, знала ее родителей. Но никого из них уже нет…

А я – что я знаю об этом? Что он много работал? – Да.

Что потом убрали все его труды и самое имя его из печатных изданий Конгресса? – Да.

Что его доклад, прочитанный на Конгрессе, увидел свет только через много-много лет? – Да.

Сотрудник Института истории естествознания РАН доктор геолого-минералогических наук Игорь Александрович Резанов пишет:

> «На материале Азии Ю. М. формулирует ряд общих закономерностей тектонического развития Земли. <…> Пионерской его работой была статья «К истории Синийского щита» (1937), в которой, впервые в мировой литературе, раскрыты закономерности тектонической эволюции Китайской платформы и ее обрамления. <…> Именно тогда, в 1937 году Ю. М. Шейнманн на фактическом материале обосновал новую концепцию в эволюции

земной коры – переработки геосинклинальным процессом ранее существовавшей платформы. Подчеркнем, что эти его идеи шли вразрез с общепринятой концепцией о последовательной смене геосинклинального режима платформенным.

Итоги своих размышлений о тектонике Азии Ю. М. доложил на XVII сессии Международного геологического конгресса, состоявшегося в Москве летом 1937 года. Доклад этот был опубликован лишь в 1946 году. В противоположность широко распространенной концепции, идущей от М. Бертрана и поддержанной Г. Штилле, о существовании глобальных геотектонических эпох (каледонской, герцинской и альпийской), завершившихся глобальными же орогеническими (складчатыми) движениями, Ю. М. выдвинул концепцию асинхронного развития востока и запада Евразии. Отметим, что выделение мезозоид Тихоокеанского кольца было сделано до него, но в работах его предшественников обращалось внимание лишь на более раннее окончание геосинклинального процесса. <…> Ю.М. Шейнманн пишет, что кайнозойская орогения создает в восточной Азии новые складчатые комплексы, план которых отличается от плана мезозоид. Его вывод – нет глобальных эпох складчатости, геосинклинальные циклы разновременны на разных сегментах планеты.

В этом докладе на XVII сессии Конгресса Ю. М. Шейнманн раньше Г. Штилле сформулировал проблему регенерации структурных планов. <…> Оригинальные идеи Ю. М. Шейнманна были опубликованы только в 1946 году, а дальнейшее развитие получили в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов. А. А. Богданов, готовя материалы к тектонической карте страны, пошел по пути Юрия Михайловича, отметив несоответствие тектонических этапов в ее европейской и азиатской частях. В полной мере асинхронность тектонической истории востока и запада Евразии была расшифрована академиком А. Л. Яншиным при составлении под его руководством тектонической карты Евразии (1966). <…>

Потребовалось 30 лет, чтобы идеи Ю. М. Шейнманна об асинхронном развитии Евразии стали своего рода «законом» в геотектонике. Столь же длительное время утверждалась и его идея о заложении геосинклинали на месте былой платформы.

> Помимо научных исследований Ю. М. Шейнманн в середине тридцатых годов выполнял огромную организационную работу, будучи ученым секретарем оргкомитета... Возложенные на него обязанности требовали постоянного общения с зарубежными геологами, и это вскоре послужило поводом для его ареста».

Самым главным внутрисемейным событием был арест осенью 1936 года нашей матери. Весной 1937 года был приговор – пять лет Колымы. Ее мать, нашу бабушку Веру – за дочь – отправили в ссылку, в Челябинскую область, в степное село Чаша. А нас с сестрой забрал к себе отец, в свою крохотную московскую квартирку. Так что детдома мы избежали. Он был неминуем, этого тогда мы не понимали – просто ведь «им» приглянулась наша хорошая ленинградская квартира, иначе и бабушку в ссылку бы не отправили. С нами в Москву поехала наша няня, Анна Ильинична Козлова, пришедшая к нам в дом, когда мне было несколько месяцев и ездившая с нами в Иркутск. Она сказала: «Платите мне или не платите, но, пока не вернется мать, я детей не оставлю». Вероятно, кроме привязанности, здесь играло роль и религиозное чувство, сознание своего долга как крестной матери: чтобы не сидеть с некрещеными детьми, она, тайком, окрестила нас – меня безусловно, но, кажется, и Ладу – Людмилой. Я даже знаю, где меня крестили – в Греческой церкви, там, где сейчас концертный зал «Октябрьский», на Греческом проспекте. Мы потом часто ходили в эту церковь с няней, и она давала мне просфору.

Не думаю, что Ирина Павловна была довольна приездом няни – ведь она была свидетельницей ее приходов к нам в дом после отъезда мамы из Иркутска и попросту, прямолинейно, осуждала всё произошедшее. Но, так или иначе, вновь возникла семья. У Ирины Павловны никогда не было детей, и она искренне привязалась к Ладе. Приняла бы и меня, но я была «porcupine», как она говорила – стрелялась иголками, как рассерженный дикобраз.

Это был единственный год, когда отец занимался нами, уже не младенцами – я была подростком, Лада уже пошла в школу. На меня проецировались все детские увлечения отца: учил меня собирать марки, серьезно, с каталогами, с вариантами, с обменным фондом; подарил мне книги Пржевальского, Козлова, подписку на новое издание Брема.



В доме были совместные игры «в географию», «в знаменитых людей». Очень любили буриме. В этом принимал участие и дед Миша, вернувшийся в 1933 году из Франции, где он проработал

восемь лет представителем Советского Нефтесиндиката – он приходил к нам по выходным.

Был и «дядька Сережка» – младший брат отца, геофизик, и Аля Лунц – друг юных лет обоих моих родителей профессор-биолог Альберт Максимович Лунц. Загвоздка игры была в том, чтобы, когда придумывали рифмы, на которые надо будет написать стихи – включить такую, которая бы никак не вязалась по смыслу с остальными словами – кто как сумеет вывернуться! Играли все, и взрослые и дети.

На какой-то из праздников отец устроил «дастархан» – на полу расстелили ковер, на него скатерть, восточные сладости на блюде, в пиалах, в косушках, зеленый чай из пиал; он – хозяин, в полосатом шелковом халате, в чалме – угощает всех нас.

В сентябре было обещано взять меня на рыбалку, рано утром, на рассвете. Ночью услыхала голоса в коридоре, зажгли свет; шумят. Собираются? Почему меня не разбудили? Вскочила. Чужие люди и дворник Вася – большой красивый добрый парень, страдающий эпилепсией.

– Что? Зачем? – Даже не испугалась – настолько всё было нелепо. Испуганное лицо Ирины Павловны. Отец держится как будто ровно, но голос слегка дрожит: «Ничего. Иди спать».

Как он это пережил, описано в его рассказе «Игумнов» (по-моему Игумнов – это ширма, как кукла у Образцова – вроде бы и не я, а кукла или Игумнов – можно многое сказать, что о себе – неудобно).

Как они похожи, эти воспоминания об аресте, о тюрьме! Сейчас их много, и мужских и женских. Публика уже почти не читает их.

«Хватит возиться с реабилитированными!» – сказала Вера Панова, когда стали возвращаться не единицы, а десятки и сотни писателей и ученых. Нет, не хватит! Молодежь уже вообще не верит, что такое было. Что вручную бесправные, безмолвные рабы Государства валили лес, прокладывали дороги, строили шахты и города, добывали золото, работали на урановых рудниках – всё бесплатно, за пайку хлеба. Мне рассказывал один строитель, что ему сказали: «Проектируй как тебе надо, людей дадим, сколько потребуется!» Человеческая жизнь ценилась ни во что. Но власть имущие понимали, что для стройки нужна не только мускульная сила. Отлавливался и нужный интеллект, нужные бесплатные специалисты. Возникали «шарашки», где создавались относительно сносные условия для работы рабов высшего сорта, интеллектуалов. Так было и в Норильске.

Норильск

Что я могу сказать о Норильском периоде? Не любил он говорить об этом, почти не рассказывал.

Знаю, что этап был очень трудным: в трюме баржи, вместе с уголовниками. Об этом написано в его рассказе «Игумнов», отрывок из которого я здесь привожу.

Игумнов

Игумнов прислушивался. В полутьме туманного утра чуть слышно шепчутся о борта барки волны реки и монотонно бьет колесами буксир. Значит едем. Трюм, кое-как приспособленный для пребывания людей. Три этажа нар. Между ними аршинный проход. Под лестницей грандиозная параша. Публика спит. Часа через два поднимутся все, и трюм загудит от страшных, надоевших в повторяемости, разговоров. Но они заражают, и говоришь, зная, что это не нужно, потому что ничего не можешь. Игумнову лень подняться выйти к лестнице, ведущей на палубу. Надо бы и сегодня. Эти минуты лени лишат его единственного удовольствия за сутки: набрать воды для арестантов. Набирать ее не так уж весело. Но это единственный – за исключением очистки параши – способ побыть хоть несколько минут на воздухе и увидеть реку. И ни в наборе воды, ни в выносе зловонных ведер – нет ни капли унижения. Игумнову часто кажется, что командующие этим парадом сами унизительно боятся стада баранов в людском образе и поэтому выставляют у спуска в трюм ручной пулемет. Поэтому бешены ругательства, когда кто-нибудь поднимется по лестнице из трюма выше, чем это разрешено. Так ругаться могут только насмерть напуганные или униженные и не понимающие этого люди. Ясно, что, покричав с минуту и взвинтив себя, такой конвоир может пристрелить. Вот этот самый, который только что тайком сбросил в трюм папиросы. Потому что когда он кричит – он в панике, а в панике ведь даже волк перескакивает внушающую страх нить с флажками.

Но сегодня не хочется час ожидать вместе с другими на лестнице, оглядывать всех и мучиться – кого выберет конвойный набирать воду. Лучше полежать. С места виден люк и в нем, над лестницей, растрепанные хвосты белесых облаков и синева. Так и полежать, пока тихо. Как странно складывается жизнь в «неуютных» условиях. Еще не видны все грани поворота, но они уже ощутимы. И странно вспыхивают огоньки горячего чувства и интуиции, иногда глубокого провидения. И не поймешь, последние ли это улыбки умирания или мостики в грядущую жизнь… Игумнов думает о мире блатарей, так просто приоткрывшемся ему за этот месяц. Он счастливец – целый

месяц провел на воздухе, подготовляя к приему эшелонов пустырь на берегу реки. И видел зеленые лица полулюдей-полутеней, видел их неуверенную походку, слепоту в сумерках и печать не то смерти, не то тления на каждом. Это люди, проведшие 2–3 года в каменных мешках усовершенствованных тюрем. Они за 4–5 дней розовели, начинали улыбаться легкой солнечной ласке и воздуху пустыря. И, по мере их приезда, становилось ясно, как велики залежи людей в России, если после такого кровопускания – страна выправлялась и шла по своему пути. И становилось ясно, что все они и он – вне хода, сняты со счетов. И ясна беспомощная никчемность, вне привычных условий, этих ученых, инженеров, литераторов. И это, может быть, тяжелее осознавать, чем всё другое. Ибо это и есть приговор грядущего.

Медленно двигается караван с несколькими тысячами невольников к далекому лагерю. <…> Наконец у цели. Под полуночным солнцем прошли они, под окрики каких-то неведомых конвоиров, в огороженное колючками место. Кое-как, в грязных бараках, тесня друг друга, улеглись на голые доски нар. И, как два несводимых мира, сталкивались в уже ослабленной сном памяти – неяркое, как бы с улыбкой холодного сострадания, солнце над низкой, почти голубой рекой, и грязь, окрики и звериная усталость ослабевших в страшных баржах людей. Этап прибыл. <…> В этом, последнем перед местом назначения, пункте, опять обнаглели урки. Грабежи, попытки уйти с награбленным и в ответ – репрессии.



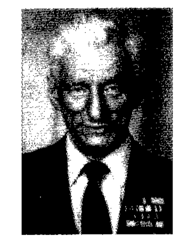
Из воспоминаний *Галины Николаевны Баженовой:*

«В 40–50-е годы Норильск строился. Строился он на залегавших вблизи поверхности скальных выходах, а бараки для заключенных стояли, утопая, прямо в тундре, между собственно Норильском и горой Медвежьей, где начинался рудник, и между Норильском и горой Шмидтихой – угольным месторождением. В 1971 году я застала только два уцелевших барака от Норильских лагерей – остальные были уничтожены. В тундре валялась колючая проволока, остатки строений. В одном из бараков располагалась химическая лаборатория геологического управления. Внутри всё перестроено... а снаружи – это угрюмое, утопающее в тундре, нахохлившееся покосившееся здание. Сбоку сохранился карцер (в нем был склад химикатов), собачники.

А кладбища, окружавшие эти бараки? Это низенькие столбики, наклоненные из-за вечной мерзлоты в разные

стороны, иногда, очень редко, низенькие кресты, поставленные близко друг к другу, без всяких фамилий, но со стотысячными (!) номерами вместо них. Я видела остатки этих кладбищ, большая часть их уже была поглощена тундрой или застроена всякими времянками... Место гибели сотен тысяч людей. Где-то здесь и отбывал срок Юрий Михайлович. А эта знаменитая полярная дорога Дудинка – Норильск, 100 километров по тундре. Поезд идет со скоростью 15–20 км в час. Осторожно, покачиваясь, наклоняясь, притормаживая. Кажется невольно, что пробирается он по костям безвестно погибших строителей-заключенных. Ведь мороз здесь зимой бывает больше 50 градусов, а длится она 9–10 месяцев. Полярная ночь, недостаток кислорода, бураны. Бывает, за лето не успевает растаять лед на озерах. Мы застали такое лето, когда реки вскрылись только в начале июля, на озерах лед вообще не сошел, а в августе нас уже завалило полуметровым слоем снега. Известен случай, когда вьюгой была занесена железная дорога на несколько километров вместе с поездом и людьми, и их в течение двух недель отыскивали и откапывали. *Мн*е попался журнал радиста от лет, предшествующих массовым ссылкам. В этом журнале писалось, что в условиях Норильска должны работать здоровые мужчины до 35–40 лет, не более одного года, с обязательным последующим лечением в санатории. Юрий Михайлович проработал там 6 лет...»

Так писала Галина Николаевна Баженова, работавшая в группе отца в ИФЗ.



А его товарищ и сослуживец по ВИМСу, доктор геолого-минералогических наук *Ефим Михайлович Эпштейн*, возглавлявший разведку Гулинского месторождения впоследствии, в послевоенные годы, крупный специалист по карбонатитам и щелочным породам, вспоминает:

«Мы часто встречались с Ю. М. на различных докладах и совещаниях, при этом всегда садились рядом, чтобы можно было обменяться мнениями. Однажды мы сидели рядом на каком-то докладе в Геологическом институте АН, Ю. М. передал мне тоненькую красную папку, в которой что-то было, а что – он не сказал. «Заберите пожалуйста, а дома посмотрите и сохраните», – сказал он. Видимо, экземпляров было немало, и странно, что об этих текстах никто не слышал

(как оказалось). У меня эта папка долго хранилась дома – в то время это было нужно. Где-то в начале 70-х годов Юрий Михайлович попросил меня вернуть эту папку. Я ее вернул. Естественно, я прочитал этот текст много раз, поэтому многие вещи помню почти наизусть Думаю, что изложение некоторых из этих рассказов будет интересно, так как воспоминаний о его заключении не сохранилось».

Далее Ефим Михайлович приводит рассказ от первого лица, так, как он его запомнил. Естественно, что в рассказе по памяти о давно прочитанном могут быть неточности и ошибки, и они есть. Поэтому прямую речь, якобы отцовскую, я не выделяю тем шрифтом, как его собственные рукописания. О неточностях ниже.

Куда делась упомянутая красная папка – не знаю. Думаю, что папина жена Ирина Павловна сожгла ее вместе с письмами после его смерти. Ниже – пересказ написанного, как его запомнил Е. М. Эпштейн:

«Я возил тачку в подземном руднике в Норильске. К тачке я был прикован одной рукой, на спине был №. И вот однажды по штреку от одного конвоира к другому прозвучало: «заключенного №… (мой №) – к начальнику Комбината» Единственная мысль, которая пришла в голову в это время, это мысль, что меня поведут на расстрел… Конвойный повел меня. Он вывел меня из шахты, мы прошли двор и вошли в заводоуправление. Когда мы вошли в огромный кабинет, где сидели два человека, я услышал слова: «Конвойный, выйти! А вы – Юрий Михайлович Шейнманн, начальник такой-то экспедиции в прошлом?» – «Да». – «Садитесь».

Это было потрясающим. Я уж думал, не случилось ли какого-нибудь антисталинского переворота. Человек, задававший мне вопросы, был, как я узнал потом, заместителем министра внутренних дел А. П. Завенягиным. Ему в Москве было поручено заняться норильским никелем… Для броневой стали никель был совершенно необходим, поэтому было принято решение отправить такого человека, как Завенягин, директором Норильского комбината, при этом он оставался и заместителем министра внутренних дел. В Москве у него был кабинет, где, по возвращении из Норильска, он давал указания всем начальникам лагерей, поэтому власть его была безграничной. Кроме Завенягина за столом сидел второй человек – начальник Норильских лагерей. Я его знал, но никогда бесед

> с ним не имел. Несколько вопросов – несколько коротких ответов – я понимал, что человек этот очень занят. Но сразу ощутил какую-то благожелательность и услышал некоторые короткие объяснения. Завенягин сказал, что Правительство поручило ему для решения важного вопроса – освоения норильского никеля – собрать со всех лагерей страны заключенных, которые могли бы заниматься разными видами практической и научной деятельности для того, чтобы ускорить строительство. Дальше последовали совершенно удивительные слова Завенягина: «Скажите, Юрий Михайлович (мы вас переведем в геологическую службу), где бы вы хотели работать – здесь на комбинате или в геологической партии?» Это было настолько потрясающе, что я растерялся, но всё-таки сразу сказал: «Конечно в геологической партии»...

Далее Е. М. Эпштейн относит этот разговор к 1942 году и считает, что именно после него состоялась экспедиция на Меймечу (см. ниже). Но здесь он ошибается. Фамилия Шейнманна фигурирует на ряде геологических отчетов 1939 и 1940 годов. К 1940 году относится находка и первичная разведка Каерканского месторождения углей вблизи Норильска (совместно с А. И. Куличенко и П. И. Савенко). В том же году Юрий Михайлович проводил разведку известняка, очень нужного для строительства Комбината. Об этом упоминается в его очерке «Хозяин тундры».

«Хозяин тундры»

«Хозяев» тундры и тайги много, и всегда это человек «сурьезный», положительный, сильный и – в каком-то смысле – удачливый. А тот, которого я знал, был небольшого роста, щуплый, сухенький. Нос большой, прямой и с краснинкой. Подбородок вперед вытянулся. И не охотник он, не рыбак, хотя Север знал хорошо.

Знал я его в тяжелое время – 1940–1942 годы, когда процветали лагеря и было в них насовано тьма-тьмущая интересных людей. Всяких. И гибли они в соответствующих количествах. Но Александру Венедиктовичу повезло – вместо страшной 58-й он был приговорен по гражданской, за халатность и всего на три года. Конечно, и это не удовольствие. Но ему не было заказано жить подальше от лагерей, вне города, и срок проходил спокойно, без крупных неприятностей.



Помогло ему – я думаю – он сам никогда об этом не говорил – то, что его дочь была замужем за старшим сыном Сталина, тем, который был прижит от курейской крестьянки, тем, что отказался от отца, написав ему, что следовало бы раньше вспомнить брошенную с не-

смышленышем в далекой северной деревушке крестьянку. За эт
преступление (не за то, что отец бросил сына и его мать, а за то
что сын посмел написать это отцу) – приказано было не вспоминат
об этом сыне. Так он и служил артиллерийским офицером, не ше
дальше средних чинов и командовал после войны батареей. Не знак
насколько точны эти сведения, так говорили об этом люди на север
Главное же в том, что даже столь слабые связи позволили Александр
Венедиктовичу избежать 58-й статьи и сравнительно легко отделатьс

Я познакомился с ним, когда он был уже признанным «хозяино
тундры». А не так-то легко попасть в число таких «хозяев» (не в га
зете, а на месте, у старожилов). У нас с ним была даже дружба, хот
близко мы с ним встречались только дважды. Вот об этих встреча
и пойдет речь.

Мне поручили разведку известняка. Под Норильском известня
редкость, и получить его для строительства было крайне нужн
Хотели даже свой цемент выделывать – с юга его везти было и дорог
и очень хлопотно. Тогда, в наших условиях, единственным методо
разведки такого полезного ископаемого был проходка шурфов, вруч
ную. Глубина их должна была быть большой, метров 20–25. Надо был
отправить бригаду километров за 30 от поселка и всю зиму долбит
вернее взрывать, камень. Бригада, конечно же, заключенных, уголов
ников – политических не разрешили бы вывозить на волю, за зону

Мне посоветовали взять производителем работ Александр
Венедиктовича. Он согласился и стал собирать хозяйство. А когд
дошло до подбора кадров, он сказал решительно:

– Надо народ посерьезней. На шпану не соглашайтесь – с не
одна морока.

И стал отбирать. Народ всё крепкий, не самый молодой, но в сил
О том, умеет ли работать на шурфах – интересовался, но, главно
чтобы не шпана.

Собрал человек 25. Если сплюсовать все их сроки приговоро
получилось бы, наверное, лет 300. Если собрать в кучу все ограбле
ния – непривычному человеку может стать скучно. А если добавит
к этому не менее десятка убийств, то и вовсе неладно можно себ
ощутить. Вот с этой-то публикой и вывезли его в тундру, уже по снег
Поставили палатку, наладились и начали работать.

Дело это нелегкое. Зима холодная. Не редкость пурги. Казалось б
с такой шатией нужен глаз да глаз. И строгость. И дисциплина. Иначе ка
бы с такой публикой справиться, даже если учесть, что поваром и помо
ником бригадира был не преступник, а раскулаченный и с ним его сы

А на деле выглядело так – я не раз это видел, подолгу живал у ни
и перестал быть начальником и чужим.



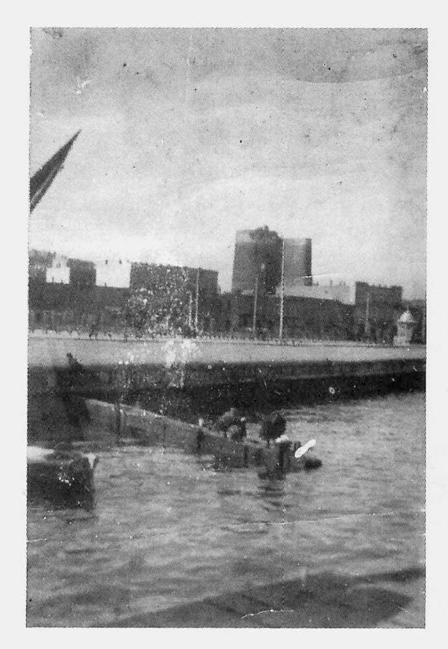
Михаил Владимирович и Лидия Эммануиловна Шейнманн с сыном Сергеем. Под Киевом. 1905



братом Сергеем. Киев. 1905



Юра Шейнманн. Киев. 1904



Баку. Набережная
и Девичья башня. 1910



Юра с тетей Лизой. 1910

Юра (слева) и Сергей на берегу моря с родственницей. Баку. 1910

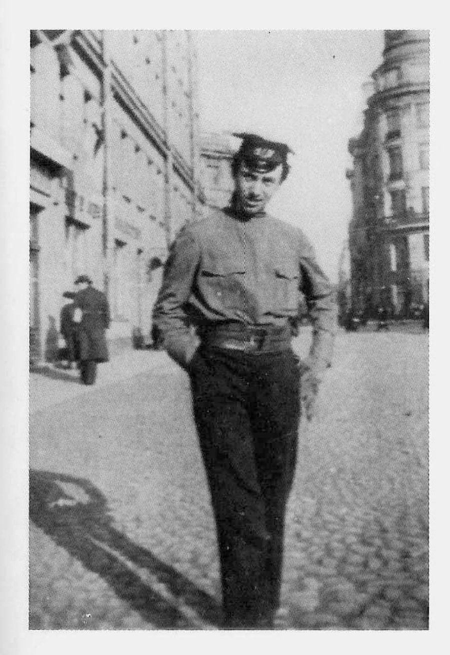


На Клухорском перевале. Справа М. В. и Л. Э. Шейнманн,
в центре проводник, слева Юра и Сергей (стоят) и их приятель



Юра Шейнманн. Баку. 1914

Кавказ. «Там впереди гора Белалакая»



В Петрограде. 1917



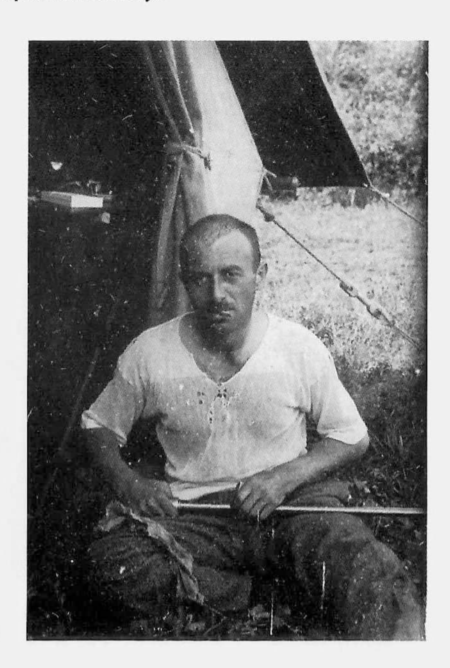
Нина Гаген-Торн. 1916



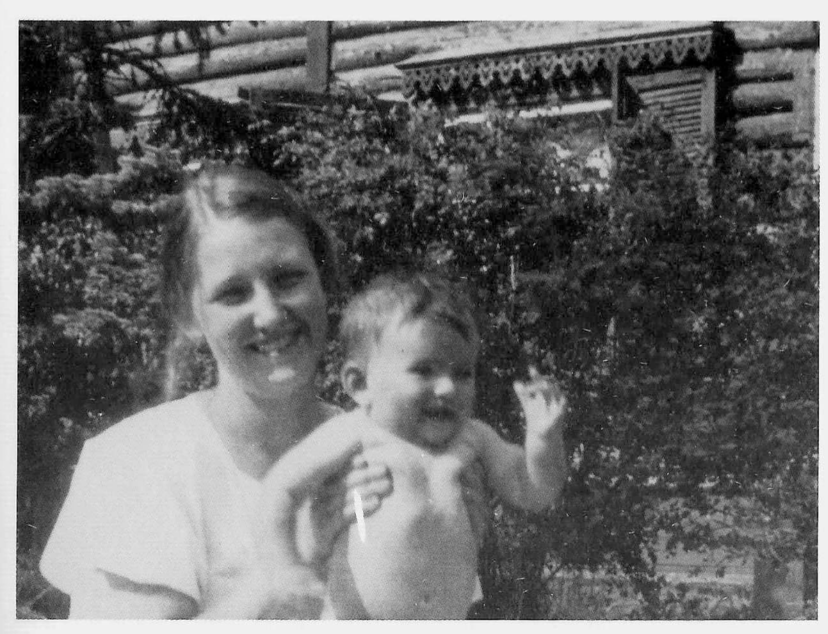
Фотография с гимназического билета. 1918



Нина Гаген-Торн. 1917



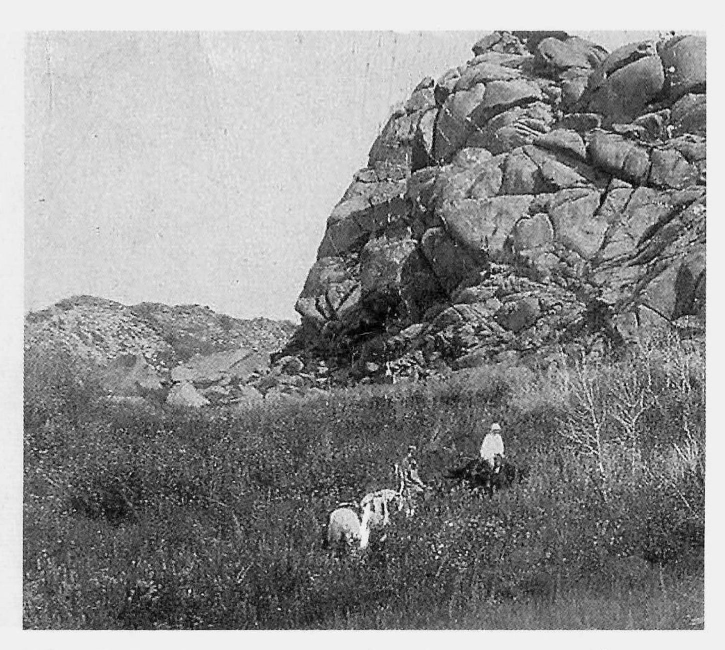
Ю. М. Шейнманн в экспедиции.
Северный Казахстан. 1925



Нина Ивановна Гаген-Торн с дочерью Галей. Лето 1925



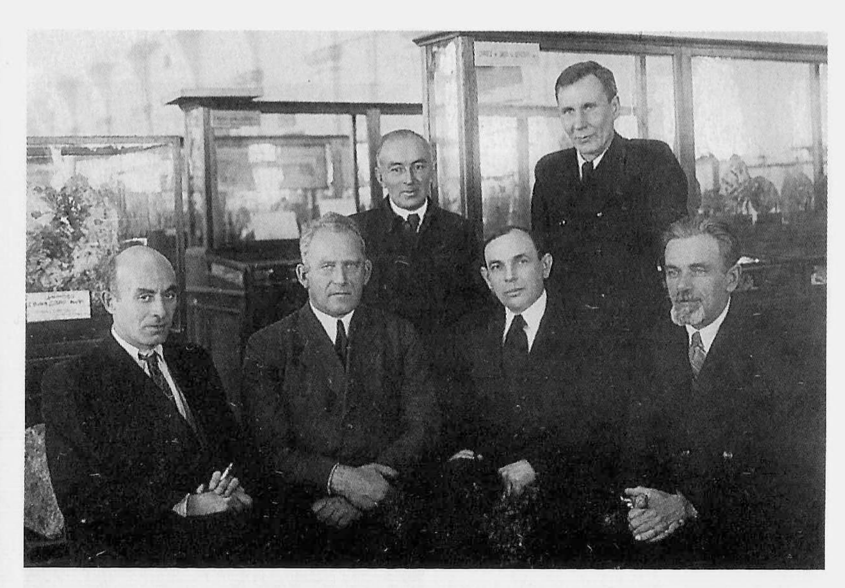
Ю. М. Шейнманн. 1925



Ю. М. Шейнманн в экспедиции. Северный склон Таргабатая. 1925



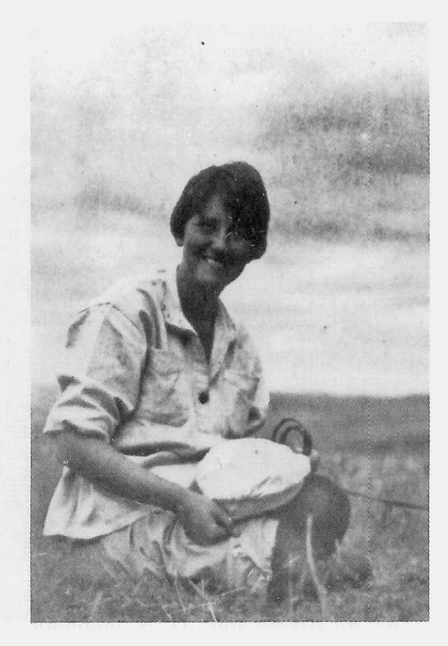
«Сибирский кружок» Горного института. Слева направо: А. А. Лисовский, Ю. М. Шейнманн, В. Ю. Черкесов, С. А. Музылев, Е. Пресняков, М. М. Тетяев, (?), Д. С. Коржинский. 1928



Участники «Сибирского кружка» в 1948 году. Слева направо: Ю. М. Шейнманн, Ю. А. Билибин, А. А. Лисовский, С. А. Музылев, Д. Вознесенский, В. И. Серпухов



Восточное Забайкалье. Второй слева М. М. Тетяев,
третий справа Ю. М. Шейнманн. 1927



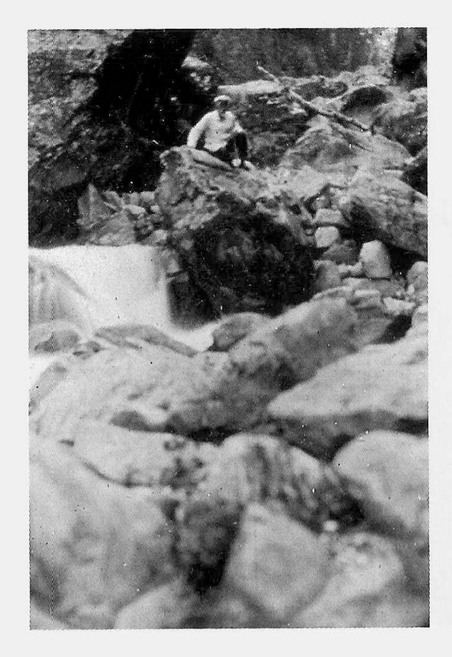
Н. И. Гаген-Торн в экспедиции.
Забайкалье. 1927



Всеволод Черкесов. 1930



Н. И. Гаген-Торн. Восточное Забайкалье. 1927



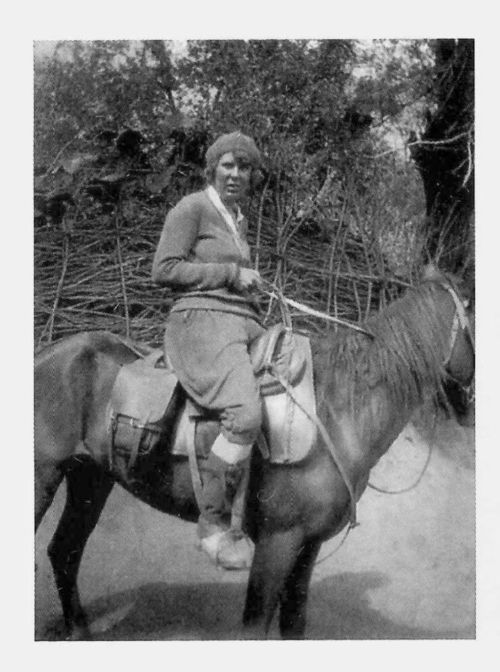
Иван Эдуардович Гаген-Торн
на Аршане. 1930



Н. И. Гаген-Торн с детьми на Аршане. 1930

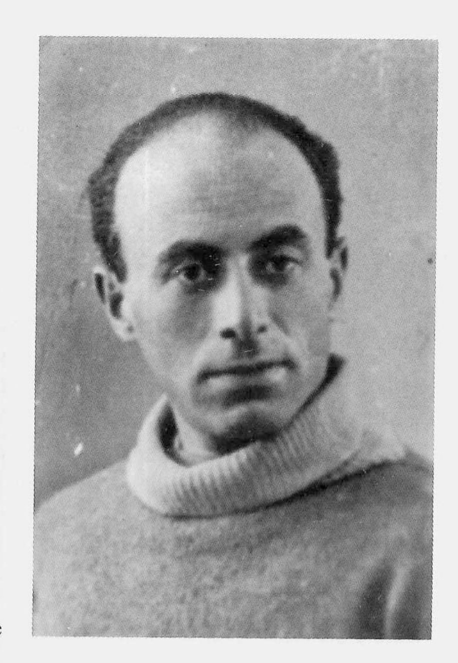
Чайхана. 1932

Таджикские дети. 1932



Ирина Павловна Теплякова
в экспедиции. 1932

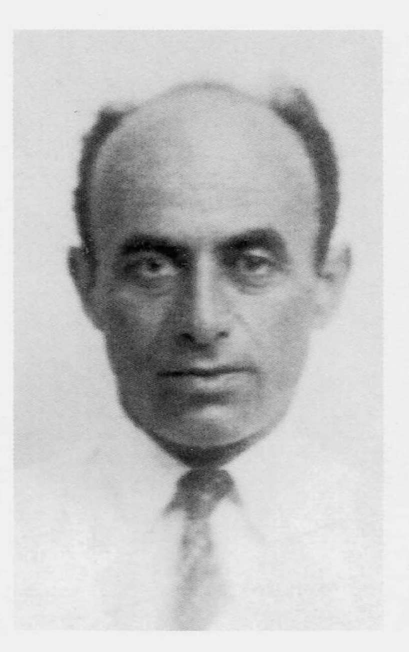
Чайхана. 1932



Ю. М. Шейнманн. 1930-е



Дочери Галя (слева) и Лада. 1938



Ю. М. Шейнманн. 1930-е



Михаил Владимирович Шейнманн. 1930-е



Ирина Павловна Теплякова. 1930-е

тро. Темно. Повар давно возится у печки. Готов суп, готова каша. оем углу встает с койки Александр Венедиктович:

Вставать, ребята. Завтрак готов, на столе.

И всё. Ни повторений, ни окрика. Даже и не посмотрит на коман- Сидит в своем углу и пишет в рабочий журнал. Так минут десять. ом быстро идет к столу, стоящему в середине палатки. Там уже ги все. Разливается суп, режется хлеб, и очень звучно засасыва- еда с ложек. И со всеми он. (И я, конечно.) Потом начинается овор – как в любой артели: разнарядка.

Кончен завтрак. Посмеиваясь в усы, Александр Венедиктович ляет:

Ну ладно, молодцы! Теперь кто недоспал – самое время на койку. посплю.

Он действительно идет к лежанке, что-то говорит помощнику, ксандру Федоровичу, хозяйственному и положительному мужику. ботяги, один за другим, одеваются и уходят на шурфы

Когда я был в первый раз – меня поразило, что кое-кто пришел еденное время и не ушел снова на работу. Оказалось: отдан каз: сделал 125 % нормы (а она нелегкая и надо изловчиться, бы ее выполнить!) и можешь идти домой. Никто тебя не будет зерять – сам замеришь, сам вечером доложишь проходку. С тебя ьше не спросят.

Можешь спать, чинить барахло, козла забивать, читать. Книги да были особой заботой Александра Венедиктовича и их всегда ало много. Зачитывались они до серой от грязи бумаги, заклеенных ниц (не бумагой, а калькой, чтоб было видно).

И никто не обманывал – ни к чему. Конечную глубину всё равно ут замерять. Кого же обманешь? Себя? И зачеты по работе идут, ек по работе всей бригады.

Так шло всю зиму. Без натяжек и обмана бригада была одной из вых: 150–160 % плана. И не было драк. Даже когда по двое ездили рильск за продуктами – тоже без скандалов обходилось. Конечно, и прямые нарушения порядка: ребята останавливались у своих ружек в городе и гостили дня по два, по три. И ни разу не слышал тобы Александр Венедиктович повысил голос, и его ни разу не анули и не подвели бригаду.

К весне его сменили. Пришел новый бригадир, завел «дисциплину» боте – восемь часов в шурфе и баста. Он вскоре ушел – ребята и попадать в карцер, план проваливался, начались склоки.

Второй раз я близко встретился с Александром Венедиктовичем во рое или третье лето войны, у истока вытекающей из озера Мелкого

речки, километрах в 40 на восток от города. Там был учрежден водомерный пост, и наблюдателем был назначен уже шестидесятилетний старик Александр Венедиктович. До ближайшего жилья – рыболовецкой бригады – километров 15. На берегу небольшого залива – избушка два на три метра. Сложена из тонких, сантиметров 15 в срезе, лиственничных бревен. Плотно пригнанная дверь, небольшое оконце. Кругом невысокий лиственничный лес, парковый, чистый. Много голубики и черники. Под осень, как по всей лесотундре – грибы: подберезовики, сухие грузди, волнушки, сыроежки. Их много, очень много. Но в лиственничных борах еще и красные – плотные, красивые – редкость по этим местам. На озере утки, в лесу зайцы, белки и белая куропатка.

Александр Венедиктович жил один. Сам заготовил лес, сам перенес его к месту задуманного дома, сам и дом построил. На мху, с железной печкой, кроватью, столом (доска, прикрепленная в стене с двумя откидными ножками), парой табуреток и полочкой. В домике чисто, светло и по-холостяцки – несколько суховато.

Я пришел к нему в конце рабочего маршрута, надеясь переночевать и назавтра уйти дальше. У домика встретила меня молодая кошка. Хозяина не было, я сел его подождать. Когда он пришел, от него повеяло таким спокойствием, уверенностью в жизни и неизбежности неизбежного. Вспомнилась наша старая дружба при разведке на известняки. Мы заболтались. Потом он спохватился:

– Что это я? Ведь ты с дороги. Поесть надо и отдохнуть. Я сейчас. Только на озеро схожу, сети проверю. А там уху сварим. И всё ладно будет. Погоди малость.

Он взял ведро и весло вроде байдарочного и пошел к озеру. Я вышел чуть позже и выпустил кошку из дому. Она обогнала меня и побежала прямо к озеру.

Александр Венедиктович уже отплыл на «ветке». И, стоя в ней, подгребал к ближней сети, всего метрах в двадцати от берега. Надо знать, что такое «ветка», чтобы оценить его сноровку. Представьте себе что-то вроде байдарки, метров около трех длиною и сантиметров 50 в самом широком месте. Сделана она из трех досок – днище и две бортовых. Грузоподъемность около150 килограммов. Сидят в ней у самой кормы, так что нос высоко поднят над водой и, по ряби, она звонко хлопает днищем по волнам. Устойчивость ее такова, что после первой пробы вспоминаешь байдарку как недостижимый идеал. Потом, конечно, привыкаешь и бороздишь реки и озера. Можно отважиться и перекат пройти, и небольшой порог. И стрелять уток с нее можно, но только вдоль лодки, избави бог – поперек.

Так вот на такой лодочке и отправился Александр Венедиктович осматривать сети. Кошка подбежала к берегу, мяукнула, потом еще

раз погромче, почти с отчаянием в голосе. Еще раз, приподнявшись на задних лапах. И, полная решимости, с громким мявом, вошла в воду и поплыла. Ветка остановилась. Когда кошка подплыла вплотную, Александр Венедиктович наклонился и переправил ее в лодку. Он греб не спеша, а она, отряхнувшись, прыгнула ему на ногу, повисла на спине и быстро влезла на плечо. Так и стояла, прижавшись боком к его уху, пока он не подъехал к берегу. Но до этого, всё так же, стоя, он просмотрел все четыре сети. Будто так все и всегда делают. Рыбы было мало, зато 6 уток застряло в сети.

– Всё равно уха. Утка ведь водяной житель.

Мы проговорили долго, гостей у старика практически не бывало. И совсем поздно легли в постели.

– Александр Венедиктович, а как же зимой?

– А так же. Только ночь длинная. За продуктами в Норильск хожу. На лыжах не трудно, два раза в месяц. Рыбу ловлю помалу. Много ли мне нужно?

– Это один подледным ловом занимаетесь?

– А зачем мне на промысел бегать, одалживаться? Поставил две сетки и ладно!

Я хорошо знал, что такое поставить, просмотреть и снова поставить подо льдом сеть в сорокаградусный мороз. А ведь на вид старик сухенький, щуплый.

Утром я ушел. Позже видел Александра Венедиктовича еще несколько раз, когда он приходил зимой в Норильск, даже рыбу в подарок приносил.

В последний раз мы встретились с ним уже после войны, наверное, осенью 1945-го. Он давно уж освободился. Жил с дочерью и ее детьми в Дудинке. Собирался с нею ехать к зятю, командиру тяжелой батареи, то ли в Корею, то ли в Порт-Артур. И был это другой человек, потускневший, потерявший свою стойкость, внутренний стержень, который спасал его в те годы. Видимо, тогда он подчинил себя одной идее – выстоять, до конца остаться человеком. А в семье такой цели не стало. Может быть, я ошибаюсь. Но он сказал, что очень хорошо бы снова уйти одному в тундру. Только было уже не под силу. Надеюсь, вы не подумали, что это какой-то сусальный святой, отшельник, хотя, наверное, и те – святые с нашего Севера – тоже были с таким же стержнем внутри. Оттого и могли выстоять. Как Александр Венедиктович.

Геологическая служба в Норильске была поставлена всерьез. Так ведь и кадры там были такие, какими вряд ли может похвастаться любое, самое передовое, геологическое управление. Правда, почти все – з/к.

Были еще несколько молодых геологов, попавших по распределению. Им было у кого учиться. Была и разведка, и поиск новых месторождений норильского типа, и месторождений нерудных ископаемых, очень нужных Комбинату: угля, слюды, строительных известняков и т. д. Работы ставились на широкую ногу, не только для сиюминутных нужд.

И одним из больших открытий этого периода было открытие новой ультраосновной щелочной провинции с ее специфическими полезными ископаемыми, ее породами и минералами. Такого в Союзе еще не бывало. И у истоков этого дела был один из заключенных-геологов, мой отец Юрий Михайлович Шейнманн. Но слово ему самому. Лагерь он вспоминать не любил, никогда не говорил о нём, а о людях и о работе – помнил.

Глава 8
МЕЙМЕЧИЯ

1. О том, почему мы отправились на Меймечу

Зима 1942–43 годов была, как и все зимы в Норильске: с ноября день фактически исчез – разве заметишь его проблеск в середине рабочего дня? А через час-два снова глубокие сумерки, если уже не ночь. Когда ясно, и над Рудной горой и над Шмидтихой видны звезды, а сама Шмидтиха угадывается больше по памяти, чем по чуть освещенным черным и белым контурам (скалы и снег). Часто встают полярные сияния. В первые разы они интересны: переливающийся свет от фиолетового переходит в зеленый.

Он то как колеблющаяся фата, то вспыхивает яркими сгустками, и снова что-то неосязаемо меняется, двигается, колышется на черном небе.

Но так только вначале. А позже – всё так же прекрасно оно, но в нём исчезает всё тёплое, земное, живое. Эта красота вне жизни, вне обычного для человека восприятия. Вот звезды – это совсем другое, недаром считается, что «звезда с звездою говорит». И мне, встречающему уже четвертую зиму без солнца, но с пургой и сияниями, достаточно остановиться вечером в затихшем поселке, как в сознание проникает пустота пространства и абсолютный холод его. Черное пустое небо опустилось на землю и охватило ее холодом, глубокой его рассудочностью. Теплота, ощущение человека рядом, простая общность – вне этого мира. И тогда приходит на память гётевский Фауст, потому что за всем, что хотел и мог его второй герой, Мефистофель, – тот же холод. Могла быть мысль, самый острый анализ, но, бездушные, они не могли стать познанием. И вот, в дрожащих переливах зеленых и фиолетовых вуалей это воспринималось как улыбка дьявола. Понимающего всё и не могущего, тем не менее, понять самое простое движение человеческой души.

Вы скажете – такое восприятие необязательно. Согласен. Более того, только чудак мог, вероятно, так подойти к черноте и морозу ночи. Но разве я навязываю это восприятие? Просто так было.

И вот, после одной из таких ночей, кода мороз легко поникал под полушубок, а в небе демонстрировался танец сотен покрывал, в одноэтажном домике геологического управления Норильского комбината шел разговор необычного типа. Не были упомянуты слова «руда», «скважина» и другие, привычные и каждодневные. Александр Емельянович Воронцов, начальник управления и старейший работник Норильска, сидел в крохотном кабинетике нашего геологического вождя в те годы – Владимира Климентьевича Котульского. Речь шла о том, что откуда-то с реки Меймеча, притока Хеты, за 500–600 километров прямиком к востоку от Норильска, поступили образцы изломанной слюды почти черного цвета. Кто, когда, где взял их – было неясно. Пройдя десятки рук, маленький пакет добрался к нам, сохранив только примерный адрес находки, да и то, может быть, искаженный на длинном пути.

Воронцов, отдавший всю жизнь поиску и разведке норильской руды, предлагал проверить эти сведения. Первая наша реакция была скорее отрицательная. Идти за слюдой за многие сотни километров по здешнему бездорожью? В район, скудные данные о котором говорят как об области, сложенной теми же базальтовыми лавами, угленосными осадками, а под ними известняками, что и вокруг Норильска? Нет, образцы, вернее адрес их, не внушают доверия! Скорее всего – это ошибка, где-то что-то спутано! В такой геологической ситуации еще нигде не было слюды. Но...

Это «но» высказал Котульский. Он всегда утверждал полусерьезно: «*В практической геологии есть только одно запрещенное выражение: такого не может быть!*»

Так вот, он резюмировал разговор так: «Я думаю, хорошо бы послать туда партию. Ей официально следует предложить провести поиск в трех направлениях: проверить на месте сведения о слюде, проверить на алмазоносность наносы местных речек и посмотреть (это между прочим) – нет ли каких-нибудь указаний на возможность оруденения норильского типа.

И еще, Александр Емельянович, я бы считал, что следует послать и вторую партию, чтобы осмотреть северный край плоскогорья между районом первой партии и Норильском».

Через 10 минут вопрос был решен и намечены начальники партий. Первой – я, второй – В. С. Домарев.

Так началось. Но надо было еще очень многое обдумать, а главное – сделать, чтобы мысль претворить в дела.

Дня через два у меня состоялся разговор с Владимиром Климентьевичем – это и было обсуждение задачи партии по существу. И, как всегда, это было по-настоящему интересно. Но раньше

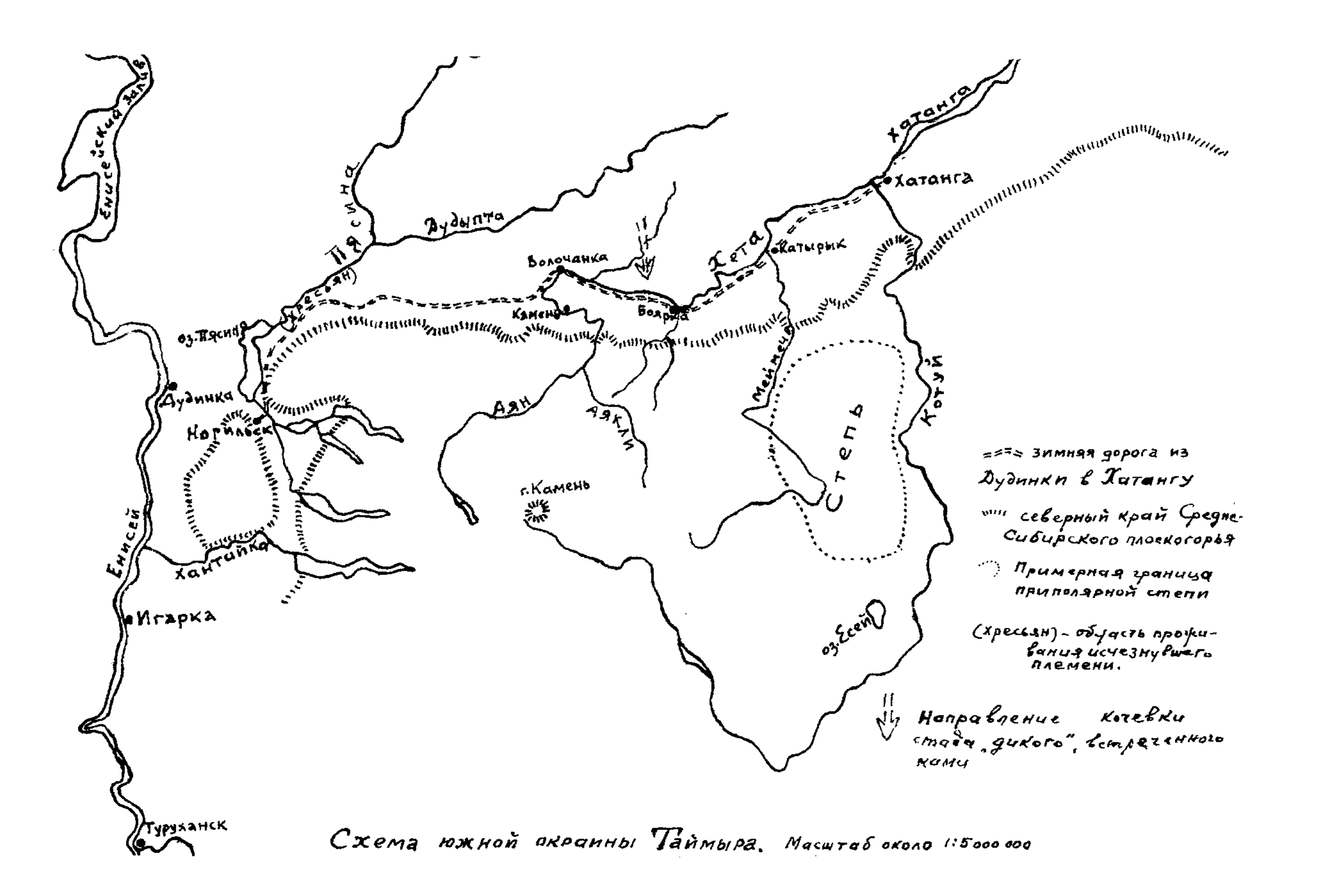
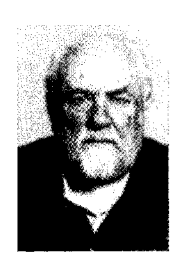


Схема южной окраины Таймыра. Масштаб около 1:5 000 000



несколько слов о самом *Владимире Климентьевиче Котульском**.

Его появление в Норильске было большим подарком судьбы не только для нас, геологов, но и для комбината в целом.

Когда, в первые месяцы войны, создалась возможность продвижения германской армии на Кольском полуострове, было принято решение об эвакуации Мончегорского никелевого комбината. Его геологическая служба, возглавлявшаяся Котульским, была переброшена к нам. Высокая квалификация, длительная работа на близких по типу рудах сулили большую помощь работе комбината. Нас было немного, фронт работ разворачивался, надо было обеспечить сырьем уже работавшие, вне всяких проектных очередей, медный и никелевый заводы, углем весь комбинат и одновременно искать строительные материалы, флюсы и т.д., а также охватить геологическими исследованиями окружающую область. Конечно, самым главным из прибывших был сам В. К. Котульский. Человек очень большой и широкой культуры (достаточно сказать, что как певец он не уступал по таланту знаменитой тогда его сестре Е. К. Котульской), человек большого ума и хороший организатор в самом высоком смысле слова. Сильнейшая воля, выходя за пределы его «Я», делала его властным. Ему невольно подчинялись все.

В дореволюционном Геологическом комитете он – еще молодой человек – был равным среди своих сверстников, но и тогда его собранность, воля, умение подчинять себе других – выделяли его. М. М. Василевский, один из этой группы, рассказывал мне, что когда они собирались у кого-нибудь на квартире, не было обычая приветствовать вновь входящего вставая. Никого, кроме Котульского. Когда Владимир Климентьевич входил, вставали невольно все, иной раз даже и дамы.

Он создал себе имя геолога-рудника, работая в Сибири и на Алтае. Его школа – такие ведущие геологи, как академики С. С. Смирнов, И. Ф. Григорьев и их ученики, укрепили и расширили его славу. Но печатных работ у него было мало. Сферой его было пытливое изучение,

* В. К. Котульский прибыл в Норильск в августе 1941 года. В 1943 году за Норильск и Мончу был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1944 году была снята старая судимость. В 1945–1949 гг. работал в Ленинграде. 9 мая 1949 года был арестован по печально знаменитому «делу геологов», препровожден в Москву, содержался в Лефортове. Получил 25 лет (ему было 72 года!). Умер он 20 мая 1951 года в тюрьме в Красноярске, на этапе в Норильск. – *Г. Г.*

потом ясное короткое заключение. К себе Владимир Климентьевич был предельно строг, не позволял себе ни малейшей сделки с совестью, даже намека. И поэтому был лишен, в работе по крайней мере, чувства страха, уменья подчиниться тому, что он не разделяет. Вероятно, в глазах начальства это делало его неудобным подчиненным, но только в глазах мелких людей.

Вспоминается один из рассказанных им эпизодов. В двадцатые годы, когда Ф. Э. Дзержинский был председателем ВСНХ, он привлек Владимира Климентьевича как консультанта по опросам освоения металлических ископаемых. Примерно в это же время Владимир Климентьевич организовал в Геолкоме отдел прикладной геологии, по существу первое научное учреждение по изучению полезных ископаемых, во всяком случае, первое крупное и обеспеченное соответствующим персоналом. Он был главой отдела и, одновременно, заместителем председателя Геолкома. Проработав некоторое время в ВСНХ, он попросил Ф. Э. Дзержинского освободить его от работы. Основание было следующим: «Я являюсь членом Геолкома, который должен, опираясь на всю сумму наших знаний, давать рекомендации ВСНХ, а иной раз и критиковать его решения. Но, работая у вас, я обязан проводить эти решения в жизнь. Считаете ли вы допустимым, чтобы я попадал в ложное положение, в тех случаях, когда Геологический комитет будет считать нужным оспаривать ваше мнение?» Примерно так был задан вопрос.

Ф. Э. Дзержинский освободил Котульского от работы в ВСНХ, но просил помогать ему лично и, таким образом, быть не связанным в своих действиях. Так и было.

При всей властности, умении подчинить всю работу коллектива выбранному направлению, даже при большой страстности в отстаивании своего мнения, Котульский никогда не забывал, что и боги умели ошибаться. Как-то в Норильске при обсуждении одного из главных вопросов геологии рудных тел наши мнения разделились. Я был против мнения Владимира Климентьевича и последовавших за ним товарищей. Решение было принято после горячего спора, и мы разошлись по своим комнатам. Неожиданно Котульский снова вызвал меня:

– Юрий Михайлович, прошу вас ясно и обоснованно сформулировать свою точку зрения. Ваша записка должна войти в протокол.

– К чему это, Владимир Климентьевич? Ведь всё уже решено.

– Я буду говорить с вами так, будто мы в старом Геологическом комитете. Я – директор. Вы – «член присутствия». Вы обязаны написать, а я сохранить ваше мнение. Я сейчас в своем мнении уверен, но ведь может статься, что правы окажетесь вы. Так ведь?

Создав, по существу, рудную Мончу, сделав очень много для Норильска (без него мы не смогли бы поставить исследования на

самый высокий уровень), работая необычайно много, пропуская через себя весь материал по рудам и составу горных пород, он как-то не удосужился получить степень.

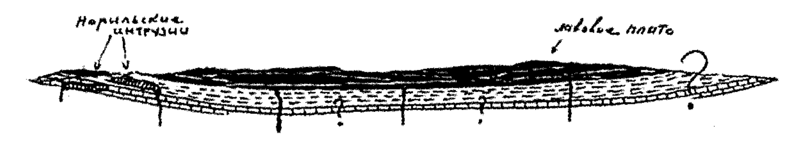
В какой-то мере помешало, вероятно, и то, что некоторое время он был заключенным. Когда, уже после окончания войны, Владимир Климентьевич появился в Москве, он не был ни доктором, ни даже кандидатом наук. Степень доктора была присуждена ему на специальном заседании ВАК заочно.

Было любопытно видеть, как по Институту геологических наук в Старомонетном переулке идет только что «народившийся» доктор наук В. К. Котульский и за ним почтительно, как скромные ученики, следуют академики и члены-корреспонденты: Григорьев, Смирнов, Бетехтин, Левицкий и др.

Вернемся к нашему повествованию. Итак, Владимир Климентьевич позвал меня к себе.

– Ну-с, давайте поговорим о вашей задаче серьезно. Вы, конечно, понимаете, что будет удачей, если вы найдете слюду. Алмазы тоже нужны, их сейчас ищут. (Отмечу, что тогда искали еще вовсе не там, где их нашли, и сами идеи поисков были еще вовсе смутными. – *Ю. Ш.*) Конечно, они могут оказаться и там, и здесь, у нас. Но находка кристаллика – это такая случайность. Сами понимаете, сколько надо перемыть. А на каком приборе? Сейчас нам такого не завести и не сделать, да и не в возможности вашей партии вести такой тяжелый поиск. Вы обдумали, что будете делать там?

– Мы сможем промыть некоторое количество шлихов, не больше. Слишком далеко идти туда, и слишком велик район. Да и не в этом дело сейчас.



Вот что нарисовал В.К. Котульский: слева (на западе) в районе Норильска глубже лав сидят принесшие руды интрузии (застывшие на глубине лавы, магма). А нет ли их и в других местах под лавами? Под плато их видеть нельзя, а с другой стороны лав, там куда мы направляемся? Может быть, и там есть интрузии Норильского типа? Об этом и говорят знаки вопроса.

– Конечно, шлихи. Но вот о главном, что вы сможете? Хотите мою мысль? Вот разрез от Норильска до Анабарского массива. Смотрите, у нас под лавами сидят наши интрузии. А вот восточный конец поля

лав. Из-под них снова выходят осадочные породы. Так вот, нет ли в таких породах и там, может быть, интрузий вроде наших? И не следует ли и там поискать норильское оруденение? А? Нравится вам это?

Мне нравилось, конечно. Бездумный поиск – а вдруг что-нибудь найдется? – не в моем вкусе. Да и вообще я не поисковик. Конечно, предложенная схема необязательна. Всё может оказаться иным – слишком велико расстояние, из-под лав могут там выйти иные породы. Но главное – исследование. Так я и ответил:

– Увидим, что там. То ли, что в Норильске, или что-то новое. Словом, пусть будет самая приблизительная, на первый случай, геологическая съемка. И вашу мысль надо иметь в виду.

Потом поговорили о многом – кто отправится со мною, как думаю организовать дело, главное – каков район исследования.

Так, немного неожиданно для меня, был запущен механизм подготовки к «большому полю».

2. Мы едем

Стоит ли описывать сумятицу и медленно нарастающую скорость сборов?

От нее невозможно уберечься. Рядом со мной были люди исключительно надежные и прекрасные знатоки Севера. Без них было бы много труднее. И всё-таки получить сколько-нибудь удовлетворительные продукты, собрать, а в основном сделать, снаряжение вплоть до тогда почти неизвестных у нас разборных байдарок, – всё это не так легко, и два месяца мы метались от одного склада к другому, от мастера к мастеру. Наконец обе дальние партии собраны, всё запаковано и вывезено километров за 12 к северу от Норильска, в поселок Валек. Это сейчас там почти город, а тогда – десятка два домиков, зимняя посадочная площадка для старых двухмоторных АНТов и летняя пристань.

До последнего дня шли споры о количестве рейсов: четыре или три – лимитирует горючее. Наконец жесткий приказ: три рейса на обе партии. До предела сжимаемся, но ведь не переберешь все уложенные тюки, чемоданы, ящики. Всё равно остается многовато. Летчики утверждают – тонна на рейс, потом сдаются – с четвертью. Уверяем, что так и будет. А ведь никто не взвешивал, прикидываем на глазок, и в глубине души знаем, что больше. Затем дни ожидания – нет летной погоды. Нет ли? Или не хочется ребятам улетать под Первое мая, с риском застрять там, в Волочанке? Это может повести к полной неудаче полевых работ, поэтому действовать надо незамедлительно. Испытываем сразу две линии. Одна задействована по начальству – получили приказ доставить нас до 1 мая, но ведь этим нелетную погоду не

исправишь. Поэтому еще до приказа работает вторая линия. У нас есть несколько бутылок сливянки. Это вместо спирта. И вот эта настойка – вещь в те годы и в тех местах редчайшая – ставится на ящике перед командирами кораблей. Короткое молчание и затем выразительное:

– Рудольф, как ты думаешь? Может, в Волочанке погода и лучше нашей? Подумать надо.

Приказ добил дело, и, хоть и без особого задора, но 1 мая с утра первый самолет с партией Домарева на борту ушел в воздух. Перед этим было новое осложнение. Из Комбината пришло распоряжение обеим экспедициям оставить в аэропорту половину взятых продуктов и, соответственно, сократить сроки своего пребывания в поле – по наличию продуктов. Покряхтели: как успеешь такое и как успеть за короткое время в поле сделать всё, что задумано. Домаревцы аккуратно делили пополам, откладывали и сахар, и муку, и консервы.

Мы ждали и обдумывали и, наконец, нашли выход. В момент, когда уже надо было грузиться, были оставлены четыре из пяти мешков муки. Остальное пошло в самолет. В записке начальнику управления я написал, что оставляю половину (по весу) продовольствия. Потом уж узнали его реакцию: «Ну и ловок! Ведь знал, без хлеба его не оставят, разбойник».

Наконец трогается и наш, последний самолет. Закрыты дверцы, в проходах старого бомбовоза еле умещается груз. Мы выруливаем на лед реки и разбегаемся по нему. Бежим долго. Как будто что-то неладное с самолетом – он подпрыгивает на неровностях, но не взлетает. Наконец, будто нехотя, подпрыгнув на очередной заструге, он повисает в воздухе и так же нехотя идет у самого льда. Понадобилось километров двадцать, не меньше, чтобы подняться на 100 метров. Потом пошло легче, и, когда мы оставили за собой Караелах – еловое урочище в переводе – и шли над разрисованной разводами болот и руслами речек Авамской тундрой, летчик повернулся ко мне и выдавил из себя:

– Сколько же ты, черт тебя возьми, груза положил? Думал, так и не оторвусь. Вот тип, тоже. Тысяча семьсот верных?

Но это было так, со зла, потому что приятелями мы с ним остались.

Под нами излучина большой реки и серый нерадостный поселок на ее высоком берегу, дымки над трубами, хилые лесочки. Мы садились на озерке, в нескольких километрах от поселка. Там должны были быть уже остальные, и оттуда предстояло перекинуться, вернее всего на оленях, в поселок.

«Аэродром» понятие относительное. Лед озера и с краю что-то вроде домика. Всё уже выгружено, и самолет тут же разворачивается

и уходит. Вот мы и на месте. Петр Семенович и Арсений Емельянович отправляются в Волочанку, мы, остальные, собираем разбросанные чуть ли не по всему озерку вещи и осматриваем здешний аэровокзал. Домик сделан из тонких досок впритык, в один слой, так что щели до двух-трех сантиметров шириной и стены не помеха ветру. Ожидая транспорт из села, мы боксируем и боремся для согревания. Потом прямо в доме устраиваем небольшой костер и ставим на него чайник со льдом для чая. Наконец возвращаются наши.

– Ну, товарищи, придется ночевать сегодня здесь. Понимаете, – докладывает Петр Семенович, человек весьма обстоятельный – перевезти кладь невозможно. Мы видели всех, кого надо. Но разговаривать трудно – Первое мая. Во всем поселке ни одного мало-мальски трезвого. Начиная эдак лет с пяти-шести. Ходили, ходили. Самый трезвый – председатель райисполкома. Он, понимаете ли, вышел к нам, встал в двери наискосок, по диагонали, и говорит: «Вы, ребята, потерпите. Сами видите – праздник. Ну, предупредили бы, тогда, может, и удалось бы кого оставить для вас. Вот я – потрезвее других, а разве могу сейчас что сделать. Приходите утром, придумаем что-нибудь».

И мы пошли назад. Ну, что ж сделаешь – север есть север.

В Волочанку мы попали на следующий день в обед. Председатель сдержал слово. Нам выделили дом, а когда мы устроились, первым пришел к нам председатель – знакомиться. И оказался милейшим человеком.

Так началось примерно десятидневное наше пребывание в Волочанке. Скорее было не управиться. Долгие разговоры с колхозом, поиски нужных оленей (те, что работали зимой, уже никуда не годились, им до осени нужно отдыхать). Нужны и люди, по три человека на партию. Очень сложен вопрос об оплате оленей. Колхоз не хочет отдавать их внаем – после летней работы олень никуда не гож. Кое-как перенесет зиму и, если жив останется, будет отъедаться всё следующее лето. Зачем он нужен такой хозяйству? А нам не разрешено покупать – комбинат не хочет возиться с такой живностью. Приходится искать приемлемую форму. Этим заняты и первый секретарь, и председатель райисполкома, даже прокурор района. Словом, дел хватает, хотя я относительно свободен – главные хлопоты на Петре Семеновиче, Александре Александровиче и Арсении Емельяновиче – представителях обеих партий.

Петр Семенович Фомин незаменим. Рост 196, хорошо сложен, силен, спокоен. Знает север и никак не похож на джек-лондоновского чечако, каким, несомненно, являюсь я. В прошлом он зоолог, сотрудник П. А. Мантейфеля по работе в Московском зоопарке, много ездил за всякой живностью.

Тут на севере был рыбаком, наблюдателем на водомерном пункте, хорошо каюрит. Последнее время работает в геологии, еще сезон-другой и он – законченный специалист, правда, без специального образования. Уже много позже, вернувшись в Москву, он отлично закончит геологический факультет ВЗПИ*.

Второй мой спутник – Александр Александрович – тоже северянин, тоже в прошлом зоолог, но не столь устойчив в своих устремлениях. Он так и не стал специалистом.

Надеясь на этих двух, я относительно свободен. Есть время обдумать поход. Сейчас это самое главное. Геологические работы в поле очень разнообразны. Для широкой публики обычным представляется поиск полезных ископаемых. В той или иной мере им занимаются все полевые работники. Но поиск как главная цель является задачей только части геологов-полевиков. Другие, к ним принадлежит и автор этих строк, заняты в основном другими вопросами. Географы прошлого, попав в незнакомую страну, стремились прежде всего отразить ее на карте, которая лучше всего расскажет другим об этой стране. То же делают геологи. Составление геологической карты – это исследование, требующее не только времени. Надо напрягать всё внимание, чтобы увидеть то. что нужно и потом долгие часы думать над увиденным, чтобы понять. Иногда недели, месяцы, даже годы не дается ответ: что это и как это произошло. Но вот укладываются в систему наблюдения, приходят догадки. Они проверяются и, постепенно, всё встает на свои места. Рождается общая картина района. Это и есть окончательный результат геологического картирования – самого мощного метода классической геологии.

Это напряженная работа. Немногого стоит тот, кто по результатам легкой геологической прогулки судит о строении района, для кого всё ясно с первого взгляда. В Горном институте в 20-е годы лекции по Средней Азии читал В. Н. Вебер. Он говорил нам: «Не думайте, что став геологом, вы сумеете всё понять, всё осмыслить. Эдак, сев верхом на коня, оглядитесь опытным взглядом, увидите всю сущность гор и поймете, как и что здесь делалось, перед вами будет открытая Книга Природы и вы будете ее читать. Брехня всё это. Придется вам

---

* Мне пришлось несколько месяцев проработать вместе с Петром Семеновичем в Мосгеолнеруде – в 1952 году. Он был студентом последнего курса ВЗПИ и, конечно, на инженерской должности. Я спросила, почему он не защищает диплом. – «Надо еще геологию Союза подготовить, я не все знаю».

А экзамен сдал так, что профессор просил ему дать материалы по геологии – он не знал того, что рассказывал студент. – *Г. Г.*

день за днем добиваться, чтобы что-то понять, будет жарко и холодно, будете уставать и будет отказывать ум. И если вы за лето такого труда прочтете одну букву в этой заветной книге, установите что-то новое и интересное, вы будете счастливы и это оправдает труд, лишения и неудобства». Да, оправдывает, и еще как!

Это мы все знаем. Скоро будет 50 лет, как я работаю геологом и все годы это напутствие Валериана Николаевича со мной.

3. От Камня до Боярки

Забросившись на старых АНТах до Волочанки, мы сорганизовались там. И вышли к фактории Камень в верховьях Хеты. Снег уже потемнел, местами нарты с трудом проходили по нему. Но таких мест пока что было немного.

В Камне (фактория названа так, потому что стоит у выхода Хеты из гор, от Камня) надо было весновать. Зимняя дорога исчезала на глазах, до летней было еще долго. Занимались подгонкой и переупаковкой снаряжения и прочими мелочами. Встретили весенний пролет гуся и уток, здесь очень скромный.

А затем обе партии разошлись, каждая в свой район: Владимир Сергеевич Домарев на запад, мы на юг, а затем на восток.

В то время в Камне еще жили двое последних из «диких» тунгусов: мать с мальчиком-сыном. Это был конец длинной эпопеи, начало которой восходит к установлению советской власти в этих районах, то есть времени после разгрома Колчака. Тогда значительная группа северных эвенков ушла в горы (Путорана, Сыверма), не желая подчиниться новым порядкам. Сколько было таких – я не знаю, но по местному безлюдью довольно много, вероятно несколько десятков семей. Шли годы, группа постепенно таяла, но несколько семей держались твердо. Они не выходили к факториям, добытые меха сдавали через других эвенков и получали через них же самое необходимое – прежде всего свинец, пистоны, немного соли, совсем чуток муки и чая, табак. Никто из русских, то есть не местных, их не видывал, а новые пришельцы о них и не знали. В конце концов, к началу войны оставалась одна семья. Не знаю, в какой мере этому способствовал выход «диких» в поселки. Вероятно, основную роль играло вымирание в тех тяжелейших условиях. Ведь до этого в горах не жили, туда ходили охотиться, да и то редко. Довольно высоко над уровнем моря, в узких ущельях, где дует, как в трубе, а в тихую погоду зимой скапливается холодный воздух – не слишком уютное место, да и пастбищ для оленей мало.



Последняя семья состояла из старика шамана, его дочери (и по совместительству жены) и мальчика, их сына. Когда старик

умер, дочь с сыном вышли на Камень и обосновались там. Это было в 1940 или 1941 году. Так кончились «дикие тунгусы». Когда мы весновали в Камне, последняя «дикая» ничем не отличалась от других эвенкиек.

Было решено, что мы все шестеро уйдем из Камня в горы, а недели через две Александр Александрович и Ермолай придут в Волочанку за продуктами (кроме обещанной муки, надо будет взять оставленную там часть наших запасов) и приплывут по Хете к нам в Боярку, куда тем временем придут остальные.

Работа началась. Мы вышли из Камня на юг, к слиянию Аяна и Аякли, образующих Хету, и оттуда на восток к истокам Боярки. Вряд ли стоит описания этот путь. Обычные будни маршрута, с почти ежедневным свертыванием лагеря, с рабочими маршрутами. Небольшие полоски крупного лиственничного леса в узких долинах-ущельях. Голые крутые склоны плато, то в осыпях, то с лентами отвесных базальтовых скал. Так и идет ступеньками: осыпь – скала – осыпь. Высота плато около полутора километров над уровнем моря, несколько южнее – самая высокая точка северной Сибири – гора Камень, около 2000 м, пологая и в июне вся в снегу. На этих плоскогорьях в зоне скал живут дикие бараны – чубуки – мелкая раса, но те же архары, только вес килограммов 50–80. Увидеть их нелегко, а подобраться и того трудней. Только Петр Семенович подошел к ним однажды и осмотрел в бинокль, но он не смог взять хоть одного.

Первое время мы шли по довольно скучным местам – о геологии нового почти не узнавали, в целом она оказалась довольно близкой к норильской, но попроще. Мы торопились скорее выйти в глубокие ущелья Аяна и Аякли. И тут в наши дни вошло нелепое и досадное, неожиданно, как всегда бывает. Мы торопились. Соответственно, несколько упрощалась процедура лагерной жизни, в частности кухонный обряд. Однажды утром, ради скорости, была предложена консервированная колбаса (у нас были такие американские консервы), прямо на хлеб, не прожаренная. На вкус мы ничего не заметили. Втроем ушли в маршрут, караван должен был выйти несколько позже и идти к следующей ночевке. И вот через час всё началось: тошнота, какая-то слабость. Двое моих спутников ушли вперед и, как оказалось, с трудом двигались по тундре. Догнать их я не мог, свалился где-то за кустиками ивы. Всего выворачивало, было трудно поднять голову. Слабость такая, что, когда в 10 шагах от меня вышел заяц-беляк и сел между кочек, не хватило сил подтянуть к себе ружье. Так и смотрели один на другого спокойный зайчишка и лежащий ничком я. Потом он решил идти по своим делам. Через полчаса явился Ермолай – он «болел животом» эти дни и консервы были ему запрещены. А Семен

и Михаил лежали в лагере с симптомами как у меня. Я указал Ермолаю куда пошли остальные двое. Потом снова лежал, мечтая о силе, чтобы хоть сесть. Она пришла во второй половине дня, и кое-как можно было двинуться к лагерю. Он показался, наконец, на поляне среди невысоких лиственниц. Все уже вернулись, и было видно, как Ермолай исполнял роль нянюшки. Только он и был здоров. Идти я мог только на четвереньках, ложась на отдых через каждые 5–10 шагов. Зачем-то посмотрел на часы. Приполз я в лагерь ровно через полтора часа. Нас всех пятерых спасло тогда, что весьма активно реагировали наши желудки, вовремя освободившиеся от яда. Сильней других отравились Михаил и я. Весь следующий день мы простояли на месте, только на третий смогли идти дальше. После этого употребление консервов разрешалось только в вареном виде*.

Высокие стены ущелий Аяна и Аякли, куда мы так стремились, сразу показали, что район напоминает норильский. Не было только того, что делает Норильск особенным – принесших руды интрузий. Потки древних базальтов, перекрывая друг друга, слагали скалы ущелий подобно тому, как они слагают обрывы над озерами Лама или Глубокое. Мы медленно передвигались вверх по Аякли, а затем с водораздела Аякли и Боярки, двое, как и намечалось, ушли в Волочанку за продуктами. Мы остались вчетвером и двигались далее к северо-востоку. Геология казалась предельно простой. Под нами была всё та же базальтовая толща, а там, где ее размыло, из-под нее выступали немногим более древние песчаники, кое-где удавалось увидеть пласт угля. Но это был не норильский прогретый уголь, он не облагородился, недалеко ушел от бурого и не привлекает к себе в этих краях внимания. Разве что когда-нибудь пригодится для окружающего населения вместо дров. Геологическая душа подремывала и по-прежнему ждала своего часа. Но придет ли он? Дни становились похожи друг на друга, как похожи ландшафты: плато снизилось и мы шли по пологим увалам. При подходе к Боярке, к самым ее верховьям, у нас почти кончались продукты. Неверно рассчитанная скорость передвижения, непредвиденная задержка из-за отравления. Мясо стало настоятельно необходимым – на нас четверых оставалось всего несколько килограммов муки и крупы, немного соли, чай и небогато сахара. Но дичи не было. Однажды попался заяц, убитый Петром Семеновичем, потом я уложил пулей из берданы гусака. И снова ничего. Михаилу, старшему из эвенков, был дан наказ искать «дикого»

* Видимо, тогда они научились использовать древесный уголь. Мне отец в 1945 году говорил, что в таких случаях надо взять из кострища уголь, лучше березовый, и съесть его. – «Много?» – «Ну, с ложку».

(дикого оленя). Но следов не было. И вот, во время одной из кочевок, к нам подъехал на своем учаге* взволнованный Михаил:

– Начальник, дикий ходил. Смотри след.

Он подвел к моховому пятну среди камней:

– Видишь, дикий-тропа?

Мы решительно ничего не видели. И только после объяснений и показов стали заметными небольшие углубления во мху, очень неясные, для меня по крайней мере. Петр Семенович различал лучше.

– Дикий шел, совсем скоро, два день, три день. Он туда пошел. – Михаил двинул рукой поперек нашего маршрута.

– Я пойду, однако, дикий стрелить, ладно?

Мы уговорились, что надо дойти до намеченного для лагеря места, благо недалеко осталось. Мы займемся развьючкой, а Михаил на своем учаге – верховой олень по-местному – пойдет следить дикого.

Вернулся он поздно вечером, усталый. Отпустил своего верхового и тут же из кожаного мешка вынул сердце, печень, почки – всё в крови.

– Вот, стрелил. Шибко большой был бык. Долго ходил, след смотрел, однако куда ему уйти, след хороший. Потом тундра смотрел – далеко бык траву ест. Я кругом ходил. Однако далеко. Глаз плохой стал, нельзя стрелить. Опять ходил. Потом учаг остановил, я стрелял. Вот так мера-место (он показал метров на 20). Бык убил, мясо под шкура прятал, нам кушать возил. Вот.

Да, вовсе просто: проехать по 2–3-дневному следу на мху и камнях, не сбиться с него (а ведь это не меньше 10 километров, пусть верхом на учаге), подойти на 20 метров. Стрелять уж вовсе просто, если не волноваться, конечно. Ну, не Дерсу Узала, всего только уметь выследить.

Оленя хватило дня на три, ведь почти без приварка, а велик ли зверь. И опять подбирался голод. На сокращенном пайке шли три дня и стали в верхнем течении Боярки, где она выходит из гор. В ее устье, в двух-трех днях пути – поселок Боярка – фактория и колхоз. Туда приплывут на лодке из Волочанки наши с продуктами. Но надо еще дойти. Если идти по реке – крюк, вероятно, не меньше дня, а то и двух – как покажут заросли в долине. Михаил не берется вести – не его это места. Семен молод и проводник никуда. Да и рабочий, по правде сказать, тоже. Он хлебнул «культуры», от местных отстал, но ничего не приобрел. Бывают и такие в этих местах.

Встали лагерем. Огляделись. Геология всё та же, норильская. Решили ночевать, а завтра идти прямиком на Боярку. Вести приходилось самому, руководствуясь не внушающей доверия картой и компасом. С продуктами было уж вовсе плохо.

* Учаг – верховой олень, сильный, специально обученный.

Ночью за оленями смотрел Семен. Утром он разбудил меня:

– Юрий Михайлович, вставай! Сейчас три медведя прошли. Вон там.

Мы вскочили. Звери прошли в полукилометре через сухую протоку в заросший ивняком остов. Расспросы показали, что Семен не видел какие звери: то ли близорук он, то ли с перепугу. Михаил пошел, нашел след и доложил – сохатые. Посовещавшись, приняли такой план: у нас две берданки – наша и Михаила; он заходит на остров и скрадывает лосей, а один из нас становится на берегу сухой протоки, на случай если вспугнутые Михаилом лоси пойдут по своему следу назад. План был мой. Кинули жребий: идти выпало мне.

Я стоял в кустах на самом краю сухого ложа протоки. Напротив, метрах в 50–60 был остров. Сплошная стена ивняка. Туда ушел Михаил. Я жду вроде бы давно. Ни звука. Рассеялся туман над водой, и переменилось всё сразу. Казавшийся высоким тальник как бы присел. Всё стало мельче, когда, прорываясь сквозь кусты, показались лоси. Три – два молодых и матка. По правилам коров не стреляют, молодых тоже. Но бить надо. Стрелять молодого из-под матки – наверняка придется иметь дело с ней, она будет защищать.

Лоси прыжками пересекли протоку метрах в 150 от меня. Я стрелял корову. Она споткнулась и упала. Перезарядил, жду. Вот делает попытку встать. Стреляю вторично, целясь в шею. Она ложится на бок. Молодые уходят галопом вдоль протоки. Это уже крупные звери. Тут охватил охотничий азарт, я выцелил одного, вроде бы смазал, но он слегка дрогнул. Они скрылись в лесу, а я пошел к лосихе. Она подыхала.

Я понимал, что поступаю не по закону, но относительно ее совесть была чиста. Здесь, под горами, надежда на добычу была минимальна, на рыбу тоже, а до Боярки больше полусотни километров, то есть не меньше двух дней пути. А вдруг выйдем мимо и будем еще пробиваться к ней – шут ее знает, что стоит эта карта. Забить одного из колхозных оленей нельзя, да и что в них толку сейчас? Так что лось был большой удачей. И были мы на работе, не слонялись по лесам ради удовольствия, избивая всё живое на пути. А вот выстрел по теленку – он был не нужен. Каюсь. Радости от удачливой охоты было мало. Только до падения коровы. Потом, рядом с тушей – как будто попал на скотобойню. Это был мой первый лось, и такого эффекта я не ожидал.

Михаил пришел радостный. Он в зарослях скрал лосей, но показалось далеко, стал еще подходить и спугнул. Подойдя к туше, он сразу возвел меня в ранг охотника («совсем умный охотник, всё как надо выдумал», но это было, так сказать, расплатой за то, что я не увидел след оленя на мху там, в горах). И он сразу стал хлопотать над тушей. Лосиха была убита первым выстрелом, вторая пуля толь-

ко задела горло. Подошли Петр Семенович с Семеном. Семен стал помогать в разделке, а Петр Семенович попросил винтовку: «пойти посмотреть, подозрительно, по вашим словам. Попали, вероятно, и он где-нибудь тут залег».

Он ушел и через полчаса стрелял. Действительно моя пуля тяжело ранила зверя, и Петр Семенович дострелил его.

Целый день возились мы с мясом, пока разделали туши, перенесли мясо к палаткам, снимали мясо с костей. Нам не под силу было взять его с костями, а я настоял, чтобы всё навьючить и везти в Боярку: звери взяты и надо их использовать, а там, вероятно, сидят вовсе без мяса.

На второй день мы подсушивали ломти над костром и отъедались сами. Без соли приходилось варить очень крепкий бульон, либо поджаривать с острым соусом, чтобы хоть немного обманывало вкус.

На третий день пошли – по прямой, по компасу. Тропы не было. Было очень жарко и душно, как только может быть северным коротким летом, когда кругом болота.

На второй день пути я свалился с пунцово-красным лицом и затрудненным дыханием. Напугал Петра Семеновича, но отдышался и смог вести дальше караван. На факторию мы вышли, ошибившись всего на полтора километра, к вечеру третьего дня. Мясо уже стало немного киснуть, но Михаил твердо сказал, что не надо его кидать, оно, дескать, и так очень вкусное.

Поселок со школой, библиотекой, магазином казался чудесным. Как только развьючились и кое-как устроились в доме, Михаил ушел в колхоз. Через полчаса оттуда явились за мясом. Оно действительно пришлось к месту и по вкусу и всё пошло в дело.

Поселок делился на две неравные части. Подальше от реки располагалась большая его часть, колхоз, вернее его правление. Там в десятке домов жили долгане, в основном рыбаки, оленей было вовсе мало. Да и с рыбой не густо, ее в Хете и весной почти нет, летом и подавно. Ближе к реке расположилась старая фактория. Две учительницы, библиотекарша, завмаг (она же продавец), фельдшер, оленевод-техник, приемщик рыбы. Кто с семьей, кто бобылем. Здесь мы и расположились с Петром Семеновичем, а эвенки предпочли колхоз, туда и увели оленей.

Мы должны были ожидать Александра Александровича и Ермолая, которые гнали на лодке наши продукты из Волочанки.

Прошли первые часы упоения культурой: соль в любом количестве (мы купили на двоих 2 кг), баня, сон без комаров, новые знакомства. Зоотехник с женой и ребенком был из Забайкалья, из села, где и я бывал когда-то – Бурлятуя. Здоровый грубоватый мужчина, типичный забайкальский старожил, очень практичный и хорошо знающий чего

он хочет (у него, кстати, были изумительно крепкие свои олени, «хлебные», сохранившие силу и после зимы).

Три девушки – две учительницы и библиотекарь – были распределены сюда по окончании техникума. Трудно было им здесь, совершенно не приспособленным к такой жизни. Как только отбирали посылавшие их, и кто были эти многомудрые педагоги?

Завмаг-продавец, одиночка с дочкой, из тех, кому жизнь не дается, добрела сюда из блокадного Ленинграда. Не умеет бороться иначе, как приспосабливаясь и ловча.

Но мы попросту отдыхаем и скоро сдружились со всеми. Нас наперебой зовут в гости, сидим вечерами то в том, то в другом доме и туда приходит чуть ли не весь поселок. Много ли таких гостей может быть, ведь гость даже из Волочанки или с соседней фактории и то редкость?

Знакомимся и с долганами. Первым приходит председатель – поблагодарить за мясо: «хватило всем, очень вкусное. А то рыба не ловится, совсем мало есть стало. Ты много помог». А потом говорит непонятное: «Товарищ, вы огород едите?». Мы переглядываемся. Догадывается Петр Семенович: «Не овощи ли он предлагает? Какой огород? Неси, покажи.»

Через минут двадцать принесли мелкую репу, брюкву, редиску. В репе и пяти сантиметров не было. Мы покупаем по баснословной цене – две репки равны килограмму сига. Но это радость и она еще больше от совершенной неожиданности. Потом узнали: колхозу, в порядке продвижения культур на север, спустили план. И хоть слабенько, но уродилось. Никогда не евшие овощей долгане наотрез отказались их пробовать. Продажная цена, установленная округом свыше, была такой, что покупать местным русским не под силу. Так и пропадал урожай со всех трех грядок. Отсюда и вопрос председателя: «А ты огород ешь?» И мы его чуть ли не весь съели.

Среди других в Боярке была и интересная встреча. Достать рыбу было трудно и реально только у ее приемщика. Так мы познакомились с Петром Павловичем, уже относительно пожилым человеком, попавшим на Таймыр в конце НЭПа. Как и все северяне-старожилы, он многое умел. Не знаю его специальности, сейчас она была одна – северянин. Разговор начался о рыбе. Как и подобало приемщику, он о ней знал много. После покупки малосольных хариусов нас оставили пить чай. И как-то само собой узналось, что хозяин хорошо знает классику. О Шекспире говорил так, что глубине и самобытности могли бы у него поучиться многие литераторы. Словом, это был собеседник высшего сорта. И это не было остатками привезенного с собой интеллектуального капитала. Это приобретено здесь в долгие зимние



ночи. Всё выношенное, настоящее. И в эту, и в последующие наши встречи посидеть у Петра Павловича было не только обязательным, но и увлекательным делом.

В Боярке, бывшей фактории Главсевморпути, сохранилась почти полностью библиотека, засланная сюда еще при руководстве О. Ю. Шмидта. В те времена очень серьезное внимание уделялось культурной роли фактории. Кстати, тогда работники не могли попасть сюда по распределению или по анкете – их действительно знали и посылали только тех, кто достоин и по-настоящему хочет работать для Севера. Библиотечка была изумительная: всего 400–500 корешков, но какой выбор! Русская классика, Шекспир, Гюго, Золя, Гёте, Шиллер и кого там еще не было, вплоть до Анатоля Франса. Новая литература, самым тщательным образом подобранная, естествознание, политическая литература. Но читателей не так много. Русские читали не все, были даже случаи изъятия книг на курево (если не было бумаги в магазине) и библиотекарша горько жаловалась на этих дикарей. Но некоторые читали много. Наилучшие читатели – школьники. От них нет отбоя всю зиму, летом некогда, другие дела. В большинстве это долгане. Но стоит им кончить школу, как через год они втягиваются в другую жизнь и книг не берут.

– Ну, как мне приучить их и тогда книгу любить? – спрашивала одна из учительниц, – как ни стараемся, не выходит. Не умеем.

Как и положено, в дом к нам зачастили ребята. Изучали всё, всё ощупывали, обо всём расспрашивали.

– Дядя, а коровы всегда молоко как мука дают, или бывает как олени?

– Дядя, а какой бывает автомобиль?

Наши объяснения не удовлетворяют: не знают они ни колеса, ни телеги. Не доходит. Петр Семенович замолкает. Потом догадывается:

– Самолет знаешь? Ну вот, возьми самолет, обломай ему крылья и пропеллер. Он тогда только по земле бегать сможет. Так и автомобиль.

– Понятно. Надо было сразу так сказать.

Кстати, тому же Петру Семеновичу жаловалась одна девушка в Туруханске:

– Не умеют у нас снимать кино: сколько раз так хотелось посмотреть, какой он, поезд. Ну, ни разу не сняли как следует – только покажется – и нет его. И всё сбоку, только кусочки какие-то. А как хочется хоть в кино его увидать.

Коренным вопросом в Боярке было:

– А Гитлер какой бывает, как человек или нет?

Вопрос был вызван тем, что в местной газете нередко печатались карикатуры на Гитлера, грубо переделанные с карикатур центральной

прессы, и наши собеседники не могли понять, человек ли изображен на этих карикатурах.

Прошло несколько дней, прибыли с продуктами Александр Александрович и Ермолай. Олени малость отдохнули. И мы двинулись дальше, к реке Меймече, главной цели нашего похода этого года. А в пути, у основания гор, наш пес облаял и остановил на отмели молодого лося, второго из той семьи. Он выглядел гладким и явно прижился. С трудом мы увели пса.

Меймеча была главной целью – будто бы оттуда и происходили кусочки слюды, дошедшие длинным путем до Норильска. Было существенно выяснить обстановку ее появления (если она там есть, конечно, эта слюда) – наши тогдашние знания о слюде как будто исключали ее находку в здешних геологических условиях.

4. Меймеча

Это был путь первого года, на следующий мы прошли на Меймечу прямо, минуя участок Аякли – Романиха, и этот путь основательно забылся, тем более что там не было ни интересных встреч, ни больших геологических новостей. Мы продвигались к востоку, к нашей конечной цели. Только когда пересекли Романиху, появились первые дуновения нового. Лет за 10 до нас здесь прошли два молодых геолога А. Кордиков и П. Кабанов. Они встретили выходы весьма оригинальных изверженных пород, но на месте не разгадали этого своеобразия и в результате сведения их оказались очень скромными. Только изучение под микроскопом взятых ими немногочисленных образцов показало, что есть нечто интересное.

Первая наша находка была сделана Петром Семеновичем в верховьях Романихи. Но, несмотря на присущую ему дотошность и пристальное внимание, удалось узнать немного. Среди пластов песчаника угленосной толщи сидело небольшое тело, всего в сотни метров в поперечнике, явно необычной породы, во всяком случае, не обычного для здешних мест габбро-диабаза. Удалось только увидеть, что изверженная масса внедрилась в песчаники и что порода необычна. Снова надо было запастись терпением в надежде, что где-то в другом месте мы получим дополнительные сведения, и обострить внимание, чтобы не пропустить их. Еще два дня, и в верховьях небольшой речки Делькан мы остановились на участке, откуда происходили образцы Кордикова и Кабанова. Здесь встали на несколько дней.

То обычным ходом, то чуть ли не на четвереньках, мы исхаживали склоны небольших холмов, возвышающихся на плато.

Это всегда мучительно и всегда интересно – первичное узнавание. Поначалу всё кажется одноликим, как кажутся залетному путеше-



ственнику люди другой расы. Но смотришь и смотришь, переходишь с места на место, возвращаешься. И иной раз постепенно открываясь, а иногда вдруг – появляется уверенность в наличии нескольких разных пород. И тогда возникает вопрос – а есть ли между ними резкая граница, или они переходят одна в другую постепенно, и в чем, собственно, их отличия? Вообще, в чем дело здесь? И снова внимательное вглядывание на месте, у выхода, а затем пересмотр и обдумывание вечером в палатке. Уходишь дальше, добирая новые впечатления, иной раз возвращаешься. Пытаешься положить границу между породами на карту. Но ведь подробной топографической карты нет, и надо заниматься глазомерной съемкой. Глазомерная – не значит неточная. Делается карта, на ней предварительная геологическая карта. Последняя никогда не может быть закончена, потому что всегда удается найти какие-то новые данные, меняющие в какой-то степени понимание района. Так что и для тех, кто придет после нас, всегда найдется работа.

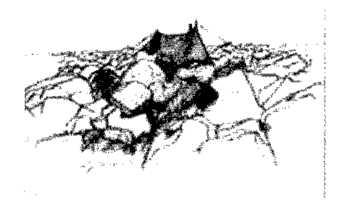
Из нашей геологической схемы этого участка стало ясно, что изверженная порода лежит в виде линзы, внедренной в те же песчаники. К моменту, когда она была закартирована – всё стало ясным. Но ясность обманчива. Вот нашлось что-то новое, потом еще. И ясная картина затуманивается, надо пересматривать наши заключения. Так всегда. И если встречаешь геолога, которому всё ясно, который всё угадал за несколько маршрутов – можешь не сомневаться, что он видит не то, что перед ним, а то придумал заранее. И полагаться на его суждения опасно. Проработав один сезон в сложном районе, он уже всё постиг и так и остается с этим на следующие сезоны.

А на деле всё иначе, всё надо пересматривать. Так было и с нами в то лето. Прежде всего ясно было одно – мы знаем и видели непростительно мало. И новый материал не хотел лезть в уготованные ему рамки. Надо было думать сначала, «ходить, разомлев от брожения», мучиться. Самое плохое, если задачу решаешь так: я знаю то-то и то-то, значит, перебирая комбинации, можно найти правильное решение, оно уже почти в кармане. Нет, не в кармане, потому что знаешь всегда мало и не полно. Да и то, что знаешь – так ли оно абсолютно? Приходится искать и искать решение, и оно не находится логически, а приходит как бы само собой, и в самый неподходящий момент.

После первых двух дней мы наткнулись на десятки жил породы нового типа: черной с сидящими в ней бурыми кристаллами (ее название потом определилось – авгитит, тоже не часто попадающаяся порода). Петр Семенович, уйдя в сторону, на речку Чангыт, обнаружил еще одно тело, и опять порода была новой. Новостей поступало всё

больше и больше. Наше дело было собирать их, копить и пытаться разобраться что к чему.

Осень надвигалась быстро, шли первые числа сентября, а в здешних местах в половине его, или числа двадцатого, окончательно ложится снег. Впереди, в одном переходе от Дельканского жильного поля, как мы назвали это место – была Меймеча. Мы увидели ее сверху, с высоты плато. Река шла в узкой щели пропиленного каньона, между отвесных стен. О спуске к ней с караваном нечего было и думать. Вверх по реке ущелье расширялось, появились полоски леса вдоль берегов и отчетливый бечевник. На север, вниз по течению, глубокое и мрачное ущелье заворачивало, проглядывалось только на пару километров. Узенькая полоска лиственниц виднелась то по одному, то по другому берегу, река шумела между глыбами камня.



Мы стали лагерем на самом верху плато. Оттуда легко идти во все стороны, но только не к реке. Место было непригодно для оленей – сплошная россыпь камней, уже припорошенных первым снежком, – и они ушли с пастухами в долину Делькана. Палатка наша неуютно торчала на крохотном пятачке среди бело-черных глыб и была доступна всем ветрам.

Вершина плато, как своеобразное межэтажное перекрытие, покоилась на пластообразном теле обычного габбро-диабаза. Раскаленная жидкая магма, поднимаясь по трещине из земных глубин, не нашла выхода на поверхность. Возможно, он был закрыт пробкой из ранее поднявшейся застывшей той же магмы. Гонимая мощным напором снизу, диабазовая жидкость внедрилась вбок, двигая слои песчаников и сланцев, вклиниваясь между ними. Ломала эти породы и проталкивала обломки впереди себя. Такое явление мне пришлось видеть раньше, на речке Фокиной, между Хантайкой и Дудинкой. <…> Раскаленная жидкость не только дробила частично породы, но и переносила их обломки впереди себя. На Меймече конец силла не сохранился, разрушение, выветривание и снос пород вырезали часть тела, образующего плато.

Впереди была страна «Меймечия», откуда, по сказам, пришла к нам слюда.

Наши попытки узнать что-либо дополнительно дали мало. Кое-что узнал у боярских долган Ермолай: «На том берегу есть небольшой кряж по названию Хлуда, там она и есть». Название говорило многое. У здешних якутов и долган есть звуки, взаимно заменяющие друг друга. Таковы Б и В, несколько реже М и Б. Между ними долгане

как бы не чувствуют разницы. То же с Х и С. В результате название гор, пишущихся на картах Путорана (это название, вероятно, пришло с юга, в Волочанке, Боярке и Катырыке оно неизвестно), звучит здесь на любой лад из четырех: Сыверма, Сырба, Хабарба, Хаверма. По-местному изменения звука здесь нет. Так вот гора Хлуда, могло обозначать только одно – слюда. Мы пробовали позже выяснить: откуда пришло слово. В записках о крае о слюде нет ничего. Может быть, оно древней и занесено сюда первыми русскими, пришедшими на Пясинский север еще из Мангазеи? Они-то должны были интересоваться слюдой.

На третий день пришли каюры и олени, мы быстро собрались и покинули наш «Горный уют» без всякого сожаления. Внизу с радостью залезли в благоустроенную палатку, грелись – наверху дров едва хватало, чтобы приготовить еду. Блаженствовали за чаем со свежими лепешками.

А на следующий день переправились через Меймечу немного ниже ее выхода из гор. И встали около нее. Тут новости не заставили себя ждать. С утра, только выйдя в маршрут, мы наткнулись на тёмные жилы породы, которой, по всем канонам, явно чужда слюда. Но в этих жилах она была. Наше условное название породы потом оказалось правильным, это был перидотит, очень богатая магнием и железом (но не их рудами) порода. И я хорошо помнил, что мой учитель, один из лучших петрографов страны В. Н. Лодочников описывал содержащие слюду перидотиты как величайшую редкость, как аномальную породу. Здесь их было много, на небольшом участке десятки крупных жил. Много набралось новостей за один день и главная из них, что существуют большие тела, сложенные редкими породами. Тогда мы и представления не имели, какого размера достигают эти тела. Мы проследили сложную, составленную из ряда пород массу на первые километры. Истинный размер был установлен на следующий год – сотни квадратных километров, позднее оказалось около двух тысяч. А пока, по колено в снегу, мы ходим по пологим горкам и пытаемся составить хоть какое-то представление о новом участке. Узнали очень мало – давит зима, и будь мы хоть лучше экипированы для нее, толку бы было мало – снег. Зима пришла раньше, чем мы предполагали, раньше, чем обычно. Еще бы хоть недельку! Но и этой недели неизвестные боги решили нам не давать. Мы стали готовиться к обратному пути по низине, по зимнему тракту. Только бы встали реки и выпало достаточно снега. На это требовалось около двух недель. А пока мы с упорством, заслуживающим лучшего, ходим по снегу и пытаемся хоть что-то увидеть дополнительно. Конечно, отбираем образцы, но узнаем мало.

Самое красивое, что мы видели за это время, – лиса-сиводушка. Она не раз мышковала у нас на глазах, но не подпускала на выстрел, к огорчению Александра Александровича.

Мы понимали, что как ни мало мы узнали об этом крае, одно весьма существенное ясно: нет аналогии в строении западного (норильского) и восточного краев лавового поля Сывермы. Здесь, на востоке, нечто совершенно новое, и оно требует тщательного исследования.

Не следует удивляться, что во всем этом описании нет ни споров между нами, ни разговоров вроде бы хоть такого:

– Да, Юрий Михайлович, я понимаю, что всё это надо еще исследовать.

– Это прекрасно, Петр Семенович. Найденный вами сегодня тешенит указывает на возможность находки небывалых для этих районов месторождений.

– Конечно, я готов идти туда снова, чтобы найти, наконец, кимберлиты и алмазы.

Все эти «глубокомысленные», важные, полные «научных» исканий разговоры, немедленное узнавание нового, конечно, глупости. Такие описания, оформленные под литературу, чем-то напоминают мне такой случай: давно, в начале тридцатых, академик Обручев направил ко мне некоего деятеля кино, хотевшего иметь консультанта для постановки фильма о великом оледенении. Набросав возможное содержание фильма, я снова встретился с деятелем. Он ознакомился с запиской и заявил, с тоном явного превосходства: «Ну что это? Никакого действия нет. Вы мне дайте такие сцены – как танк, лезет на зеленеющие джунгли высокая стена льда. Его обломки катятся сверху на пальмы и другие растения, под ними гибнут раздавленные тигры и слоны. А вы – еле двигающийся лед, ничего не гибнет, всё тихо. Нет. Для кино такое не пойдет». Мы расстались.

Так, «ученых» разговоров у нас нет. О геологии говоришь редко, пару фраз. Это о больших делах, а так, каждый день, чаще всего появляются такие выражения: «не понимаю», «чёрт ее знает, как ее зовут, вашу породу» и тому подобное.

Даже уходя всеми чувствами в поиск нового решения, не всегда можно проявлять нетерпение. Мы узнаем новые породы, новые факты, но не всегда знаем, как это применить. На каждом шагу убеждаешься, что ничего толком не знаешь, поэтому больше переживаешь, думаешь, чем говоришь. И всё-таки что-то укладывается в голове. И мы готовимся настаивать в Норильске на посылке нас сюда на следующий год, потому что ясно, что большая часть маршрута от Камня до Меймечи дала мало, а всё главное в стране Меймечии



С этим в серое мглистое утро мы трогаемся в обратный путь к Боярке, оттуда к Волочанке и через тундру к Норильску. Уже по глубокому снегу олени тянут грузовые нарты. Серые холмы, серые подо льдом озера, серые лиственницы. И пока сидишь на санке, ногами вбок, глядишь на медленно уходящие назад снега – в голову приходит самое разное. Тогда был еще у меня небольшой голос, и, даже неожиданно для себя, приходят мотивы, давно забытые. Может быть, в первый раз от сотворения мира здешняя тундра слышит шубертовскую серенаду или сегидилью из «Кармен». И тенями проходят мысли, их обрывки. Это хорошо, потому что где-то в глубине сам по себе укладывается материал, сортируется, и к приезду в Норильск мы знаем о нашем районе больше, чем уезжая с Меймечи.

5. Снова на Меймече

Ранней весной мы снова на Волочанке. Снова организуется караван. Семена не берем. Михаил едет. Едет и Ермолай. На этот раз базируемся на Катырык. Чтобы заброситься туда, надо перебросить несколько тонн нашего груза из Волочанки. В те годы единственный путь – на оленях. На носу распутица, идет запоздавшая, как и всегда, заброска товаров на фактории. Переброска наших вещей становится проблемой. Навстречу идут райком и райисполком – по их инициативе снимаются все олени – по этому вы можете судить о мощности товарных потоков в тундре в те годы – и одним рывком мы и груз оказываемся в Катырыке. Позже мы узнаем, что товары на места всё-таки были доставлены вовремя, и, таким образом, мое предложение использовать для этих целей и наших оленей – отпало.

На этот раз мы ехали с более или менее ясными планами. Ясен район исследований – к востоку от Меймечи до Котуя,

Ясно, что надо изучать – прежде всего распространение открытых в прошлом году пород и понять их соотношение с лавами и габбро-диабазами. Зимой на столике микроскопа породы многое рассказали о себе. Владимир Климентьевич стал нашим самым активным помощником. Сколько раз собирались мы, сообщая друг другу новости в обработке материала, совещались и снова садились за работу. Весь комплекс новых для нас пород из Меймечии был как бы из одного корня. Если хотите, это как клан или племя, в котором все одной крови. Не случайное сборище, а все они, сливаясь в одно целое, противостояли семейству базальтов и габбро-диабазов.

Но это, пожалуй, и всё, что узналось. Названий пород – целая куча. Все породы явно обогащены щелочами и почти все – редкие. Такие встречаются в малых количествах и хорошо если раз-два за жизнь геолога. А в нашем районе практически только такие. Одна

порода вообще еще не попадалась геологам, и мы с Владимиром Климентьевичем придумываем ей имя. Сходимся на «меймечите» в честь Меймечи.

Из Катырыка мы двинулись вверх по Меймече по последнему снегу. В этом году старшим в караване якут из Катырыка (в Катырыке все якуты) Дмитрий. С ним его жена Ставаит (Степанида), пожилая якутка Прасковья и оказавшийся достаточно бесполезным Николай. Кроме того, с нами из Норильска двое рабочих, чтобы копать и промывать на переносном устройстве пески.

Изменился и инженерный состав: остались с прошлого года Петр Семенович и я, новые – Федор Аркадьевич Старшинов и Арсений Емельянович Туманов. Их главная задача – глазомерная съемка.

Уйдя из Катырыка, мы перешли ниже гор Меймечу и встали на весновку в одном переходе от места начала наших работ. Дмитрий переезжал реку последним, на следующий день после нас. Лед посерел и выгнулся, будто река потягивалась и пружинила спину. Поверху пошла вода, прорвавшаяся где-то выше. Тогда лед как бы опустился, исчез с глаз, и видны были только мутноватые, с белой пеной, волны. В этот момент и появился на том берегу Дмитрий.

Мы кричали, но он не мог нас слышать за гулом реки. Мы махали руками, указывая, чтобы он остался. Но он ввел в воду оленей, санка качнулась, как бы хотела всплыть. Дмитрий стоял в ней с вожжой в руке и подталкивал оленей хореем. Кто-то бросился запрягать оленей, на случай, если потребуется помощь.

А санка Дмитрия медленно двигалась к нам. Воды надо льдом было чуть выше колена. В середине реки санка качнулась, ее стало разворачивать и вниз по течению. Снесет! Но пара сильных ударов хореем, быки рванулись, и снова выравнена санка. Через нее хлещет вода и обвивает ноги Дмитрия. Еще пара минут – и мокрые олени, тяжело дыша, ступили на берег и выволокли санку, а Ермолай с Николаем подскочили к ней помогать Дмитрию.

Вода шла по льду еще часа три. Потом что-то ухнуло, затрещало, вздыбились, одна за другой, плоские льдины и начался ледоход.

Маймеча, как она сейчас зовется на картах, или Меймеча, как произносят местные и как ее именовали на старых картах, – большая река. Она течет с плоскогорья на север и впадает в Хету у Катырыка. Не надо думать, что название реки имеет какой-то смысл на языке якутов или эвенков. Наш Дмитрий недоуменно взглянул на меня, когда я спросил:

– А что значит Меймеча?

– Однако русское слово. Однако, Меймеча – там шибко меймедь ходил. Так имя русские давали.



Словом, «Меймеча» – это своеобразное произношение, так сказать, объякученное слово «Медвежья». Но в отличие от бесчисленных Медвежьих ручьев и речек, название этой реки давнишнее, оно ушло от русских к якутам и снова, уже в новой транскрипции, пришло к нам. И хорошо хоть избегло набившего оскомину трафарета.

В 1944 году район Меймечи стал основной целью наших работ, и мы многократно пересекали всё междуречье ее и Котуя, а частично и левобережье. Район оказался настолько интересным, что через короткое время по нашим следам там побывало чуть ли не десять экспедиций, в том числе продолжал работать наш Федор Аркадьевич Старшинов.

На значительном протяжении река врезалась в плоскогорье, выработав в нем глубокий каньон с отвесными стенками. Немного ниже она прорывается по ущелью в узкой долине и только очутившись за пределами гор на северной равнине – свободно разливается и делается менее быстрой. Именно здесь мы переходили на восточный берег в наиболее интересные участки нашего района. Там, в пределах Гулинского поля изверженных пород (оно названо по речке Гуля, притоку Меймечи), находился поставленный нами лабаз, наш склад продуктов и запасного снаряжения.

Надо ли описывать лабаз? Представьте себе укрепленную на высоте в два человеческих роста на трех близко стоящих деревьях треугольную платформу. Она состоит из рамы, связанной из нетолстых бревен, на которую настлан и укреплен накатник. Все сучки и ветки ниже платформы аккуратно обрублены. Сама платформа выдается в стороны от стволов на такое расстояние, чтобы медведь, если он залезет по стволу, не смог достать до края лабаза. Но главной задачей является спасение запаса не от медведя – он, конечно, опасен, но не всюду его много и не всякий медведь полезет на лабаз. Куда опасней мыши и другие мелкие грызуны. Мыши – их много и они вездесущи. Мышь залезет, испоганит, изгрызет всё так, что придется выкинуть остатки и самому искать спасения от голода в ближайшем поселке, километров за сто, а то и больше. И выступы лабаза во все стороны охраняют не в меньшей степени, чем от медведя, «от мыша», потому что не пробежать ему вниз головой до края лабаза. Только бы сама платформа была плотно сложена, без щелей и дырок. От дождя и снега вещи укрываются корой или брезентом, увязываются и лабаз готов.

Такой лабаз, построенный под руководством Петра Семеновича – он делает всё хорошо, продуманно, не спеша, – служил нам как бы центром наших «владений», сюда приходили мы, чтобы сложить собранные коллекции, взять продукты, пару дней отдохнуть. Здесь

была и «почта» – оставляли друг другу письма. Мы работали двумя отрядами, Петра Семеновича и моим.

Здесь же, в ожидании осеннего ремонта, стояли наши санки и нарты.

Начинали работу мы вместе. Ранним летом, когда снег ухитрился еще каким-то образом сохраниться в особенно больших надувах и комаров еще не было, мы снова исхаживали прошлогодний участок. Зимняя обработка материалов позволила куда более отчетливо подойти к исследованию в поле. Постепенно создавалась геологическая карта, и удивление и недоумение прошлого года день за днем сменялось узнаванием, а позже и прямым знанием. Это процесс, который трудно описать.

Если обратиться к сравнению с романтическим уклоном, он окажется схож с постепенным рождением на наших глазах ландшафта на рассвете: неясные пятна, какие-то линии, первые контуры темных предметов, лишенные красок; потом всё ярче, подробней и – в какой-то момент – сложный в кажущемся хаосе контуров, наполненный красками мир. Но в работе мы не романтики. Шаг за шагом исхаживаем район. Намечающиеся границы и пятна пород позволяют предугадывать, что можно найти дальше, новые маршруты подтверждают или опровергают догадки и ставят новые вопросы – им же несть числа.

Никто из нас никогда не работал на подобных геологических объектах. Мы, как и подавляющее число геологов того времени, даже не слышали о них. Это лишний раз показывало, как скромны знания, и лишний раз заставляло придумывать технику исследования, годную для нашего случая. Выход был найден дней через десять:

– Эти породы следует картировать так, как мы картировали бы большое гранитное тело.

Решение, казало бы, куда как простое, за открытие его не выдашь. Но для нас оно было решающим. Для меня особенно.

Рассказать не геологу в чем заключается новизна решения трудно. Лучше поговорим о другом: пути в естествознании, где только очень редко можно проверить себя исчислением, и даже там, где математика не такой уж редкий гость; можно идти двумя путями, незаметными или малозаметными для посторонних, но очень важными для результатов исследования. В одном случае это, так сказать, попытка диктата. Я, дескать, всё продумал, всё взвесил, всё проверил. А посему знаю – должно существовать то-то и то-то. Так, твердо зная, что Земля – центр Вселенной, и найдя нечто непонятное в движении планет, создали в старину астрономы теорию эпициклов. Так, зная наперед, что люди не белой расы не могут стоять на одной ступеньке с белым человеком, путешественники находили сотни доказательств этому. Обычно не



увидишь сразу в работе ученого насилия над природой, и всё-таки оно есть, потому что мы еще до открытия уже «знаем» то, что должно быть открыто и, вольно или невольно, диктуем миру наше знание.

Есть и второй путь. Он подчинен миру. Утрированно – вы как ребенок протягиваете руку старшему и послушно идете за ним. Я по-прежнему задаю вопросы, потому что связан тем, насколько не в состоянии понять всё видимое и ощущаемое, когда ищу ответы. Но, задав вопросы, я внутри себя отказываюсь от управления миром, его ответами. Я только слушаю их и гляжу на то, что показывает мне Земля.

Казалось бы, эти два пути столь различны, что трудно не разобраться в них. Это неверно. Граница между ними еле заметна, и легче легкого, начав с правильного второго пути, увериться в своих возможностях и покинуть его.

И нашим счастьем в 1944 году было то, что, узнав кое-что о районе, мы сумели почти всё время идти за ведущей нас рукой. Мы впитывали в себя окружающее, перерабатывали поглощенное, вглядывались во встающие вопросы, и снова на следующий день давали окружающему свободно проникать в нас.

Таких периодов в моей жизни было немного, и они запоминаются «надолго и всерьез». Конечно, при всем этом наши выводы в какой-то степени были предопределены всем, что было в нас от предыдущей работы, поэтому объяснение многих наблюденных фактов было специфически нашим, другой геолог мог сделать это иначе. Но самые факты, самые соотношения мы не выдумывали, их диктовали нам сами камни. И дальнейшие исследования в районе подтвердили, что в этом отношении нам кое-что сделать удалось.

Мы были настолько увлечены этой ролью ведомых, что как-то спокойно воспринимали своеобразный ландшафт. Он был само собой понятной чертой района, как сами собой понятны, только им присущи, голоса Шаляпина или Неждановой. Пологие холмы как бы подчеркивали совсем не «норильский» характер района. Местами они покрыты лиственничными лесками, чаще – каменистой тундрой, кое-где переходят в своеобразный ландшафт неправильно разбросанных островных горок с такими неожиданными долинками и такими формами, что они походят на формы пустынных горок в «дурных землях» под Тянь-Шанем. Покрыты они здесь хрящом и дресвой и, действительно, напоминали пустыню.

Меймеча не слишком рыбная река, но мы довольно исправно, если становились на ней лагерем, добывали хариусов и сигов. Чаще всего рыбу брали в сети-поставушки. Вынимая ее из сети, бросали на берег, и кто-нибудь, чаще всего Петр Семенович, начинал тут же ее чистить, не дожидаясь, чтобы она уснула. И каждый раз Федор

Аркадьевич, потрясая свой бородой-лопатой и то снимая, то надевая на свои близорукие глаза очки, говорил:

– Ну, Петр Семенович, нельзя же так! Что вы делаете! Вы посмотрите на ее мученические глаза, Петр Семенович!

Но рыба чистилась, попадала в котел или на сковороду, и исправно съедалась нами, Федором Аркадьевичем в том числе.

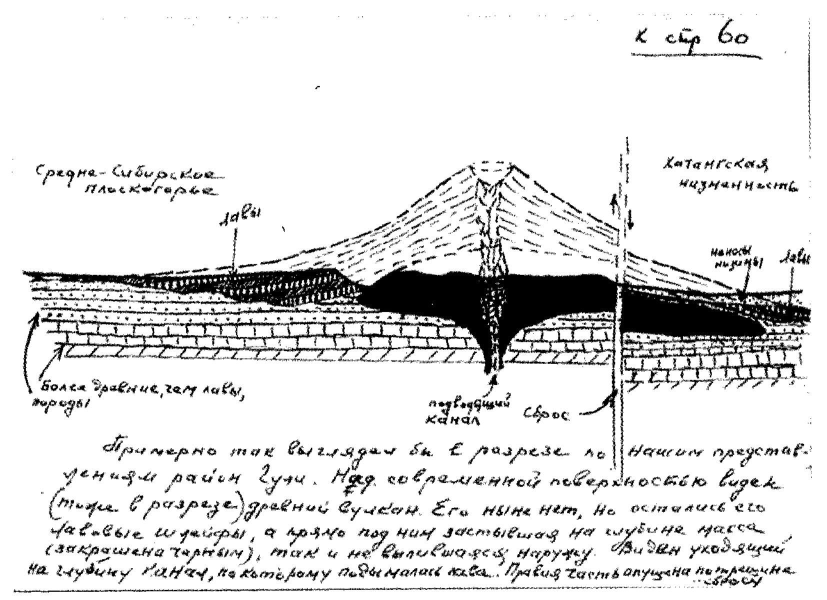
В качестве плавсредства использовалась складная самодельная байдарка. Их в те времена не было в магазинах, на норильском севере и подавно. Удалось найти ее описание, и, под руководством старшего инженера-буровика Павла Петровича Берне, мага и чародея в подобных предприятиях, мы сделали две или три таких лодочки. Одна из них была у нас с собой. При переправе через реки она служила посменно то грузовым судном (кроме человека она принимала килограмм до восьмидесяти груза), то пассажирским катером, то, наконец, позволяла переправить через реку оленей – они плыли стадом за передовым, которого буксировала байдарка.

6. Древний вулкан

Между тем мало-помалу мы всё лучше понимали геологию района. Как показали последующие исследования, мы сумели выделить еще далеко не все здешние породы, но главные были нам известны. Мы многое узнали об их соотношениях и могли уверенно говорить для большинства какая из них моложе, какая древнее. Правда, немало вопросов оставалось по-прежнему без ответа, еще больше вопросов родилось в ходе изучения, но ведь это в порядке вещей и никуда не годно исследование, при котором на каждый решенный вопрос не встает два новых.

При совместной работе мы покрыли маршрутами свыше тысячи квадратных километров. Были участки буквально исползанные, и при этом неоднократно. Так постепенно выяснилось, что мы ходим по огромному «караваю», верней по его половине, сложенному серой, нацело состоящей из одного минерала – оливина, породой – дунитом. Дунит – не такая уж редкость, но, как правило, он слагает небольшие тела, площадью в единицы – десятки километров. А перед нами была половинка (другая опущена, отделена сбросом и покрыта наносами прилегающей низменности). И площадь этой половинки без малого тысяча километров. Этот «каравай» – мы, правда, могли только предполагать, что снизу он более или менее плоский, как каравай черного хлеба, – проткнут более молодыми, но родственными ему породами. С одного края его рвали меймечиты (мы о них упоминали уже), крайне своеобразные породы, тоже в значительной мере оливиновые, похожие во многом на лавы, но лавы необычного,

небывалого состава. Правда, по нашему представлению, они не выливались на поверхность, а застыли где-то вблизи от нее. Но после было доказано, что есть и застывшие потоки их, настоящие лавы. Примерно в середине дунитового «каравая» была площадь, где секли одна другую разнообразные и все очень редкие породы. И чем они моложе, тем своеобразней. А самыми молодыми оказались два массива известняка полосчатого, светло-серого, мрамороподобного. Они причинили нам немало хлопот, потому что известно, что известняк – порода осадочная, образуется на дне морей и никак не может прорывать изверженные и другие породы. Как же он мог попасть в середину огромного массива изверженных пород, прорывать их (а это мы увидели совершенно отчетливо)? Глубоко внизу, под «караваем», залегают древние известняки, которые магма должна была



прорывать, чтобы подняться. Так что можно себе представить (вообразить), что она могла захватить глыбы такого известняка и принести их с собой. Но глыбы-то наши чуть ли не с километр в поперечнике! И потом, почему эти известняки не обрываются другими породами, как должно было быть, если их оторвало и вынесло наверх течение магмы? Наоборот, они сами изменяют окружающие породы, даже образуют в них многочисленные жилки – это уж вовсе неприлично для осадочной породы. Получается, что известняки наши не древние, а моложе других изверженных пород и сами прорывают их и перерабатывают. Вот тогда вспомнилось, что еще в начале 20-х годов

норвежец Брёггер открыл недалеко от Осло изверженные известняки, которые будто бы образовались из расплава известкового состава. Но кроме таких неясных сведений в памяти ничего не было и, кроме того, такие вещи чрезвычайная редкость.

Мы исследовали один из массивов наших известняков со всей возможной для нас детальностью. На исследование обоих не хватало времени. Мы уверились, что они самые молодые в серии изверженных пород, наметили строение массива и двинулись дальше. И всё-таки они не из расплава. Казалось, что так думать вернее всего – ряд мелких особенностей заставлял нас думать, что это продукты работы горячих глубинных вод – последних появлений высокотемпературной деятельности глубин. Здесь было много от догадки, то, что видно в поле, не могло служить полным доказательством. Но уверенность была. Стоит отметить, что именно по этому пункту – изверженные они или образовались под действием термальных вод – спор о таких известняках (карбонатитах, по-ученому) не утихает до сих пор.

Очень существенной особенностью района было то, что все породы, кроме дунита и меймечита, сосредоточены на одном небольшом пятачке, в центре «каравая». Выглядело так, будто одна за одной поднимались они, конечно в расплавленном виде, по какому-то центральному каналу, накладывались одна на другую и, в свою очередь, прорывались более молодыми. В конце концов из уже остывающего глубокого очага поднялись горячие растворы, несущие известь, и образовались карбонатитовые тела, севшие в виде двух пробок-массивов. Так что, вероятно, жерло было двойным.

Теперь нашей задачей было исследовать окрестности, выяснить, нет ли еще чего-то подобного или Гулинский «каравай» является единственным такого рода телом в провинции. Тогда и родилось название – Гулинская интрузия. Сейчас оно разошлось широко и по учебникам, и в специальных работах.



Знают об этой интрузии и за рубежом.

Дальше на восток, за речкой Сабыдой, мы вышли из поля сплошных изверженных пород. Там в песчаниках и сланцах, всё тех же,

потенциально угленосных, которые мы встречали в Норильске и по пути сюда, мы нашли силлы, сложенные родственными гулинским породам авгититами. Мы всё еще были в Гулинском поле. Жилы, сложенные более устойчивыми, чем песчаники, породами торчали, иной раз образуя естественные стены до 5 метров в высоту и до 1–1,5 километров в длину. Их рассекали правильные трещины и создавали впечатление, что они сложены из отдельных камней, так что несведущий человек мог бы посчитать их делом рук человеческих.

А немного дальше, опоясывая полукольцом Гулинский «каравай», залегали древние лавы. Местами они были целиком родственны гулинским породам, а на западе и юго-западе переслаивались с базальтами, как будто здесь встречались растекающиеся с разных сторон разные лавы. Разобраться так ли это – было нам не под силу, это могло быть задачей еще целого лета работ. На вторую половину сезона вставала более существенная на первых порах задача – осмотр всего окружающего района, чтобы хотя бы частично оконтурить провинцию. Этим и надо было заняться.

Но одно вырисовывалось ясно: мы видели мощные толщи лав, явно привязанные к Гулинскому полю, и, в середине их полукольца, образованный на глубине Гулинский «каравай» с глубоко вскрытым жерлом посередине. Сомнений быть не могло – мы имели дело с древним, нацело разрушенным временем вулканом. Он очень велик и по составу питавших его расплавов – очень необычен.

Петр Семенович с Федором Аркадьевичем, обоими русскими рабочими и двумя каюрами отправились на юго-запад, переправились через Меймечу. Мы с Арсением Емельяновичем, Дмитрием, Ставаит и Николаем уходили на юг. В частности более подробный осмотр и опробование слюды – мы таки нашли ее, но за огромным интересом всей нашей геологии эта находка произвела относительно скромное впечатление. Да, слюда. И листы большие, до 30–35 сантиметров. Темная. Название – флогопит. Она явно связана с Гулинской интрузией, залегает недалеко от южного массива наших карбонатитов. Ее как следует осмотрим позже, сейчас, по теплу, надо торопиться на юг.

7. Великий комар

Летом 1944 года мы с Арсением Емельяновичем работали в степи и на лысых холмах Гулинского поля и почти не знали комара. Работа была нелегкой из-за того, что самыми примитивными способами приходилось создавать топографическую карту. Без нее, как основы, невозможна геологическая работа. А картировать, при меняющейся от места к месту намагниченности пород было нелегко. Стрелка компаса могла с такой же вероятностью показывать на юг, запад и восток, как

и на север. Поэтому, сотворив из небольших, специально заказанных в Норильске чертежных досочек нечто вроде мензул и укрепив их на штативах фотоаппаратов, мы использовали в качестве визира линейки с прикрепленными на них прорезью и мушкой, тоже, конечно, самодельные. Мы добились того, что ошибка в определении не превосходила полградуса и, используя обратные засечки, замкнутые ходы и разбивку местности на треугольники, удалось даже эти ошибки свести к нулю, поскольку самая тонкая карандашная линия на планшете не отмечала их. Если замкнутых ходов нельзя было сделать, для очередной проверки определялся истинный меридиан по солнцу.

В результате Федор Аркадьевич и Арсений Емельянович умудрились создать карты, которые соперничали с составленными позже настоящими, ошибок практически не было.

Итак, для Арсения Емельяновича и меня затруднения были в основном в отсутствии карты и еще, пожалуй, в том, что приходилось искать воду и дрова. Конечно, были затруднения и в самой работе, их всегда достаточно, но в этом и состоит наша работа. Зато ушедшие на левобережье наши товарищи чуть не попали в настоящую беду. Они были в краю обычных для этих мест лиственничных лесов, с тундрой на самых высоких местах.

Мы привыкли к комару. Когда летом по тундре идет человек, то комары облачком вьются вокруг плеч и головы его. А сама голова (в накомарнике – тогда еще не было и в помине всяких отгоняющих мошку средств) и спина покрыты сплошным слоем, серым, как бархат. Комары чаще всего медленно ползут. Так бывало и на руке, когда освободишь ее на минуту. Сплошной серый бархат появлялся на ней, пока подтягиваешь к спиннингу блесну; ловля насущно необходимой на обед щуки становится мукой.

В 1942 году под Дудинкой я пробовал определить плотность комариного населения, прикидывая, сколько поднимется этой дряни при каждом шаге. Получилось от 50 до 100 миллионов при самом скромном подсчете. Это в обычных условиях, не на самых зловредных участках.

Но в 1944 году в районе работ Петра Семеновича комар был неслыханной силы. В их атаку отряд попал в долине речки Делькан. Комара было очень много, но мало ли что бывает. Люди не стали особо беспокоиться. Необычное пришло, когда пасшиеся олени впали в «истерику». С открытым ртом они носились по лесу. Потом один из них упал. На грани падения были еще несколько. У павшего носовые отверстия были плотно забиты комарами, то же у еще живых. Дышать приходилось через рот. Комар мешал и вызывал страх. Мечущийся олень стремился дышать посильней, и вот образовался тугой ком из мертвых комаров, забивший и горло и трахеи. Олень задохнулся. Я не

уверен сейчас, погиб так один олень или больше. Вынутые плотные комариные пробки испугали людей. Надо было спасать оленей. Прежде всего их надо было отогнать наверх, на гору – там ветерок. Однако привести в исполнение этот план Петра Семеновича было непросто: олени метались, не давались. Кое-как их поймали, привязали один к другому и отвели. Отпустить нельзя – опять разбегутся. Был найден, пожалуй, единственный выход. Из бревен и всякой древесной мелочи сложили длиннейший дымокур, может быть самый длинный в мире. С подветренной стороны привязали оленей, поодиночке, чтобы не спутались. Хорошо, что их было немного. В дыму комар не мог свирепствовать, и животные понемногу успокоились.

Так работал этот дымокур дня три, наверное, пока не ослабел лет комара. Нечего говорить, что в эти дни весь отряд был занят только оленями: следить за дымокуром, косить траву (олени всё-таки ели, хоть помалу) и – самое трудное – носить из реки воду, это на 400 метров по вертикали, и поить оленей. Комариное нашествие кончилось, как началось. Снова количество этой твари стало обычным и переносимым. Возобновилась работа. Но так и осталось непонятным, откуда и почему было столько комара.

Якуты утверждали, что так иногда бывает и что его несет ветром, а когда тучу пронесет, его опять мало становится. Но так много никогда не бывало. Так ли это, мы не знаем. Самый факт необычно резкого и кратковременного увеличения численности и столь же резкий спад – несомненны. И явление это было сугубо местным, охватившим небольшой район.

8. На оленьем курорте

Если двинуться по водоразделу Меймечи и Котуя на юг от Гулинского слюдяного месторождения, то выходишь в открытую холмистую страну, совсем лишенную деревьев. Рядом, по долинам рек, лес заходит много дальше на север и там, выйдя из нагорья на полого спускающуюся к Хете равнину, сливается в широтную полосу самого северного в мире леса. Но здесь, на водоразделе, деревьев нет, нет и тундры. Вода редкость, а мхи и вовсе отсутствуют. Плоскогорье покрыто злаковой степью. К осени трава слегка желтеет, если нет дождей. Сухо. Настолько сухо, что, работая там, приходилось выискивать родничок или бочажки с водой, чтобы поставить палатки – совсем как в казахских степях много лет назад. А дрова возили с собой на нартах.

Этот участок степи внутри северного края тайги, даже лесотундры, протягивался довольно далеко к югу по направлению к озеру Есей.

Лет 60 назад там был центр тунгусского «княжества», его впервые посетил в начале века И. П. Толмачев.

Конечно это аномалия – степь на семидесятом градусе северной широты. И на шестидесятом степей не бывает. Нужны какие-то особые условия, чтобы она возникла. Их трудно определить, но, может быть, кроме далекого продвижения здесь на север таежной зоны, играют роль два явления: первое – во время оледенения этот район остался не покрытым льдом и, значит, после его таяния не был заболочен, и второе – область степи сложена известняком и доломитом, сквозь которые легко уходит вода. Так или иначе, но такая приполярная степь существует и ландшафт ее ничем не отличается от ландшафтов обычных наших степей*.

Конечно же, животный мир ее непосредственно связан с миром окружающих лесов и тундры на горах. Но он всё-таки отличен и степной отпечаток виден на всём. Сюда не заходит лось, хотя его немало в лесу и лесотундре. Не живет постоянно медведь. Белая куропатка, а тем более тундряная, редка. Зато «стонущие кулики», не частые в тундре и на луговинах в тайге – здесь обычны и напоминают чибисов степи, даже криком. Не уверен, как их следует правильно называть, по-видимому это ржанки (бурокрылые?), но мы их за протяжный крик называли «стонущими куликами», так это и стало привычным.

Самой обычной птичкой, сразу переносившей нас в степи или на сухие поляны южной тайги, был чекан (как будто черноголовый). Повсюду на высокой траве и на кустиках садились эти птички, и крик их был как удары молоточка. Им не полагается здесь быть. Их северная граница показывается много южней. Но они владеют этой степью – ведь степь же, не унылые северные болота.

Сурков в степи мы не видали, но норок их много и это тоже входит в привычный степной ландшафт.

Северный олень – не степное животное. Он сохранился на окружающих столовых горах, но его мало. Так по крайней мере было в годы войны, а сейчас, может быть, его умудрились выбить те, которые называют себя высоким именем исследователь, а на деле, не считаясь ни со сроками, ни с числом животных, ни с нуждой в еде, бьют всех подряд ради одного удовольствия всадить пулю в зверя и похвалиться перед товарищами. Так перевели в 50-х годах маралов на Сангилене, в Туве... (Мы тоже стреляли, но старались соблюдать охотничьи законы и стреляли только по необходимости.)

Ягельная диета за зиму ослабляет оленя. Худой, больной от питания почти одной глюкозой, он кое-как дотягивает до здешней поздней весны.

---

* Ю. М. Шейнманн. О степных ландшафтах на севере Сибирского плоскогорья // Изв. Всесоюзн. географ. об-ва. 1948. № 5. С. 530–533.

К этому времени кости его так хрупки, что ударом ладони их легко перешибить. Поэтому при первой возможности – только бы начала расти трава – олень двигается от зимних ягельников на нее. Для большого стада Таймыра – это движение на север, в тундру Бырранги, где нет комара; для мелких групп Сывермы – переход на безлесные вершины, в горную тундру.

Но есть (или были) немногие олени, уходившие в степь, южный олений курорт, с такой травой, какой больше здесь нигде нет. Здесь, на хорошем корме, они скорее, чем в тундре, нагуливали жир, шкура темнела и блестела на солнце, а побежка зверя становилась упругой, легкой, будто пританцовывающей – это совсем особая рысца, только им свойственная.

Мы встречали диких часто, но только в той части степи, где вовсе не бывают стада домашних оленей с людьми, собаками, шумом. Это всегда были небольшие группки, 3–4 штуки, часто только матка с олененком, иногда одинокий бык. Они уходили не торопясь, и не очень далеко. Арсений Емельянович не раз стрелял из своего карабина, но безуспешно, и мяса мы так и не достали*. Два раза мои встречи с диким были курьезными: как-то, взяв карабин Арсения Емельяновича – хозяин его в тот день оставался в лагере – я поднялся на соседние холмы, пересек их и, после очередного подъема, стоял над впадинкой с высокой травой. Как я не увидел сразу лежащего рогаля-быка, трудно понять. Но не заметил, хотя до него было шагов 50, не больше. Увидал его, когда он встал и стал своими близорукими глазами осматривать меня. Голова приподнята, недавно очистившиеся от последних клочков кожи рога неподвижны. Я поднял карабин. От моего движения олень метнулся и стал уходить, я стрелял раза три и всё мазал – по такой-то цели и так близко! Он скрылся за холмом. Уже много позже, возвращаясь на нашу базу, мы проверили карабин. До этого Арсений Емельянович не хотел верить в его неточность. Вероятно, при падении где-нибудь на маршруте, карабин стукнулся о камень, мушка его была вдавлена – на 50 метров ружье высило больше чем на метр. Попасть из него было невозможно. Так мы и не поохотились на оленя в тот сезон.

В другой раз мы вдвоем пошли в ущелье Меймечи. С собой взяли только дробовик в расчете на крохалей. На обратном пути увидели оленей: две оленухи с телятами уходили наверх, в голую степь, а направо по тальвегу ручья, по которому мы поднимались, – спускался медленным шагом бык. Издали его шерсть казалась почти черной.

---

* А время было военное, карточная система, паек очень ограничен, даже в экспедиции. – *Г. Г.*

Он не боялся нас и обходил в полукилометре. Именно обходил, как бы осматривая и изучая.

Арсений Емельянович заволновался, попросил ружье, зарядил его пулей и решил подстеречь быка. Я некоторое время следил за обоими, потом они скрылись из глаз, я продолжал путь. Далеко позади грохнул выстрел. В том, что он зряшний, почти не было сомнения – олень видел нас и не подпустил бы достаточно близко.

Через несколько минут я увидел оленя. Он рысцой двигался наискосок ко мне, пересекая мои следы. Бык не спеша шел по прямой, потом стал немного поворачивать в мою сторону. Уже отчетливо видны отростки рогов. Он явно интересуется мною, поворачивает круче, как бы огибая меня по спирали. Взбежал на холмик и стал еще темней на фоне неба.

Спираль закручивается. Стали отчетливо видны блестящие глаза. Замедлялась танцующая рысь, высоко поднята голова. Еще ближе. Кажется, что вижу отдельные волоски его блестящей летней шерсти. Движутся ноздри. Он обходил меня, останавливаясь на секунду-другую, чтобы лучше присмотреться к невиданному зверю. До него было бы легко добросить камнем. Ничего подобного по льющейся через край жизненной силе я не видел за всю свою жизнь!

Всё играло в олене, он не напрягался и еле бежал, но ноги работали как пружины и почти не касались почвы.

Под конец он еще раз остановился, фыркнул и, резко повернув, стал уходить по склону долины, всё так же не спеша. Он становился всё меньше, потом поднялся на край долины, мелькнул на фоне неба и исчез.

Арсений Емельянович подошел минут через 10, чертыхнулся, выслушав меня, вскинул на плечо уже не нужную двустволку, и мы двинулись к палаткам.

9. Дальбыха – Бор-Урях – Котуй

После напряжения на работе в Гулинском поле – на маршруте было легко, мне по крайней мере. Арсению Емельяновичу доставалось по-старому. Мы шли на юг по середине водораздела Меймеча – Котуй.

Перед этим поднялись на относительно высокое плато, опять габбро-диабазовое. Спустившись, попали в степи, в область сплошного распространения известняков, не карбонатитов, а нормальных, осадочных. Всё, что лежало над ними (песчаники, частично и лавы), было смыто и они слагали поверхность. Опять спокойный ход, достаточно однообразная геология, только у Арсения Емельяновича новый планшет сменяет уже изрисованный прежний, один за другим.



Мы заночевали у небольших горок Далбыха и, к моему удивлению, обнаружили в них породы, похожие на некоторые гулинские. Но как мала эта интрузия рядом с Гулинской! Несколько сотен метров в поперечнике. И строение ее просто – вся из одной породы. А дальше снова светлые известняки, пологие травянистые увалы, щелканье чеканов и крики «стонущих куликов»-ржанок. Дмитрий ведет нас на место, где пастухи якобы видели «черный камень», на ручей Бор-Урях.

Это оказывается интересным. Снова «Гуля», только маленькая. Поперечник вместо пятидесяти – всего три-четыре километра. Но опять примерно те же «фокусные породы», правда, не в полном наборе. Они пересечены жилками со слюдой. Это, конечно, не месторождение: жилы толщиной всего 10–15 см и слюда редко достигает 3–4 см. Но лишний факт связи слюды именно с этого типа комплексами – налицо.

Картируем тело Бор-Уряха, на это раз очень детально – оно мало и иначе не передать его своеобразия. Пытаемся узнать, не ответит ли он хотя бы на некоторые из вставших ранее вопросов. В южном конце тела натыкаемся на титанистый магнитный железняк. Занимаемся и им, хотя с самого начала ясно, что практического значения он не имеет. Но ведь важно и другое: мы имеем дело с совсем новым для нас комплексом пород, и существенно узнать, какие полезные ископаемые могут быть с ним связаны. Бор-Урях добавил – магнетиты.

На второй день нашей работы здесь – вечером в палатку вошел Дмитрий.

– Начальник, сегодня след ходил здесь. Я хорошо смотрел. Одна нарта, четыре оленя-быка и два человек. Тут ходил, два дня, десять дней – не знаю

– Ну, ходили так ходили. Ведь не знаешь кто – знакомый, чужой?

– Не знаю. Только зачем сюда ходил? Катырыкский человек не ходит. Откуда пришел?

– Из Есея может быть? Тут до Есея километров 60–70.

– Зачем из Есея ходить сюда? Далеко. Лето время. Однако может худой человек ходи. Хороший зачем пойдет?

Вот когда сказалось, что мы забрались далеко. Это единственный не наш след за всё лето. И можно по пальцам перечислить, кто это мог бы быть.

Мы так и не дознались, кто это был. Верней всего кто-либо из есейских пастухов.

Поражал облик района – ни следа ледника, легкий воздух, нет комара. Верней почти нет, в двух-трех местах он встретился: в долинках у мочажинок. Крупный и злой, не такой как в тундре. И это

напоминало степи юга. Там тоже изредка натолкнешься в долинке на комара, крупного, желтого и такого кусачего, что бежать впору.

От Бор-Уряха мы повернули на север. Конечно, было бы интересно пройти еще дальше на юг, до Есея. Но никакого времени для этого не было.

Нужно было вовремя выйти к лабазу. Оттуда надо идти на Котуй, восточную границу района этого года. Мы и так охватываем огромную для одного лета площадь, вероятно, тысяч двадцать километров. Надо и честь знать.

Шли несколько ближе к Меймече, выходя на ее неглубокий еще каньон – обрывы метров по 50–70 всего. К северу ущелье постепенно углубляется. На той его стороне отчетливо видны морены бывшего ледника, они языками подходят к долине и, будто перепрыгнув, появляются на нашей стороне, но заходят всего на пару километров. Тут конец им, и отчетливо видны конечные гряды. Вот самое полное доказательство, что ледники не покрывали нашу степь. Оттого она и смогла образоваться в краю мокрых лесов и тундр. И еще одно стало ясным: всё ущелье Меймечи, больше того – сама Меймеча, моложе оледенения, совсем юная. Иначе не могли бы языки ледника так перебрасываться с одной стороны ущелья на другую.

И на этом пути мы натолкнулись на мелкие тела гулинских пород. Были и жилы. Ими кое-где были прорваны известняки. Вероятно, были и незамеченные нами, так как обломки и гальку их мы находили на берегах ручьев. В этих местах и состоялась наша встреча с быком-оленем, который издевался над нами (см. «На оленьем курорте»).

Наконец подошли к лабазу, забрали продукты, оставили письма остальным и пошли к Котую. Это была почти прогулка. Мы вывершили небольшую речку, приток Меймечи и на второй день встали под низеньким перевалом через гряду холмов. Дмитрий – он знал эти места – начертил на бумаге план. Мы привыкли к высокой точности таких рисунков наших пастухов. Вот перевал. С него прямо идет долинка. Рядом другая. В ее устье и станут олени. Всё было предельно ясно и просто. Не переспрашивая Дмитрия, мы вдвоем ушли на перевал. На спуске, занимаясь своими камнями, мы мельком видели, как в полукилометре прошли олени и вошли в лес. Куда они пошли, мы не посмотрели. Конечно к долине, где и станут.

Уже перед вечером мы вышли к устью второго ручья, туда, куда должен был придти караван. Очень посвежело, и пошел первый обильный снег. Мы не взяли с собой ни еды, ни даже телогреек (вот это уж вовсе непростительно – даже летом в этих широтах телогрейка всегда должна быть с собой). Уж очень недалек был путь и проста карта Дмитрия. Но оленей в устье ручья не было. Ну, что ж, мог

Дмитрий, ошибившись, встать в устье соседнего ручья. Хотя для якута такая ошибка практически невозможна. Пока Арсений Емельянович, на всякий случай, оставался на месте, я прошел вниз до соседнего ручья. Он оказался километрах в двух, в устье его была не покрытая лесом площадочка, очень удобная для стоянки. Но оленей не было, и я повернул назад. Потом мы пошли к устью первого ручья, по которому спускались с перевала. Но следов оленей и там нет. Надо было и о дичи позаботиться, не найди мы оленей – надо чем-то кормиться. Но дичи тоже не было. Правда, подняли единственного зайчишку. Я выстрелил и как будто ранил (надо же так неудачно, в те годы стрелял я неплохо). Заяц зарылся в огромные кучи веток и стволов, притащенные в половодье. Мы полчаса пытались оттуда его выпихнуть – безуспешно. Так и пошли назад к нашему ручью, пустые и голодные. Была надежда, что увидим оленей на нем. Никого. Приходилось ночевать, а утром – что время покажет. Так мы и коротали ночь в наших брезентовых куртках у костра. Да и костер какой – одно только название. Вернулись мы затемно, дров толком не найдешь, все лиственницы, как на грех, свежие, ни одной сухой не нашли. Перед сном постреляли в воздух – авось услышат.

К утру озябли сильно, кое-как двигались. Хоть и не холодно, вряд ли больше десяти градусов мороза, но без еды, без теплых вещей на себе с одним намеком на костер – и этого достаточно. Даже кипятку не в чем согреть.

(Папа, ну кто ж так ходит? Когда работаешь с оленями – две-три холодных ночевки за сезон обязательно случаются. Ты же сам меня учил, что сахар, соль, заварка чая и спички в непромокаемой завертке должны быть обязательно, даже если идешь на несколько километров. А мы всегда носили с собой легкий котелок из консервной банки и пакетик вермишелевого супа – ну последнего у вас еще и не бывало. И свитер в рюкзаке обязательно, даже если днем было + 30. – *Г. Г.*)

Снега за ночь выпало сантиметров двадцать, если не больше. Мы опять стреляли. Опять не было ответа. Тогда пошли назад, туда, где видели последний раз караван. В голову приходят и дурные мысли. А вдруг наши ушли? Хотя никаких оснований для таких мыслей быть не могло. Но ведь каравана нет. Мы нашли плохо видимый после ночного снегопада след и сели отдохнуть. Плохо видно под снегом, но всё-таки след. И тут заговорили. Что делать, если по любой из причин караван не найти?

Положение сводилось к следующему: у нас ни провианта, ни одежки. Снег выпал и не сойдет. Если оленей не найти – надо немедленно идти к лабазу – это километров 50–60, и всё по верху, где

и снега больше, и дров мало, а местами и попросту нет. Если добывать куропаток и зайцев, то, в общем, ничего. А если нет? Вчерашний день показал, как на них надеяться. Тогда дня 4 холодного и голодного хода. Проверили патроны – на двустволку и карабин есть штук 8–9, помню, что меньше 10. Есть две полукоробки спичек. Значит, костер обеспечен, если спички хорошо упаковать. И можно надеяться на 4–5 куропаток. Это на двоих.

– Если не выдержу такого хода (а ведь не выдержу, уже ослаб за сутки, вы сами видите), тогда один выход. Не спорьте, Арсений Емельянович! И так невесело: вы пойдете до лабаза максимально быстро. Вас на это хватит. Я не буду сходить со следа, разве что рядом, за дичью. Обернетесь дней в пять, тода и провиант будет, и пойду быстрей.

А он руками машет, головой трясет, даже ругается. Кто ж на его месте согласится сразу на такое предложение? Только я прав, это единственный способ. И сам спасется, и меня вызволит. Если, конечно, обойдется дело без пурги. Ну, а если пурга? Идти-то ведь по безлесью, обоим.

Я почти уговорил его. И если надо будет, уговорится. А сейчас надо проверить след. Мы и пошли – он по следу, а я прямо к костру. Легко может статься, что услышали и придут туда. Да и смогу несколько отдохнуть у костра, на случай нашего дальнейшего похода. Вот когда сказалась разница в годах: он лет на 15 моложе меня.

Я месил на ходу мокрый снег, мокрыми же сапогами. Он то же самое делал по следу каравана. У костра днем нашлось и сушье, так что можно было не только согреться, но и просушить обувь и портянки. Я сидел и дремал. Авось найдутся олени, а нет, так пойдем месить снег, и будь что будет.

«Будь что будет» пришло само: шум шагов по снегу (не Арсений ли?), потом голос Николая. В руках, когда он подошел, кусок вареной рыбы и лепешка. Через пару минут их уже нет, и я готов идти.

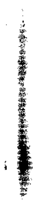
– Где встали? Почему не пришли?

– Там стали. Митрий сказал, – Николай говорил по-русски плохо.

– Мы стреляли. Слышал?

– Нет, однако.

Большего я от него не добился. Мы шли с ним, и было неловко за наши мысли о возвращении к лабазу. Никуда они не ушли, конечно. А всё-таки не откликались же! Как всё это понять? Говорят, у страха глаза велики. Но ведь страха-то не было! Просто так выходило, что надо было приноровиться к новым обстоятельствам. Конечно, мы им не радовались, но и бояться в этом случае не положено. Вот разве только воображение – плохой советчик. Но так ли много его у нас появилось? И всё-таки…



Палатки стояли на той самой безлесной площадке, на берегу Котуя.

Сейчас, в теплой уютной палатке, за чаем с лепешкой, рыбой, маслом было спокойно и хорошо. Арсений Емельянович снова ел – вместе оно интересней – и рассказывал, как он вышел по следу и нашел наших. Дмитрий и все были довольны, видимо, и они стали под конец тревожиться за нас.

– Почему здесь стал, а не на том ручье?

– Маленько забывал. Он маленький, забывал его.

– Мы стреляли вечером, утром. Почему не ответил?

– Не слышно, совсем не слышно тут. Верно место такое.

Это было правдой. Подвела акустика долины. Мы потом проверяли – от места нашей ночевки звуки сюда почему-то вовсе не доходили.

– А зачем не искал, когда мы не пришли? Может, кто ногу сломал или что? Искать надо было.

– Зачем искать? Вы сюда шли, вон там место, видишь? – он показал на лесок на том берегу ручья – Видишь? Ты тут ходил, землю смотрел, потом туда место ходил. Я думал ты нас видал, куда землю смотреть ходил. Потом назад придешь. Зачем искать?

Так кончилась эта шутка. И виноваты были мы, я в частности, – уж очень ясно и просто всё было, я не переспросил Дмитрия. А еще лучше – мы могли бы вместе подняться и с перевала посмотреть место, куда он ведет караван. Просто? Пенять приходилось только на себя.

Котуй. Мощная холодная река, примерно с Неву, может быть несколько шире. Невысокие горы подходили к ней несколько ниже лагеря, лесистые внизу, с гольцами – тундрой на вершинах. Это продолжение гор, окаймляющих с юга Гулинскую интрузию. Ударяясь о них, Котуй забирает вправо и дальше, прорывая гряду, уходит к слиянию с Хетой. Там, на равнине, они образуют Хатангу, до которой нам так и не удалось дойти в наших скитаниях.

Здесь, на Котуе, мы досматривали восточную границу нашего района. Осмотр был довольно беглый. Уже сказывалось напряжение всего лета, притупилось внимание и поджимал холод. Главным была констатация продолжающихся и сюда гулинских лав. С ними – между их потоками и ниже, внутри угленосных пород – были встречены и авгитовые силлы. С завистью, несмотря на усталость, мы поглядывали на другой берег, туда, где виднелись разбросанные холмы и дальше сплошной массив с округлыми склонами. И холодное, в бело-серых облаках, бледное небо. Это всегда так – когда надо повернуть назад, манит непознанная даль, кажется, что именно там прячется нечто необычайное.

Так было здесь, так было и на Убса-нуре, озере на южной границе Тувы, так манил, темнея в неясной дымке, далекий и тогда еще вовсе

таинственный Лоб-нор в далеком Синьцзяне. И всегда надо было поворачивать, с трудом отрывая глаз от этого далека. В конце концов, это просто желание идти вперед, какое бывает у туриста, морехода, нашего брата. И ничего необычного в нем нет. Это оно, – это желание – гнало Пржевальского и Кука, Амундсена и землепроходцев. Гнало и нас, что роднило нас с теми великанами. Но идти нельзя, и мы готовимся к возвращению на лабаз.

Напоследок Котуй порадовал нас рыбой. Она на Меймече была не столь частым гостем, а в других местах ее и вовсе не было. Здесь у самого берега ставили сети. Без лодки, да еще в такой быстрой реке, много не поставишь. На небольшом лиственничном плоту (он под человеком уходил в воду так, что она была по колено – лиственница дерево тяжелое), а то и с помощью простого шеста, прямо с берега, сеть выставлялась от силы на три метра. Таких ставили три. И все дни были с рыбой, еще с собой на дорогу взяли.

В каждой сети утром бывало по две-три дыры, таких, что можно просунуть голову. Это проходили таймени, как проходит сквозь плотнейший тугай кабан. В нашу снасть поймать их было невозможно. И каждый день Дмитрий заделывал дыры. Но и без тайменя нам доставалось столько хариусов, пеляди, сигов и чиров, что отправляли назад в реку половину. Оставляли только чиров и хариусов. И объедались пирогами-рыбниками, с целой рыбой в виде начинки. Их мастерски делал в нашей «хлебной» печи, вырытой в береговом обрыве, Арсений Емельянович. И, подавая к столу, причмокивал от удовольствия языком.

Потом были сборы, очередная укладка, нарты скользнули в первый раз не по земле, а по снегу, и мы тронулись домой, на лабаз. Осень вошла в силу. Давно кончилось пожелтение хвои, шел пролет птиц, дни стремительно уменьшались, готовились к полному исчезновению. Вечерами теперь было нечего делать. Недавно еще вечера не хватало – приведение в порядок собранного за день материала и ужин отбирали всё время. А сейчас вечер длинен, нового материала практически нет, выискиваешь какие-то мелкие дела. Подолгу сидим за чаем и ведем длинные беседы с нашими якутами. Многое было записано в эти вечера, пока мы возвращались в обычный мир. Но утеряны в недрах Норильлага полевые книжки и только немногое восстанавливает память.

10. Как погибли тундровые черти

Иной раз обходились без всяких баек. Сидим, шутим друг над другом, или мы с Арсением Емельяновичем что-либо рассказываем. Ведь и им хочется послушать, узнать новое. Однажды, после рассказа о врачах и чудесах, какие они делают, Прасковья сказала:

– Верно, выдумываешь, Арсений. Однако нельзя такое с человеком делать.

– Как нельзя? Вот как бывает даже. У меня знакомый есть – как ему спать ложиться, так он один глаз у себя пальцами вынет и положит рядом. А сам спит.

Ответом был хохот. Но одновременно были чуть смущенные взгляды – вдруг, дескать, и вправду так можно.

Туманов повернулся ко мне:

– Покажите им. Ну, наш начальник глаз вынуть не умеет. Но вот зубы...

Я послушался – вынул протез. Первое движение – испуг. Потом Дмитрий нерешительно протянул руку. Взял и заулыбался. За ним захотели пощупать другие. Смеялись, радовались. Конечно, зубы особые. Вроде и не настоящие. Но все видели, как начальник ими ест. Всё равно чудо. Пусть доктором сделанное, но чудо. Оно, наверное, даже чудеснее от этого.

Не знаю, возможно, это не лучший способ, но вряд ли самый плохой. Медицина в глазах наших собеседников поднялась на огромную высоту.

Нам очень хотелось услышать что-нибудь из исчезающих поверий местных жителей. Но до сих пор не удавалось ничего – то ли наши спутники действительно не знали, то ли скрывали, считая подобные рассказы несовместимым с нашим присутствием. И вот в один из таких длинных вечеров, после дня, ознаменованного целой тушей оленя, а следовательно, после подобающего ужина, наша якутка Прасковья стала рассказывать.

Она говорила о разных «чертях» – так она называла духов. В ее рассказ короткими репликами вступали Дмитрий и Николай, подтверждая рассказанное и добавляя кое-какие подробности. Вела повествование Прасковья. Тут же вечером я записал весь рассказ, но, к сожалению, запись погибла, а память отказывается восстановить облик всех описанных «чертей» и «чертовок», так плотно населявших в прошлом тундру и леса.

Только самый, так сказать, трагический рассказ запечатлелся во всех подробностях, забылось только имя духа.

Зимой все охотники уходят в тундру, приходит время промышлять пушнину и подолгу жить одному. Запряжка оленей, легкая санка, ловушки для песца, раскинутые по всей округе, охотничий карабин да собака – вот и всё окружение охотника. В небольшом чуме, когда топится печка, бывает тепло и мягко лежать вечером, завернувшись в заячье или песцовое одеяло. Только скучно охотнику, особенно если он молод. Все девки в поселке, оставшиеся там парни водят

с ними хейру (танец, немного напоминающий наш хоровод, хождение по кругу друг за другом, положив руку на плечо идущего впереди). В сумерках далеко слышно медленное «хей-ра, хей-ра» (фа-ми, фа-ми). Весело это, и вообще хорошо зимой, самое лучшее время. И заскучает парень, захочет, чтобы длинную ночь коротала с ним девка, красивая, чтобы ее глаза были узкими и совсем черными, чтобы щеки были плоскими и носик маленький. А волосы черные-черные и совсем прямые. Вот в такую ночь забрешет собака у входа в чум, поднимется полог и войдет красавица в расшитой бисером парке и таких же унтах. И спросит:

– Можно к тебе, молодец?

Как отказать такой, когда она радость в чум принесла? Парень посадит ее на шкуры, угостит чаем, мясом и будет беседовать. А возможно, она даже ляжет к нему в постель, под его одеяло, и их душам станет весело. Потом заснет охотник, тогда девка встанет и съест его, одним глотком – хам! – и уйдет в тундру, домой к себе, сытая, довольная.

– Вот какая чертовка! Человека не съест, жить не сможет, – закончила Прасковья.

– А узнать ее как? Можно ли?

– Можно, отчего не узнать. У нее лицо, руки – совсем человек, а тут (она показала на грудь, спину, бедра) – совсем олень, всё шерсть.

Тут я привел в ужас всех своих собеседников, показав свою грудь, достаточно заросшую:

– Такая?

Когда все успокоились и стали даже подшучивать надо мной, разговор продолжился.

– А если узнаешь ее, она тоже съест?

– Может и съест... Наверное, съест.

– А я убью ее.

На это отвечал уже Дмитрий, ему, мужчине и охотнику, такие вещи были известны лучше.

– Убить можно. Однако железной пулькой промышлять нельзя, не возьмет ее пулька. Только очень сердитой станет. Кушать сразу будет. А надо так делать: она придет, хорошие слова говорить будет, потом чай пить. Тогда совсем тихонько клади в ружье деревянную пульку и сразу стреляй. Она сразу помирать будет и шибко вонять. Вот так.

Он помолчал и добавил:

– Можно еще, если она спать захочет, взять большой кусок мяса, тяжелый, и ей в грудь ударить – она тоже помирать станет.

Прасковья еще рассказывала про мелких чертей, которые в озерах или в лесу, в тундре живут. Сродни нашему водяному, лешему. А потом замолчала. И тогда Арсений Емельянович спросил:

– А сейчас черти живут, так и ходят по тундре?

– Нет, не живут, однако. Все пропали. Может их всех промышляли? Не видят люди чертей.

Это был хороший выход из несколько неловкого положения. Не то чтобы в старину люди глупостям верили, а теперь умными стали. Просто времена сменились и черт пропадал. Но Арсений был неумолим:

– А почему их не стало, куда пропали?

– Не знаю, совсем не знаю, – вроде бы отшучивалась Прасковья.

И вот Арсений Емельянович, с виду серьезно, выдвинул блестящую гипотезу:

– А может так вышло? Раньше люди по всей тундре жили, где один, где другой. Чертям удобно было – как узнаешь, откуда гость пришел? А теперь колхоз, все вместе живут, друг друга знают. Придет черт к человеку, а тот сразу его узнает, скажет: «Уходи, такого у нас в колхозе нет совсем». И станет черту жить плохо, пропадать придется.

Вся аудитория обрадованно засмеялась.

– Правда, правда. Когда колхоз, как черту жить? Помирать стал, вовсе помирать. Правду сказал.

Так была установлена в палатке на Меймече причина исчезновения духов в тундре. Возражений не было.

11. Творимый миф

Ермолай любил рассказывать. И далеко не всегда это были рассказы о конкретном, связанном с экспедицией. Да и при его безалаберности, любви приврать и похвастать мы не так уж часто обращались к нему за справкой и всегда проверяли его сведения. И не то чтобы он был непутевый: работать он умел, за оленями следил и неплохо охотничал.

Октябрьский вечер начинается рано, палатки давно уже поставлены, ужин закончен. Оба моих спутника мастерят что-то при свете свечи. Я вышел на улицу, но долго не погуляешь. Холод проникает сквозь парку, будто это простая рубаха. Где-то рядом олени копытят снег. И луна, еще темно-желтая, осветила серые лиственницы.

Я вошел в палатку наших пастухов и присел у входа (предосторожность, не всегда помогающая, чтобы не подхватить с собой порцию не слишком желательных насекомых). Ребята оживились, налили чаю, начали шутить. Я попросил Ермолая рассказать что-нибудь.

– Ну, слушай. Ты штурман Бегичев знаешь? Большой буржуй был.

(Знаменитый Бегичев умер несколько лет назад. Знал его весь Таймыр. Был он большим человеком и – по мерке якутов и долган – богатым. Это, видимо, и хотел выразить Ермолай словом буржуй.)

– Знаешь, значит? Так вот. Много ходил. Всю землю смотрел. А потом умер. По-моему, убили его. Нехорошо умер. Только верно не знаю. Он ходил далеко. Есть земля такая. Одна стоит. А кругом вода, совсем вода. По-нашему Байгал называется.

– Это что же, если кругом вода, а в середине земля – всегда байгал называется?

– Ага, всегда. Он туда ходил, смотрел. Такие большие люди, как дерево. Он одного убивал. Назад сюда голову возил. Большую, целую нарту грузил, брезентом закрывал. Чтобы люди не смотрели, а то боятся. А я смотрел, брезент поднимал. Большая голова и вся как зверь – шерсть. И еще зуб возил, большой, как моя нога. Вот какие большие люди на тот байгал жили. Только сейчас все умирали. Не веришь? А только он туда ходил и голову возил. Я сам смотрел. И еще штурман Бегичев ходил туда, – Ермолай показал на восток, – на самый край земли. Там другие люди живут, чукчи зовутся. Слыхал? Совсем другие А от них дальше, где земля совсем кончилась, совсем особые люди есть вот так, половина (Ермолай провел ребром ладони от лба к животу, как бы разрезал себя пополам). Вот такие живут. Одна ноздря, одна рука, одна нога и глаз один.

– Ермолай, а как же ходить такому?

– Так и ходит. Вот какой буржуй штурман Бегичев был. Понял? Только убили его.

Опровергать было невозможно. Миф родился, может быть, в эту самую минуту, при мне. Ему верили. Можно было спорить и только подорвать доверие к нам, потому что миф был истиной. Я смолчал.

12. Мы покидаем Меймечу

Уже в снегу заканчивал отряд Петра Семеновича проверку слюды. Сделаны короткие канавы, неглубокие закопушки. Но глубоких нам там и не сделать, так что берем слюду довольно выветрелую. Набирается ее много, и площадь ее распространения большая, целый склон. Но вот что странно – нет ничего похожего на жилы или на то, в чем она должна содержаться. Слюда идет сплошь по всей породе. Это смущает и одновременно обнадеживает.

Впоследствии так оно и оказалось, через несколько лет, когда ее разведывали. Слюда была разбросана по всей породе в большом объеме и была прослежена на глубину скважинами. Месторождение выглядит достаточно крупным, но уж очень до него далеко! В конце

концов мы повезли на пробу партию слюды – что-нибудь около 300 кг.

Одновременно якуты спешно готовили нарты. Наши старые стали ветхи, нужно было новые. Это требует выбора подходящих лиственниц, обстругивания их них полозьев, погиба. Затем делаются сами санки. Инструменты – топор и большой нож в деревянных ножнах, с которым не расстается местный человек. Не расставались с ними и мы. Носят этот нож на правом бедре (если вы не левша, конечно), сбоку. Удобней не устроишь, потому что он всегда под рукой, идете ли вы, сидите ли на санке. Таким ножом выстругиваются все детали, гладко, не хуже, чем рубанком; делаются деревянные «гвозди». Ни кусочка железа не полагается. Связанная так санка не сдает, не расшатывается, металл не истирает дерево, расширяя скважинку. Конец нартам, когда сотрутся и истончатся полозья, что и случилось с нашими нартами за лето.

Сейчас, конечно, самым предварительным образом, можно было подвести итоги. Во время долгого обратного пути будет не до этого.

Наши разговоры касались только каждодневных мелочей, нам почти нечего было друг другу докладывать. То есть – есть о чем, о деталях, о том, что видели, о нерешенных вопросах и вопросиках. Общая картина увиденного возникла сама по себе, черта за чертой, за долгие часы в палатке и на пути, когда ноги мнут тундру. И вот что наметилось.

Вместо норильских интрузий с их медно-никелевым оруденением, засевших ниже лавовой брони, но явно несколько более молодых, чем сами базальты, здесь, на восточном краю плато Сывермы, мы встречаем Гулинский комплекс. Он тоже немного моложе самих лав. Так мы думаем, потому что началось, конечно, всё с них, и, только когда изливаться стало трудно, расплав стал застревать на глубине.

Эти породы особого типа должны нести и другое оруденение. Предположение о возможности повторения Норильска на востоке не подтверждается.

Нового типа породы образуют целую провинцию, вероятно около 200 км в поперечнике, возможно уходящую под Котуй и к Есею. Мы оконтурили ее только с севера и запада.

Что еще? Над Гулинской интрузией существовал вулкан или группа из двух, тесно сближенных вулканов. Судя по размерам лавового поля и застрявшей под вулканом интрузии, это был крупный вулкан, и жил он долго – извергался многократно.

Можно даже прикинуть, какова была его высота, по аналогии с другими вулканами, помоложе. Получилось не менее четырех километров. Значит, он был вроде Ключевского, Арарата, Эльбруса.

Сейчас он эродирован начисто. Нет и следа этой горы – только шлейф лав и глубокие корни жерла сохранились. Они-то и изучались нами.

Кое-что мы знали и о возрасте всего этого. Вулкан извергался что-нибудь 170–200 миллионов лет назад, и не было здесь в это время ни северных зим, ни тундры, ни леса, угрюмого и молчаливого, ни умеренного климата. А рядом, может быть чуть раньше или позже, происходили другие извержения, лавы были по составу примерно такие, какие сейчас изливаются в Исландии.

Представлялось, что знали мы немного. Но что же поделать? Чтобы увидеть и осознать какую-нибудь деталь в геологической истории Земли, человеку-муравью нужно долго ползать по ее поверхности, по крошкам собирать детали: где ему, малышу, сразу увидеть огромные конструкции Земли и разобраться в них. И еще – ведь видно не всё, нужное чаще всего скрыто от глаза почвой, растительным покровом, водой. Поэтому в шутку нередко говорят, что геологи, в отличие от топографов, картируют то, чего не видят.

Но так ли мало то, что нам удалось увидеть и восстановить? Уже самое решение задачи о том, возможно или невозможно появление на востоке чего-то похожего на Норильск, оправдывало двухсезонный труд. Но есть и новая геологическая провинция. И если мы не знаем еще, что таит она в своих недрах, но твердо знаем, что она не бесплодна – доказательством служит слюда, немного железа и еще кое-какие намеки, пока слабые.

Сама необычность пород, обогащение их щелочами, делают ее интересной и требуют к ней особого внимания – щелочные породы всегда богаты на выдумки и ими всегда стоит заниматься.

И, наконец, последнее. Наш меймечит по химическому составу оказался родным братом кимберлита. И хотя условия их образования разные, но почему не предположить? – Надо поискать где-то, вне границ провинции, но недалеко от нее, нет ли кимберлитовых трубок, может даже с алмазами. Отметим, кстати, что трубки, небольшие и то ли пустые, то ли бедные алмазами, были позже найдены и в самой этой провинции, в пределах нашей степи. Но мы-то были там задолго до того, как появились первые находки в Якутии, до того, как вообще стали искать кимберлиты.

Примерно с таким багажом мы трогались в обратный путь. Возможно, что некоторое понимание пришло несколько позже – трудно восстановить, когда голова срабатывает и возникает та или иная догадка. Но в этом направлении она у нас уже работала. А года через два-три всё было настолько ясно, что докладывалось не дома, среди своих, а в Москве.

Наконец мы тронулись. Сидеть весь день на санке, даже если правишь ею, иной раз тоскливо. Как призраки проходят в белесоватом тумане бескрасочные леса (серые), плошки озер (серые) и снежные увалы (сероватые). Наш путь через Катырык на Боярку, к прошлогодним знакомым, затем через Волочанку, Авамскую тундру – по станкам, сменяя оленей, с ночевками в чумах, а иной раз и в снегу. Зима.

Вот так, двигаясь по только что проложенному «тракту», мы встретились с кочевьем дикого оленя – его ежегодным переселением на зиму из северных тундр в горные леса.

13. Дикий

Санная дорога на пути от Хатанги к Дудинке устанавливается примерно к ноябрьским праздникам, иногда чуть раньше. Дни уже вовсе короткие, и небо почти всегда серое. Проплутав почти всё лето по тундре и самому краю леса, обязательно остановишься на праздники в каком-либо из поселков. Да и не выпустят хозяева в дорогу перед такими днями, и ради нас и ради себя. Поэтому, возвращаясь с Меймечи, мы остановились у друзей в Боярке и только после праздников смогли двинуться дальше.

В те годы на Таймыре, кроме оленей да кое-где собак, не было другого транспорта. Авиация еще только подбиралась к этим местам, а больше ни на чем не проедешь. Даже почта шла от Дудинки до Хатанги на оленях, это пожалуй, более 700 км. Приходилось встречаться с этими почтарями, видеть их, сходящих с нарт в покрытых инеем совиках. Усталые и напряженные, они пили чай в стоящем на полозьях путевом балке, в ожидании, пока перепрягут оленей. И снова в путь, в мороз, с ветерком. Ночевка у них короткая – и опять чистый, легкий полугалоп оленей. В Хатанге сутки отдыха и назад, с письмами на «Большую Землю». Никто в этом труде не находил ничего необычного. Лондон описал почтарей Клондайка. А мы своих северных «работников связи» и не заметили. Так уж устроен человек: прошедший этим путем путешественник чувствует себя едва ли не героем, а каждодневный труд почтаря – кто знает о нем? Подобным же образом поход туркменских конников в Москву с сопровождающими их автомобилями и фуражом, с докторами и обслугой – подвиг, а каждодневный труд любого рядового исследователя, проходившего с вьюками по тайге или тундре многие тысячи километров, мучившегося на перевалах в нехоженых горах или в тучах гнуса на болотах, – это будни, работа, о которой принято говорить только скупыми словами отчетов. И мало ли таких дел творит человек, пусть не каждый день, но нередко. И, вероятно, лучше, достойней, что не подчеркиваются особенности такой работы.

Это всё по поводу полярных почтарей недалекого прошлого, да разве только почтарей....

Мы задержались на пару дней в Боярке и двинулись дальше. Нарты с грузом и образцами слишком тяжелы, чтобы двигаться быстро. Переходы довольно короткие, и легкие санки могут, если надо, отстать или забежать вперед.

С этими санками год назад вышел курьез. Известно, какого мнения в большинстве своем наши жены о нас в роли прачки или повара. Не только не умеем – это было бы полбеды, – не в состоянии и научиться этой премудрости. Так велел сам Бог. Вот такое же отношение было у якутов, эвенков, долган к «нюче» в части управления санкой. Не может этого превзойти и всё тут! На то он и «нюча» (в первом приближении «русский», а точнее всякий пришлец с юга, не северянин). А мы, четверо, управляли запряжкой и были у нас даже свои, и неплохие, олени. По-местному, управлять ими – «держать санку». Сначала нам не доверяли и проверяли помалу. Могли, например, впрячь в санку четверку важенок (они проворней быков), а потом, уступив первое место в нашем цуге, сказать лукаво: «Однако, друг, торопиться надо. Ты гони маленько». А дорога – это одно название только, и то достаточно условное – идет между пней, круто сворачивая то вправо, то влево. Заденешь санкой за такой пенек – и разлетится санка, полозья в сторону, сиденье в другую, а копылья кругом.

И тащись несколько метров лицом в снег, сжимая единственную вожжу, пока не встанут олени. Выпустишь ее из руки – и лови потом оленей в лесу,

Пока не запутаются они вчетвером где-нибудь или не поможет долган с маутом (арканом) в руке. Но после того как проедешь такой участок с гиком, со снежной пылью, отношение меняется, и уже пошло сообщение: «Нюча такой-то держит санку хорошо». И тогда не будет задержки в перепряжке оленей на станках и встречать вас будут ласковей и веселее.

Всё это нами пройдено. В прошлом году был последний экзамен, и мы все были признаны теми самыми «нюча», которые «держат санку» и не подходят под общее правило.

Из Боярки дорога шла по лиственничному лесу, почти по самой его окраине. Привычные остановки на ночевку, когда вся наша команда разбивалась на группки: одни выпрягали оленей и отпускали их на кормежку, другие распаковывали нарты, третьи утаптывали снег под палатки, рубили сухостойную листвень и кололи ее на дрова (в этом не было соперников Ермолаю). И никто не приказывал. Специализация пришла сама собой, и для установки лагеря – двух больших палаток, меблировки их (ложа, печки, трубы) и приведения жилища в акку-

ратный вид требовалось минут двадцать, от силы – полчаса. И уже трещали в печках сухие дрова, стояли, нагреваясь, кастрюли и чайники со льдом и мы скидывали меха и, постепенно разоблачаясь, разыгрывали своеобразный приполярный стриптиз – жарко.

Дни стали вовсе короткими: два часа сумерек, когда всё кажется прозрачным и всё серо. Только снег посветлей, кроны лиственниц потемней, а стволы совсем темные. Если облака вовремя прорвутся, на юге видна заря, в полдень красная, раньше или позже – тускло-желтая, а выше нее небо быстро темнеет и становится как будто серым.

Светлые полусумерки дня обрамлены во времени полутьмой, когда всё-таки еще видно на сотни метров и на фоне светлого снега торчать черные стволы, а перед санками движутся спины оленей. Покачивается в руке поднятый хорей. И вдруг, как кием по шару, бьет им ведущий санку по заду замедлившего бег оленя. И, как шар от кия, отскакивает от конца хорея подтолкнутый олень. И опять равномерно, как кастаньеты, стучат друг о друга копытца, и дымится пар вокруг оленьих морд.

Так идет наш караван уже не первый день. И вот, после выхода из Боярки, ведущий первую санку Ермолай показал на что-то черное, метнувшееся в лес. (Кстати, Ермолай, как и многие его родичи, называл себя тунгусом – «по-русски эвенк».)

– Дикий, видал? Дикий!

На севере не скажут «дикий олень». Это так же нелепо, как сказать «собачий волк». Есть два разных животных. Одно – олень, ручной, вернее прирученный, незаменимый работник и кормилец, с относительно медленной реакцией и, опять-таки относительно, замедленными движениями. Последние две особенности можно узнать только в сравнении. И объектом сравнения является другой зверь – дикий.

Да, это тот же северный олень, «рангифер тарандус» по-латыни.

Тот же, да не тот. Он дик, как любой вольный зверь. Его побежка легкая, эластичная – он будто на пружинах проходит мимо вас и гордо несет свою голову. Он переходит от шага на спасительный карьер одним движением, молниеносно.

– Ты что, не видишь: не олень это. Совсем другой зверь – дикий. Видишь? Совсем другой.

И северянин прав. Это только обличье похоже. Как похоже обличье сидящего в клетке приниженного орангутанга и несущегося по деревьям в лесах Суматры его сородича. Но там различье только в обстановке. Здесь обстановка перемолола зверя. И ушедший к диким олень не сразу теряет свои навязанные неволей черты.

Дикий мелькнул в кустах и скрылся. Для нас, видевших дикого не раз на летних пастбищах, эта встреча была только интересной. Для

наших якутов, долган и эвенка – знаменательной. Потому что дикий здесь не живет. Значит, он пришел с севера и надо ждать большой кочевки.

Караван остановился, и началось обсуждение. Потом план был предложен нам. Грузовые нарты должны двигаться вперед, с ними оба долгана, в том числе старший, Михаил. Ермолай и мы задерживаемся и встречаем дикого. Место ночевки оговорено – оно дальше вероятной границы путей дикого, чтобы тот не увел с собой наших оленей. Так случается.

Мы прошли несколько километров и встали. Света прибавилось, и уже виден лес. Ни звука. Снег кажется белым, но только кажется. Но вот Ермолай показывает куда-то вперед и вправо. Я ничего не вижу. Серый лес на фоне серого неба, сумерки, полная неподвижность.

– Дикий. Вон, смотри, начальник. Видишь? Вон в лесу.

Нет, ничего не вижу. А Ермолай срывается с санкой и, отъехав немного, достает из чехла берданку. И застывает на месте. Стоят и его олени, почти не двигаясь. И тут вдруг – это всегда вдруг бывает, – всё увиделось. Сначала легкие облачка пара, которые двигались сами собой.

А потом, от них, и сами олени. Они шли цепочкой по 10–12 штук, чуть опустив голову. Они серые и почти не видны на фоне снега – вот когда стало ясно, что снег тоже серый.

Нас, кроме Ермолая, было трое, на всех одна берданка и стрелять надо по очереди. Мне выпало последнему. Я так и не стрелял.

Первая цепочка – только начало. Дикий шел дружно. По всему лесу то там, то здесь появлялись такие группы. Шли они всегда гуськом и всегда по одному направлению. Лес ожил. Одновременно было по пять-шесть, даже до двадцати таких групп. Всюду клубки пара от дыхания, шевелящиеся серые тени.

Я не стрелял и мог видеть всё. Вот после выстрела точно метель рванулась очередная цепочка. Звери стелятся, запрокинув головы, у быков рога ложатся на плечи. Копыта вроде бы и не трогают землю, не отталкиваются от нее. Зверь летит. И это действительно звери. Те самые, которые могут в мгновенном порыве многократно увеличить мощность своих мышц, как не может ни домашний скот, ни мы – люди.

Вот Петр Семенович вскинул берданку по рванувшемуся вдоль берега маленького озерка стаду. Впереди в расцвете сил огромный бык. За ним молодые, важенки, телята. В полутьме близкий выстрел особенно гулок.

Один из молодых, споткнувшись, катится через голову, и стадо исчезает в серой полутьме.

Глухо звучат выстрелы Ермолая – снег и лес заглушают звуки. И вновь идут, попыхивая, клубочки пара. Дикие. Цепочка. Еще цепочка. Еще и еще. Нет им конца.

Уже прибавилось кругом серой краски. Густеет вечер – и это в три часа дня. Трудней увидеть оленей. Но движение не прекращается. Дикий идет и будет идти всю ночь. На юг, к горам, которыми обрывается к Хатангско-Пясинской впадине Сыверма. Там, в лесах, где редок наст и снег не уплотняется ветрами, будет он бродить, выкапывая свой зимний корм – ягель. Там до весны, когда солнце погонит его в Таймырскую каменистую тундру. По пути отстанут от стада кормившиеся всю зиму за счет слабых и больных волки – у них придет пора детей. В тундре появятся телята, отъедятся звери и после короткого лета снова пойдут этой дорогой на юг, зимовать в лесном краю.

Удивителен ход каждой цепочки. Вот на пути человек. Хуже – выстрел. Вся группа шарахается, сворачивает в сторону, но, обогнув препятствие, снова выходит, будто на продолжение прежнего пути. Точно на юг, вдоль невидимой нити, своей для каждой группы.

Дикий прошел за сутки. Мы (оба моих спутника зоологи, в прошлом сотрудники П. А. Мантейфеля) пробовали подсчитать, сколько же их прошло. Получилось, что в полосе шириной километров в двадцать прошло тысяч двадцать пять – тридцать.

Когда-то подобные стада бизонов бродили по степям Северной Америки. В Африке в заповедниках до сих пор сохранились такие стада жвачных в саванне. Огромное таймырское стадо северного оленя (мы видели только треть его, так как оно кочует еще по двум другим путям), может быть, единственное стадо, сохранившееся к северу от тропиков. Одно из последних естественных стад копытных нашего мира. Сохраним ли мы его? Или безрассудно истребим, а потом спохватимся, когда исправлять будет трудно, может быть, невозможно?

Мы прошли оленьи пути, прошли Волочанку и двигались к Пясине.

Туда хотелось попасть и посмотреть, не осталось ли хоть сколько-нибудь от вымиравшего племени хресьян. Но на реке жили новоселы, не знавшие ничего о прошлом края, да и не слишком интересовавшиеся его настоящим. Они рыбачили помалу в малорыбной реке и мечтали уйти в более рыбные места, а еще лучше вернуться домой в Дудинку или Игарку. Как ни странно, на севере без конца таких жителей, без корней, без уюта. Оттого и дома такие. Где-нибудь на юге в тайге – основательный сруб и печь, чуть ли не в полдома. А к северу всё полегче. Исчезают русские печи, появляются плиты с обогревателем. Еще дальше, в притундровых местах – нередко только железная печка, которую топят без перерыва. Будто ни к чему устраиваться,

зачем обзаводиться хозяйством – авось скоро едем в лучшие края. И поэтому хороший дом, ладная комната радуют особенно.

Так на Пясиной я не встретил тогда ни одного уютного жилища. Только в поселке Икон, не доезжая до реки, существовало такое, но и оно было не в дому, а в балке, домике типа вагончика, поставленного на полозья и обитого шкурами, а поверх брезентом. Жила в нем семья торгового агента. Его я не застал, но хозяйка и сынишка приютили на пару часов. Было так чисто, что страшно было двигаться, а затуран, с которого началось угощение, был самого высокого качества.

В целом поездка к Пясиной была безрезультатной – никаких следов хресьян, даже памяти о них. А ведь лет 25 назад, тут, в районе Черной, только они и жили. И всё-таки я их нашел.

14. Хресьян

Первичное освоение русскими Енисейского севера имело, как известно, два совсем раздельных этапа. Первый датируется самым концом XVI, началом XVII века. Это эпоха Мангезеи. Путем проникновения было северное море. Мангазея стала центром дальнейшего расселения русских, в частности на нижний Енисей.

Тогда более или менее значительная группа, перейдя Енисей, двинулась дальше на восток к верховьям реки Пясины, сразу ниже одноименного озера. Связи с внешним миром могли поддерживаться только через Мангазею.

На востоке русских еще не было, как не было и якутов. На севере всё закрыто льдами, а на юг пределом распространения был Туруханск на низком левом берегу Енисея. Еще не было ни Енисейска (основан в 1618 году), ни Красноярска (1628 год) Падение значения Мангазеи (запрещение плавания к ней, окончательно ее подорвавшее, датируется 1619 годом) привело, в конце концов, к исчезновению города.

Туруханск сохранился и нашел пути на юг, в Енисейск. А поселения вдоль Пясины оказались совершенно оторванными. Этот далекий север, отнюдь не богатый пушниной и совсем без соболя, никак не интересовал южных поселенцев. Они, вероятно, и не знали о пясинских насельниках. Пути были крепко забыты, и пясинцы предоставлены самим себе. Их жены – из местных племен (долган, эвенков, нганасан) родили им новое племя – по крови – помесь, по культуре – тоже помесь русских обычаев и представлений с хозяйственными навыками местных. Племя сохранило русский язык, остатки православия и рубленые деревянные дома.

Позже, много позже, снова появилась связь с русскими – с миссионерами на Дудинке и купцами оттуда же. Но к этому времени своеобразие племени уже сложилось. Архаичный русский говор, упро-

щенный и погрубевший за период отшельничества, довольно жестко сохранившиеся внутригрупповые браки. И само название «хресьян», не разберешь от «христиане» или «крестьяне». Но для тех веков эти слова если не совпадали, то были родственными во всяком случае.

В 20-х годах Н. Н. Урванцев застал еще поселения вдоль Пясины. И число хресьян доходило до первых сотен. Но и тогда они уже исчезали.

Тяжелая жизнь, основанная на рыбе (а не так уж богата ею Пясина). Может быть, вымирание от длительного имбридинга внутри далекой от идеального здоровья группы неуклонно делало свое дело.

В годы, когда мне привелось там быть, на Пясине не удалось найти ни одного хресьянского дома. И я подумал, что вовсе опоздал увидеть их.

Но судьба смилостивилась.

В 1944 году я застрял на одном из станков между Волочанкой и Пясиной. Здесь стояло несколько долганских чумов – по-местному заметной величины поселок. В одном из чумов я заночевал. Облик хозяев – старика и старухи, хотя вряд ли они достигли 60 лет, – обращал на себя внимание. У нее на довольно плоском лице из-под седых, ниспадавших на лоб косм, глядели слегка косоватые глаза и сильно выдавался неправильный, «картошкой», нос. Хозяин выглядел совсем необычно. Его сильно поседевшие волосы отливали еще рыжиной, брови густые, над глубоко посаженными глазами (глубоко – для этих мест, у нас это бы не бросалось в глаза). Глаза то ли серые, то ли с голубизной, нос острый, с горбинкой, рот узкогубый, большой. В его облике не было типично славянского, скорее он смахивал на Шейлока, только Шейлока в разодранной нестираной парке, старых унтах и таких же меховых штанах. В чуме было предельно грязно.

Между собой они говорили либо по-долгански, либо, по-видимому в тех случаях, когда не надо было, чтобы их не понимали, – на почти понятном языке, нашпигованном долганскими и мне незнакомыми, вероятно эвенкийскими или нганасанскими словами. Но основа в языке была русской, и словарная и синтаксическая. Но что это был за русский язык! Тут и северное сюсюканье, и обороты, каких не знали уже наши бабушки, и такое произношение, какого нарочно не придумаешь. Записи об этом вечере у меня не сохранились, и очень жаль, что не могу привести записанных тогда, но ныне забытых примеров разговоров.

Мы проговорили весь вечер. Началось примерно так:

– Ты хресьян?

– А ты как хресьян ведаешь? Откуль сам?

Да, они хресьян. Их совсем мало осталось. С Пясины ушли давно – уж очень голодно было. Вот в колхоз вошли, с долганами живут и долганами называются. Только несколько иконок сохранили. Тут много лучше, сытней, чем там, на реке, было. В разговоре никакого интереса к своему прошлому, хресьянскому – им всё безразлично.

– А еще есть хресьян?

– Есть, только совсем мало.

Они могли вспомнить не более десяти человек. Все живут с долганами и называют себя долганами. Многие либо женились на долганках, либо замуж за долган вышли. Кто женат на хресьян (кстати, они настаивали, что хресьян это русские), те между собой, как и эти двое, говорят «по-русски». Ну, а дети как? – Все с долганами, все переженились на них, совсем русскую речь забывать стали. Да и много ли их? Детей больше хоронили, чем растили. А дети детей – те долган.

Любопытно, что в разговоре ни разу не вспомнился хоть один брак хресьян с пришлыми русскими. Может быть, такие бывали когда-то, но за последнее время хресьяне оказались ближе к долганам, чем к русским.

Было бы интересно выяснить, существовала ли прежде такая стена, и объяснить ее существование.

Вот так, пришлось всё-таки увидеть хресьян, правда самый конец их. Уже через несколько лет, при огромном убыстрении и жизни края, их было бы совсем трудно отыскать. Тут и смерти, не ждущие, как правило, предельного возраста, и ассоциация, и расселение. Так что, пожалуй, мне повезло.

15. Домой

Это только из такого далека мог показаться мне домом Норильск. Но всё-таки я там живу, хотя и хочу покинуть его. С трудом принимаю Север – он захватчик. Если не жить в городе, не гоняться за большими деньгами, а уйти в него, как мы уходили, на несколько месяцев – он выпускает когти и берет вас такой хваткой, что с нею нелегко справиться.

Вы знаете – бесконечную зимнюю ночь, в течение которой портится психика, это замечаешь, когда выглянувшее на пять минут краешком солнце наливает тебя радостью; зимние холодные сияния, уводящие тебя в холодный неземной мир; летний комар и душный накомарник, тяжелая ходьба по тундре и непрерывный труд, чтобы выжить в этом ледниковом мире. И всё-таки в глубине знаешь, что не забудешь ни дальней гористой тундры, ни ее красок, особенно летней ночью и на заре. Ничего похожего на густые чернильные краски и пунцовые тона настоящей Арктики, как о ней рассказал Борисов. Мягкая пастель,

еле уловимые переходы оттенков, а иногда изумительная мимикрия под юг. Кажется, только у старых шотландских пейзажистов есть такая мягкость тонов. Несколько лиственниц, торчащих среди широкой ледниковой долины, вдруг покажутся издали тополями среди степи, и невольно ищешь глазом домик под ними. Конечно, всё это особенное. Но, кажется, это «портит» людей и привязывает их накрепко и на всю жизнь к Северу. Гораздо важней особое чувство свободы и, как бы это сказать, – своей значимости, что ли. Ничего здесь не идет в руки само. За всё надо потрудиться в самом прямом смысле этого слова: будет ли это зимняя рыба или шкурки зверя, или заготовка топлива, даже самое элементарное путешествие в магазин в дни пурги.

И всё приобретает цену, можно сказать вещественно ощущаешь основной закон экономики – труд твой, твоего друга, соседа – он и определяет стоимость каждой вещи, каждого достижения. И от этого иначе относишься к людям, к себе.

Разыгрывается пурга. Ветер выхватывает тучи снега с земли, крутит, то прячась, то налетая из-за угла в поселках. В темноте, согнувшись в поясном поклоне, пробиваешь себе дорогу против ветра – разогнувшись не пройдешь – сшибет. Прячешь от него рот, чтобы воздух скользил вдоль лица или давил с затылка. Если попробовать дышать против ветра – невидимые мехи вдувают его в рот, распирают легкие и нет силы выдохнуть – это почти твердое вещество. Бывало и так: идешь, пробиваясь сквозь свистящую смесь из снега и упругого воздуха, не смотришь по сторонам. Вдруг из-за угла очередного дома пискливо:

– Товарищ, помогите!

Нечто закутанное, почти без фигуры, стоит прижавшись к стене в заветрии и не найдет силы выбраться на дорогу. Приходится взять на буксир: если идти по ветру, она должна охватить сзади, более или менее прижавшись к тебе, так, чтобы не было между вами завихрений; если против ветра, то спереди, как бы садясь мне на колени. В сильный ветер, когда он в спину, вы не идете, а как бы садитесь на него, воздух, и лишь поочередно приподымаете то одну, то другую ногу. Ветер сам оттранспортирует вас. Так лучше.

А вне поселков в темени практически нет ориентиров, ничего не видно. Поэтому ежегодно несколько человек замерзало под городом, не сумев найти его в мятущемся потоке снега. И всё-таки ориентир есть. Ветер. Об этом надо знать. Если с самого начала определить направление хода по равнине по ветру и, несмотря на все буераки и все появляющиеся в пути сомнения и соображения, идти, подставляя ему всё ту же щеку, ухо или затылок, вы придете. Но только, избави Бог, не поддавайтесь желанию повернуть. Это гибель.

Для таких путников гудит басом каждые две-три минуты мощный гудок Норильской ТЭЦ. Его слышно за 10–15 километров. Он помогает, но не тем, кто будет крутить, соображать, поддаваться полупаническим мыслям, когда, кажется, уж нет силы идти и всё тело охватывает усталость и холод.

Вероятно, желание сравнятся с силой бури гонит нас в такую погоду через весь город к кому-нибудь из знакомых. Не знакомые нужны в эту минуту, а нечто вроде вольной борьбы на снежном, не освещенном ринге.

Мне очень не хотелось бы хвастаться, но я тогда гордился и теперь ощущаю то же чувство за то, что был принят в свой круг прожженными северянами. Не смейтесь – это честь, и нет стыда радоваться ей. Даже куда больше заслуживший ее Петр Семенович не прошел мимо этого чувства.

И всё-таки я не северянин. Не был отравлен Севером. Чего-то для этого мне не хватило.

В тот год на обратном пути в Норильск я оторвался от своих спутников. Они шли с грузовым караваном, я обогнал их в попытке найти хресьян. К тому же в Волочанке была получена телеграмма с моем спешном прибытии в Управление. Поэтому я один попал на только что выставленный на дорогу станок перед переходом через край Караелака в долину реки Норилка.

Казалось, всё просто – еще один переход и окончится утомительный путь. Издалека покажутся огни поселка. Еще немного, и дорога вольется в его улицы и поведет к теплу, чистому белью, свету, отдыху. Что лучше конца пути? Мягче становится снег и скрип полозьев. Смягчается мороз.

Но оказалось, что может быть совсем по-другому.

Позади уже сотни километров пути, то радостного, с пощелкиванием копыт оленей, легкой дорогой, уютной ночевкой, то тоскливого в серой мгле пуржливого дня, с унылой поступью уставших быков.

До сих пор всё шло гладко. Правда, припаса стало немного. Топленое свиное сало, которым пробавлялись при ночевках под открытым небом (были и такие), кончилось. Прекрасная вещь это сало. Отколешь кусок его, величиной с кулак, и грызешь, лежа в мешке, после ужина. От сала не становится тепло, но не мерзнешь и можно спать. А вот без него сколько раз вскочишь и бегаешь, чтобы согреться. Холодно… да нет, это самому попробовать надо, а не читать в тепле.

Сало кончилось. Были хлеб, сахар, чай, немного мяса. Но ночевать будем в чуме и сало это нам ни к чему. Кстати, берут с собой в такой путь и спирт. Мы не брали – он только вреден. Если до тепла далеко,

то хуже замерзнешь, а если близко, то зачем он? Вот сало или масло – другое дело, они спасти могут.

Вечером хозяин станка, долган, мог сообщить только, что с той стороны, куда мы едем, еще не проходило ни одной санки, что на месте, может, и станка еще нет, но что где-то там есть стадо и балок пастухов.

– Ты, однако, не бойся. Стадо есть, балок есть, пастухи живут. Только большой станок ехать надо, очень большой, может сто километров.

Конечно, ста километров здесь нет, но перегон, действительно, большой. Ближе стать негде – для оленей нет корма.

Мы ехали втроем: какой-то весьма молчаливый фельдъегерь со спецпочтой, каюр Петр, который должен везти его санку, и я. Выехали пораньше: дорога не пробита и идти оленям будет трудно.

Как одеваются в такой путь вы, конечно, знаете: на теплое белье надеваются меховые штаны и малица (длинная рубашка мехом внутрь), высокие унты с меховым же чулком внутри. Сверх всего совик. Рукавицы тоже меховые, пришиты к рукавам. Всё сделано так, что нет хода для мороза.

В начале пути вел Петр. К его санке привязана санка фельдъегеря. Не умея править и явно не желая учиться этому, тот залег, как был, в совике, в огромный мешок из оленьей шкуры. Сверху его закрыли шкурой же, так что он вряд ли мог почувствовать прохладу при любом пути. Сзади вел свою санку я. Было холодно, около 40, может чуть больше. С юга тянул слабый ветерок. Так шли мы по безмолвному миру. Только это не белое безмолвие по Лондону. Аляска на юге и там светло. А здесь и безмолвие, даже среди дня, не белое, а мы ехали ночью.

Пробивать дорогу трудно, олени скоро устают, и мы с Петром меняемся. Вскоре моя санка шла впереди без смены: привязанная сзади упряжка фельдъегеря тянула оленей Петра назад, им было трудней моих.

За весь длинный переход егерь встал один раз, когда мы остановились отдохнуть и поесть. Спал ли он в пути, или только так лежал – не знаю. Было холодно. Встречный ветерок стал жечь лицо. Чтобы оно согрелось хоть немного, надо отворачиваться. Но не очень-то поотворачиваешься, идя впереди, – надо смотреть за оленями. Так стало еще холодней. И постепенно холод стал проникать сквозь меха. Очень медленно. И очень жаль, что не осталось немного сала Петру и мне.

Олени притомились, то и дело приходилось их подгонять чтобы совсем не встали. Остановки мало помогали, а конца пути нет, и где искать стадо и чум, еще совсем не ясно. Наконец стало невтерпеж. Олени еле двигались, того и гляди совсем откажутся идти. Холод

проник куда-то вглубь и его уже не выгнать. Трем лицо, кланяемся на остановках. Очень неприятное чувство, когда холод проникает в самую глубь и будто замерзает середина костей. И всё сильней. На одной из остановок, а они стали уж очень частыми, Петр подсел ко мне:

– Начальник, строганина будет.

Строганина – это нарезанное замерзшее мясо, любимое блюдо северян. В данном случае речь шла о «нашем мясе».

Как могу, уверяю его, что выберемся. Чум-то недалеко, найдется. И сам не очень верю своим словам.

И вот, когда замерзли не только щеки, нос, подбородок – веки, даже самые глаза, появились далекие, но такие ясные огни Норильской ТЭЦ.

Свет их раздражал: ведь близко, чуть ли не схватишь их. А прямого пути нет. Еще далеко, и с усталыми оленями мы не можем дойти. И не спасет костер на этом безлесном склоне, когда еще недостаточно снегу. Петр это знает лучше меня. Да и что толку, если даже досидим до утра? Оленям есть нечего. Как двинемся дальше? И злит егерь: спит – только раз спросил – далеко ли еще.

Мы тронулись снова. Еле передвигавшиеся олени вдруг встали. Поперек пути шел след небольшого стада. Еще метров двести, и мы натолкнулись на самих оленей. Надо было обойти их кругом, чтобы поискать след от санки – должен же быть где-то этот след. Но мои олени отказались совсем. Пришлось идти пешком. Идти трудно – очень уж померзло всё внутри. Но вот след. Я кричу Петру. Он не двигается. Я кричу снова и опять – то же. Пошел к нему. Вдвоем сдвинули моих оленей, за ними пошли его. На следу нарт они заметно оживились. И тут только, говоря с Петром, понял, почему он не отвечал мне. Мы оба говорили только шепотом, «крик не вышел».

Дальше всё было просто. Балок. Хозяева греют чай и распрягают оленей. Мы, Петр и я, без конца трем лицо и низко кланяемся перед дверью. Наконец решаемся войти. Садимся. И тут я понимаю, что мои поклоны не помогли – лицо всё целиком обморожено. И всё-таки легко.

Ловлю какое-то особое выражение на лице Петра. Он смотрит на нашего спутника, а я не оборачиваюсь в ту сторону. Мы ложимся спать, и в полусне не дают покоя холодные яркие огни, будто осуждающие на смерть в этой черной ночи.

16. Меймеча уходит в прошлое

Утром, сотворив весь обряд – то есть поев и налив в себя максимально возможное количество чая (чтобы больше был запас тепла), мы с Петром начали запрягать оленей. Они устали, с трудом повезут нас, но сменить нельзя – дорожных оленей еще нет, а колхозное стадо

не для нас. Путь вовсе короткий, часа на 2–3. А там Валек, тот самый, из которого вылетали весной. Там прощаюсь с Петром. Он уйдет назад к нашей ночевке и погонит оттуда все три упряжки. Теперь дорога пробита и всё пойдет гладко, надо только дать отдохнуть и наестся оленям. Мы прощаемся как друзья. Он увозит с собой мою, теперь мне не нужную санку. Наверное никогда больше не увидимся, но вряд ли наш переход забудется и им – всё-таки было туговато.

В Вальке я останавливаюсь у знакомых буровиков. Прежде всего – баня. Я даже не вхожу в дом – благо потеплело.

Баня – закон. Летом, живя в палатке, или на пути, если ночуешь в домах, всё сходит благополучно. Но достаточно одной ночи в чуме, на одной лежанке с хозяевами! Чтобы как-нибудь ослабить овладевшую нами рать, мы ездим с двумя расхожими сменами белья. Вечером – одну смену выкинешь на мороз – всё-таки большая часть живности померзнет. Следующим вечером – другую. И всё-таки сейчас, прежде всего, хорошая баня, а в ней, еще до мытья, бросить обе смены в печь, в огонь. А завтра, в городе, еще раз в баню – какое блаженство! Таков апофеоз наших поездок.

На этот раз все радости портятся забинтованным гноящимся лицом. Таким, в маске, вроде как у космонавта каменного века, изображенного на скалах Сахары, хожу в столовую нашего дома ИТР. Всё это заживает не сразу – обморозился крепко.

Зима. Приводим в порядок и обрабатываем материал. Раздарили свежемороженую рыбу (сигов, пелядок), прихваченную по пути у рыбаков на озерах – она идет на строганину, изумительное блюдо и редкое в городе, потому что рыба должна замерзать живой и ни в коем случае не оттаивать.

Идут бесконечные разговоры – в них оттачиваются наши мысли, вычерчиваются набело карты, изучаются под микроскопом шлифы.

Отправить привезенную слюду на полное испытание мы не смогли. После предварительной, у нас же в Норильске, проверки у нас ее забрали. Еще шла война, и в этот год Комбинату не смогли выделить ни килограмма слюды с «Большой земли». Пришлось отдать нашу. Она с честью выдержала испытание. Несмотря на иной раз жесткие условия эксплуатации, изделия из нее, взятые нами под контроль всюду, куда их поставили, не вызывали ни одной жалобы и честно работали по крайней мере еще три года, которые я проработал в Норильске.

В ходе обработки проверялись представления, сложившиеся за лето. Иной раз появлялись новые. Но в целом картина остается той же, и только жаль, что не хватает литературы по породам типа наших и по карбонатитам в частности.

С Владимиром Климентьевичем сидим подолгу. Он взял на себя описание наших пород под микроскопом. Лучшего сотоварища мы не смогли бы найти и на «Большой земле». И мы часами говорим с ним, прикидываем и вновь и вновь возвращаемся к пройденному. Он давно не работает в поле и от этого только сильней тяга к новым материалам. После второго года наших работ это уже не удивление перед меймечитом или другой непривычной породой. Перед нами как будто постепенно поднимается занавес, приоткрывается сцена с неизвестным, еще во многом непонятным действом. И особое наслаждение вникать в него, сопереживать незнакомой жизни. И так не вечер, не два – месяцы. Свои догадки, а они возникают, угасают, появляются вновь – мы идем проверять к нему. Он зовет посмотреть очередной шлиф и проверяет свои впечатления, возникающие в ходе изучения, на нас. И всё-таки всё столь необычно, что в условиях Норильска не завершишь дела. Надо проверить себя там, где хоть что-то знают о подобных провинциях (мы знаем только об одной, более или менее похожей – на Кольском полуострове), по которой хоть есть соответствующая литература.

Только через полтора года я попадаю в Москву и там докладываю о «нашей» провинции на Меймече. По интересу слушателей, вопросам и разговорам ясно – в целом мы, видимо, угадали.

Дома у одного из крупнейших знатоков – А. Н. Заварицкого, я еще раз кладу карту на стол. Прошу:

– Александр Николаевич, мы ведь вовсе не знаем работы Брёггера. Помогите сравнить наши и его данные. У вас ведь она есть.

– Вот Брёггер. Его карта. Только скажите – что вы видели и что у вас под наносами и растительностью? Что обнажено?

Голос у него, как всегда, суховат, будто он на что-то сердится. Этим же голосом он читал нам лекции в Горном институте.

– Всё что закрашено – видно. У нас почти полная обнаженность. Так что выдумок на карте нет. Это вас, Александр Николаевич, устраивает?

– Тогда чего вы хотите от Брёггера? У него только три выхода карбонатитов: вот этот и вот два. Ему надо у вас смотреть, а не вам у него.

И Александр Николаевич погрузился в нашу карту. Так окончательно мы уверились в своих выводах. Через пару лет, когда я снова перебрался в Москву, нашлась и литература о новейших находках, главным образом по Восточной Африке, частично по Северной Америке и по Европе.

Споры о карбонатитах не утихают до сих пор. Окончательно отпала версия, что это отторженцы от глубоко лежащих обычных известняков, захваченных поднимавшейся магмой. Но до сих пор не утихает спор о том, застывший ли это известняковый расплав или продукты деятель-

ности горячих растворов. В Восточной Африке (Бурунди, Уганда, Кения) есть вулканы с карбонатитовой лавой. С другой стороны, детальнейшее изучение карбонатитов СССР, возникших на значительных глубинах, не оставляет сомнений в том, что это – осадки из растворов. Может быть, в разных условиях они образовывались по-разному? Дело за экспериментом, его решения мы ожидаем.

Подобные вулканические провинции стали находить всё в большем количестве. Их известно чуть ли не с сотню во всем мире. Интерес к ним не пропадает еще и потому, что уж очень многим они отличаются от обычных изверженных серий, и потому, что с этими комплексами связаны многие месторождения, не только слюды и железа, но и апатита и некоторых редких элементов. И сырье это становится всё более ценным и нужным.

Наши поездки в район Меймечи – уже далекое прошлое. После нас там побывали многие геологи и «наша» провинция стала одной из многих. Но там есть Гулинская интрузия – вскрытое ядро древнего вулкана. И если все другие подобные тела не превышают, как правило, сотни километров по площади, а чаще много меньше, то Гулинское достигает почти двух тысяч и в нем, по-видимому, наиболее полно развита вся серия этих пород. Поэтому туда и ездят геологи, и она становится своеобразным эталоном такого типа пород.

В жизни была не только Меймеча. О многом пришлось узнать, во многом ошибаться, исправлять неудачи и ошибки. И когда задумываешься – что же, собственно, самое лучшее, что больше всего согревает память о подобных поездках и вложенном в них труде, то приходишь к несколько неожиданному выводу.

Хотя бы пример той же Меймечи. Новая провинция, древний вулкан, новые соображения о ходе вулканизма на севере Сибири, находка и узнавание карбонатитов – всё стало в какой-то мере своим. Не собственностью, которой полагается дорожить, а своим в том смысле, каким является результат любого труда или своим в том смысле, каком может стать своим человек. И для Петра Семеновича, и для меня, вероятно, и для всех ездивших с нами было время, когда Меймеча, даже земля ее, плато, степь и всё, что живет в ней, – были нашими. И вот изложено всё, что мы узнали, сказано всё, до чего могли додуматься. И это ушло от нас. Не сразу, но уходило, пока не ушло совсем. И зажило своей жизнью у других.

Так вот, как ни много значат для нас проведенные там дни, самым важным оказывается акт отдачи. Как будто, заполучив новую геологическую провинцию, мы подарили ее людям. Или это, может быть, звучит слишком громко? Нельзя говорить – подарили? Тогда можно найти другое слово. Но это – оказалось самым важным, и это делает

поездки на Мейменчу такими запоминающимися. Потому что они устроились в один ряд со всем важным, что делают люди. Наверное, самое важное в любой работе – именно в возможности отдать людям ее результат.

Скажем прямо – нам с Петром Семеновичем повезло, когда случай привел нас в эти районы, и изредка приятно вспомнить оба наших гулинских сезона.

Так кончает свои норильские записки отец. Его выпускают досрочно, но без права покидать Норилькомбинат. И следующее лето он встречает на Ангаре, главным геологом Ангарской, самой южной экспедиции Норильстроя.

Глава 9

НА АНГАРЕ И В КРАСНОЯРСКЕ

Это была первая взрослая встреча с отцом. Тринадцатилетней девчонкой я видела его в последний раз. Проснулась ночью от шума и света в коридоре. Шаги. Голоса. «Ну вот, обещал взять на рыбалку, а не разбудил», – подумала я.

Голос отца:

– Там дети спят.

Заглянула чья-то чужая физиономия.

Почему-то нас не разбудили, не подняли с постелей, не обыскивали детскую. Это был сентябрь 38-го. Сейчас август 45-го. И вот…

«Широко простирает Норилькомбинат руки свои в дела геологические» Красноярского края. Самую южную из его экспедиций возглавляет уже не з/к, уже освободившийся Юрий Михайлович Шейнманн. Ему 44. Он – главный геолог. Начальник экспедиции – хозяйственник. Экспедиция ведет работы на Енисейском кряже, на правобережье Ангары. Широкое поле деятельности, интересная и разнообразная геология. Поисково-съемочные и разведочные работы: железо в Приангарье, магнезиты на Талой, бокситы на Татарке. База на Ангаре, в Мотыгине. Целый поселок на окраине, у реки, на крутом, обрывистом берегу. Местные его называют «Норильск».

А у Мотыгина пашни, покосы, стога сена – Русь! Давно не виденная отцом и его друзьями.

Фотографии того времени показывают, как стосковался он, да и все они, по русской, среднерусской природе. Вот снопы в поле, дорожка и березы над ней. Как в России – ведь в Сибири Россией зовут то, что западнее Урала.

А рядом – мощь Ангары, лесистые острова, скалистые «быки» – вдающиеся в воду мысы. И большие сибирские села с крестовыми, крытыми тесом домами, высокими тесовыми заборами-заплотами, абсолютно лишенные зелени – нечего мошку разводить, тайга и так

кругом. И названия у деревень сибирские: Потоскуй, Погорюй – ссыльные ведь на землю оседали.

И вот – я еду! Я уже окончила два курса Московского геологоразведочного. Позади крымская практика, первая крымская после войны, с разрушенными базами, закрытым, режимным городом Севастополем, лежащим в руинах. Нас всё-таки свозили туда. Там два дома целых остались, но руины домов белые, тоски не вызывают. И корабли в бухте, и памятник погибшим кораблям в воде. Преподаватели вспоминают довоенные практики, но так же «нас ведет Муратов в шляпе белой». И ежи чуфыкают по ночам на белых тропинках. Уже знаком рокочущий бас Белоусова на лекциях по общей геологии (и на тектонике, куда я хожу тайком – ведь это для пятого курса лекции). Но не меньшее восхищение вызывает красивый подбор фактов на лекциях Н. М. Страхова. Зимой гремели диспуты Белоусова и Мазаровича, горячие, чуть не до ругани. И спокойный голос Н. С. Шатского: «Я не люблю боя быков»! Словом, настоящая студенческая жизнь – живая, интересная, полуголодная.

Знали ли в институте, что я – дочь Шейнманна? Его-то знали, безусловно, а про меня, если кто и знал – помалкивали: фамилия-то другая и никаких неприятностей!

Еду! Переполненный вагон, посадка была очень трудной, но студенты захватили вход, влезали в окна – словом, захватили весь вагон. Еду с удобствами: на третьей, багажной, полке, ремнем привязавшись к трубе, чтобы не упасть. После Новосибирска стало свободнее. Красноярск. Иду в представительство Норилькомбината, узнать о самолете – в Мотыгино летает свой По-2, экспедиционный.

Но сначала – интересная встреча. В Представительстве узнает о самолете на Норильск высокая средних лет дама в военной форме со значком медика. Темные волосы, пенсне, типично питерские манеры и произношение.

– Елизавета Ивановна?

— ???

– Я Галя Гаген-Торн.

(Именно Гаген-Торн, а не Шейнманн – Елизавета Ивановна Урванцева, военный хирург, была ассистентом моего деда в дни моего младенчества.) А сейчас летела в Норильск к своему мужу, первооткрывателю Норильска Николаю Николаевичу Урванцеву, уже освобожденному, но не имевшему права выезда.

Лечу в Мотыгино. Открытый По-2, пассажир во второй, инструкторской, кабине.

– Девушка, осторожнее, не наступайте на крыло, продавите каблучком.

А во мне весу 48 кг! Привязываюсь, взлетаем. Полное впечатление, что летишь на этажерке. Такой легкой, бамбуковой, на каких в довоенное время держали книги.

Ветер свистит. Холодно. (А на земле +20.) Земля под крылом будто совсем не двигается. Да еще Яков Акимович, экспедиционный пилот, бывший штурмовик, закладывает крутой вираж и оглядывается: как там девчонка? Потом доложил отцу: «ничего, летать с ней можно». Долго летим. Земля внизу как будто неподвижна. Зеленое море.

Наконец-то! На высоком крутояре экспедиционная база – «Норильск» по-местному. Два больших бревенчатых дома – общежития, камералка, домики начальства, склады, столовая, кажется пекарня и еще какие-то строения. На берегу свой флот: катер, моторки, лодки. На острове свой аэродром.

На лодке встречает отец. Высокий, худой, сильно полысевший. Одет в черную сатиновую косоворотку, на ногах американские лендлизовские ботинки с обмотками. Своим стал сразу, с первого взгляда. Мне тогда показалось, что он уж немолод, но, как я понимаю, многие дамы думали иначе. Он был великолепным рассказчиком, я таких больше не встречала. И знал, как мне казалось – всё. Литературу, музыку, биологию, астрономию, географию, историю, не говоря уж о своем родном деле – геологии. Прекрасный ходок и охотник, умелый таежник, хороший рыболов. На одежду не обращал внимания, но ружье – «Зауер три кольца», мечта многих охотников.

Пока жили в Мотыгине, вечерами я слышала: «Бери весла!» По вечерней заре ездили на уток. Я на веслах и за собаку: смотрю – куда упала утка. Бил только влет. Утка летит прямо на нас. – «Смотри, это называется королевский выстрел». Утка падает. Подбираю. Еще одну-две и хватит.

О Норильске и лагере говорить не любил. Так, проскользнет иногда. А вот о людях, там встреченных, о литературе, о том, что там многие писали, благо работали в геологоуправлении и бумага была – об этом говорилось. И о Льве Гумилеве, который там работал с ними, родословную которого норильские остряки писали на манер родословных породистых собак: «от Гумилева и Ахматовой». По рукам ходили списки поэм Льва Гумилева, удивительно похожих на африканские стихи его отца, но с его, востоковеда, тематикой. Я помню две: «Надпись о похищении и возвращении Бортэ, жены Темучина Чингиз-хана» и о Джамуге,

молочном брате Чингиз-хана, плененном им. Пленный Джамуга и полководцы Чингиза сидят у костра и рассуждают о том, что такое счастье. Каждый декларирует свое пониманье счастья: счастье удачной охоты, счастье победы, счастье «черных кос моей Нахараджаб», счастье власти. Кончается поэма речью Джамуги, обращенной к своему молочному брату:

Нет, счастья, мой аньда,
Не знаешь и ты,
Владеющий миром просторным:
Под страшною тяжестью вражьей пяты
Валяться в пыли – непокорным.
Почувствовав в спину вползающий нож –
На муку – ответить улыбкой.
Пусть ты победителем в мире пройдешь –
Спины мне не сделаешь гибкой.
Я видеть не буду, и этому рад,
Твой рабский народ и покорный.
Убей же меня, мой возлюбленный брат, –
Последний не мертвый свободный!

Мне эта поэма больше нигде не попадалась. А надпись о похищении Бортэ я видела в одном из гумилевских посмертных сборников, но не полностью. Посвящение, страшно напоминающее стихи Гумилева-отца, было. А вот начало поэмы:

Азиатская осень невестится,
Желтый лист осыпает по склонам;
На воде – отражение месяца,
Он нигде не боится погони.
Осень с месяцем, весело в паре вам
Слушать песни Саянских ветров:
Вам не надо бежать перед заревом
Отдаленных монгольских костров...

Его не было. И те и другие я привожу по памяти, может быть, неточно. Просто это было одной из тем разговоров. А еще были и Тихонов, и Мандельштам, и Маяковский, и рассказы, которые писали з/к долгой норильской зимой, в том числе и папа. Один у меня хранится до сих пор. Это маленькая, с небольшой блокнот, тетрадочка с полустертой надписью «почти плагиат с Льва Гумилева» – «Повесть о двух фермерах, двух неграх, достопочтенном шерифе и о страшном Тадду-вакка». В свое время Ирина Павловна выкинула рассказы – «они слабенькие». А я подобрала.

Рассказы как рассказы. Но устные, ей-богу, были лучше, лучшего рассказчика я не знаю.

Обжилась я в «Норильске». Народ в экспедиции был тот, норильский, за исключением нескольких молодых геологов. Недаром они пошучивали, что географическая широта Мотыгина самая для них подходящая – 58-10. Помню Булмасова, Старшинова, Фомина и др.

А рядом, в соседнем селе, базировалась экспедиция Желдорпроекта. Что уж они там проектировали – не знаю, но мы с ними часто общались. С этим связано для меня одно из главных воспоминаний этого лета. Главным геологом этой экспедиции был Бочевер, Фай Минаич, как звали его рабочие. Гидрогеолог, выпускник МГРИ, впоследствии профессор – худой, носатый, сутуловатый и изумительно милый человек.

Кто-то из его сотрудников принес образцы руды – с речки Большой Мурожной. Откуда точно – неизвестно. И вот оба главных геолога решили проверить сами – послать-то некого, все выполняют план, да и надоела, видимо, руководящая деятельность. Я попросилась с ними. Бочевер засомневался: «Трудно. Девушка ведь».

– Пусть идет. Она может, – сказал отец.

Это был мой первый таежный опыт. До верховьев Мурожной, по старому зимнику, нас подбросил конный караван одного из отрядов Бочевера. Дальше пути не было. Даже звериных троп. На берегах завалы, бурелом, старый, уже поросший иван-чаем. Завалы в рост человека. Отец учит – под завалы лезть нельзя, может придавить или так застрять, что не развернешься. Идем втроем. Расчет на две холодные ночевки, у устья будет ждать моторка. Уже бывают ночные заморозки. Конечно, никаких палаток и спальников нет. У всех по топору, у мужчин еще ружья. Минимальный запас продуктов, котелки, ложки, кружки. Там, где берегом пройти невозможно – идем по воде, с косы на косу. И опять отец учит: «Босиком нельзя, надо в ботинках на босу ногу, а сухие носки в кармане». На берегах свистят рябчики, сколько-то они настреляли.

Ночевка у костра, на высоком скалистом берегу. Пока мужчины ладят нодью, я жарю рябчиков на рогульках над углями (опять же научил отец) и по собственной инициативе, уже почти впотьмах, собираю крупную, почти черную бруснику, на варенье к рябчикам, по-питерски. Одобрено. Ночевали хорошо, хотя уже сентябрь, утренники. Следующая ночевка была похуже: шел дождь. Вот тут-то меня и учили всем премудростям холодных ночевок. Сначала мы долго прогревали костром мокрую землю, затем

отгребли в сторону угли, настелили лапник, от которого валом валил пар, и легли, укрывшись бушлатами и разложив в ногах хороший костер типа нодьи. Спали спокойно, только разок отец подправил костер. На третий день вышли к устью, куда за нами пришла моторка.

Красоту осенней Ангары мне не описать. Осенняя прозрачность воздуха, голубое небо с редкими облачками и широкая, до пяти километров в разливе, могучая, быстро текущая Ангара. По берегам – многоцветье сопок: золотые и бронзовые лиственницы, золотые березняки, красные – от оранжевого до багрового – осинники, темные, почти черные пихты и темная, слегка голубоватая, зелень кедров. А сама река! Она так великолепна и могуча, что невольно вспоминается Тихонов:

А из рек, протекающих прямо,
Так широко и плавно
Может пить только бог или мамонт,
Подходя как к равному равный.

Местами, там, где выходы более плотных пород, река несколько сужается. В русло вдаются «быки» – высокие скалистые сопки, в самом деле напоминающие каких-то гигантских зубров или бизонов, с темной гривой на спине, опустивших морды к воде, чтобы напиться.

И вот, около одного из таких скалистых обрывов, где фарватер проходил под самой скалой, – наша моторка вдруг заглохла. Я судорожно оглядывала расселины, выступы в камне – искала взглядом, где можно зацепиться, если моторку понесет на скалы. А отец и Файбиш Минаевич спокойны. Через считанные минуты мотор чихнул и заработал вновь, и вскоре мы были уже дома, в Мотыгине. А там пора и собираться в Москву, занятия уже идут.

До Красноярска добиралась пароходом, с желдоровцами. Остановилась, пока доставала билет, у знакомых отца, дочерей его норильской солагерницы, местных учительниц, в старинном крепком деревянном доме со ставнями, печкой, топящейся углем, с исконным сибирским бытом. Тогда там жила младшая, Елена Константиновна, молодая вдова, крепкая, русоволосая, строго, по-учительски, одетая и причесанная, очень приветливая и милая. Мы с ней быстро сошлись. Кажется мне, что она имела виды на отца, и, ей-богу, это было бы неплохо. Но...

Следующий раз с отцом я встретилась уже в Москве. Ограничения были уже сняты. Ирина Павловна ехать в Красноярск

не собиралась. Она вообще подумывала, не порвать ли совсем. Ведь недаром она выгнала из дома деда Мишу тогда, военной зимой. А я не сумела заступиться. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*.

Отцу в Красноярске становиться тесно. В научном смысле. И вот, чтобы иметь возможность работать, папа решает защититься.

Защита диссертации

Он был уже свободным, не судимым, когда приехал в Москву. Материалов было много, задуманного еще больше, а для возвращения в науку нужно было и формальное признание его как исследователя. Но слово Владимиру Владимировичу Белоусову, профессору, старому знакомому, с которым они работали в соседних отрядах у М. М. Тетяева еще в 1929 году:

> «Тут произошла наша вторая встреча. В какой-то вечер 1947 года позвонил телефон. Я взял трубку. И вдруг услышал и сразу узнал голос Юрия Михайловича. Он сказал, что привез диссертацию и просит меня быть оппонентом. Защита состоялась в Геологическом Институте. Ученый Совет, который был единогласен, трогательно приветствовал Юрия Михайловича, как самого родного человека».

В серый, морозно-слякотный день, в темноватом большом зале ИГЕМа состоялась защита. Я хорошо ее помню, Оппонентами были уже упомянутый В. В. Белоусов и Д. С. Коржинский (академик) – «один однокашник и один коллектор» – как пошутил потом отец в ответ на вопрос об оппонентах. Тема работы Ю. М. Шейнманна была «К истории развития Сибирской платформы». История ее развития с докембрия до кайнозоя. Были использованы и материалы по северной, северо-западной и западной части платформы, хорошо знакомые автору, и его собственные наблюдения, а также многочисленные материалы геологических фондов и сравнительно скудные еще тогда печатные материалы. В предисловии автор указывает на недостаточность, с его точки зрения, материалов по Витиму и юго-востоку платформы, где у него не было собственных наблюдений. Он использовал 305 работ, из них собственных 15, а еще 3 написанных в соавторстве с Котульским и Мором, 142 рукописных отчета из геологических фондов Норильстроя. К тексту было приложено 28 структурно-палеографических схем.

---

* Моя вина, моя большая вина (лат.).

До этого все представления о Сибирской платформе основывались на очень скудном материале. Часто во многих из них все построения основывались лишь на домыслах разных авторов и теоретических рассуждениях, как, например, представления об альпийской орогении Таймыра и пр. Новые материалы по строению платформы, новые данные по древним отложениям на юге – всё это требовало пересмотра ранее высказанных взглядов и попытки осмысления истории развития платформы и формирования ее структуры, что и получило отражение в работе. Особенно это касалось северо-западной части платформы, области почти *совершенно не исследованной*, по которой были получены новые материалы и где была им открыта совершено новая геологическая провинция, состоящая из крайне редких пород (а одна и вовсе ранее неизвестная). Делая оговорки и извиняясь, что материала всё равно недостаточно, автор предложил временные, как он выразился, выводы.

Защита прошла блестяще, голосовали единогласно, зал приветствовал стоя. И дело было, конечно, не только в самой диссертации, серьезной и актуальной, но и в явном сочувствии геологической общественности и даже удивлении: «Вот это да! Заключенный, пусть бывший, пусть расконвоированный, но – новое открытие и диссертация!»

ВАК своим решением от 5 апреля 1947 года присуждает Юрию Михайловичу Шейнманну ученую степень доктора геолого-минералогических наук.

А новоиспеченный доктор возвращается в Красноярск, в ту же Ангарскую экспедицию, только она теперь принадлежит не Норильстрою, а Красноярскому геологическому управлению. И он, соответственно. Такая произошла пертурбация. А Ирина Павловна туда не едет, не хочет. Что-то у них не клеится. И она отнюдь не декабристка.

Я уже на четвертом курсе. По положению мне нужна горная и буровая практика, а хочется поехать к отцу. И вот в мае письмо от него:

«1.05.47.

Ну, что ж, начнем, Галя, с главного. Потом о делах. Ты права. Не писал никому. Мяк* и маме по существу говорить мне было невозможно, потому что знал, как виноват перед Мяк. Сейчас рассказывать не надо, м. б. позже когда-нибудь. Только то, что сделал, было наименьшим злом по отношению к ней. <...>

---

* Домашнее прозвище Ирины Павловны. – *Г. Г.*

Совершенно обязательной была простая материальная помощь ей. Это минимум, который был обязателен не только по отношению к ней, но и к себе. А тут вышло так, что я попал в дурной переплет в здешних местах В октябре получил последние деньги и до марта не получал ничего. Незачем тебе и эти подробности рассказывать. Во всяком случае, этого не было бы, если бы не заявил о своем желании уйти отсюда. <...> Молчание всех было достаточным свидетельством того, что потерялись мы с тобой. <...> Теперь о моих делах. Дней через 10–15 выезжаю отсюда совсем. Уже перешел в Красноярское управление Министерства геологии. Работать буду в том же Мотыгине, куда надеюсь попасть к июню. Пока там и жить буду. <...>

О тебе. Думаю, что можно было бы устроить всё, что тебе нужно на Ангаре. Экспедиция сейчас большая (разведки железа, магнезита и боксита, съемка и т. д.) Только подземных работ не будет. Если можно тебе ограничиться глубокими шурфами и канавами, то всё легко сделать. Кроме бурения и всяких ямок могла бы и геологией заняться. М. б. вместе со мной. А мне еще много неясно в той работе, потому что принимая ее я пробыл в Красноярске и Мотыгино только по нескольку дней в марте. Ну вот, если согласна, буду действовать полным ходом. Вместе с этим письмом пишу в Красноярское управление с просьбой оформить вызов тебе. Надеюсь, что Ангарские места тебя устроят на лето. Решай. Было бы совсем хорошо, если бы на такую поездку решилась и Лада. Захочет? Прошу оную Ладу Юрьевну известить меня. Только не сюда уже, а в Красноярск, Сталина 37, Геол. Управление. Решайте сами, я жду.

Ну вот, кажется и все дела. Значишь ли ты и Лада что-то для меня? Значите, и много, ребята. <...> С жильем, надеюсь, будет всё в порядке – у меня должна быть целая квартира. Чтобы не жить в ней одному, я подселил Пельтека с Верой Петровной и их потомством. Но в трех комнатах разместимся. С едой устроимся. Ну вот, решайте обе и немедленно извещайте в Красноярск. <...> Папа».

Так я снова попала в Ангарскую экспедицию. Всё знакомо, и люди частично те же. Буровую практику пройду у себя, на Татарке, на бокситах. А о горной отец договорился на Раздолинском сурьмяном руднике. Там и штольни, и шахта, и штреки, и взрывные работы. Всё очень интересно, масса нового, захватывающего, возник уже серьезный интерес к геологии, и не только к теории, к веществу.

На Татарке занимаюсь не только бурением, но и пытаюсь картировать сложное строение участка. Живу в большой палатке, натянутой на каркас, с Е. Н. Щукиной, специалистом по бокситам,

приехавшей сюда из Москвы для консультаций. Всё очень интересно: и сложная геология, и тайга вокруг, и жизнь маленького поселка разведчиков. Начальник – молодой геолог, одессит Пельтек, Женечка Иванович, как его зовет отец. Маленький, подвижный и очень сильный. Когда я, добираясь в партию, на ближайшем прииске Герфеде (Герасимо-Федоровском) выясняла, как найти базу партии, меня спросили:

– А кто начальник? Это такой маленький, двухпудовиком крестится?

Оказывается, старатели хвалились каким-то своим силачом, который с двухпудовой гирей в руке кладет полный крест – со лба на живот и с плеча на плечо. А наш начальник переспросил: «Так?» И тут же повторил, чем и прославился на всю округу.

В партии для меня всё ново и интересно. Это, собственно, небольшой поселочек: есть несколько рубленых домов, баня, камералка. Остальные – в палатках. Общей кухни нет – питаются компаниями. Хлеб привозят два раза в неделю из Герфеда – своей пекарни нет, потому что в полевых условиях не получается нужный припек, а время было еще карточное. Крупы, масло, сахар – паек. Без нормы только соленая рыба – начальник экспедиции договорился с рыбозаводом. И американское сгущенное молоко не по карточке, а по записке начальника на склад. Но почти все ребята ловят рыбу в речке Татарке, на которой стоит поселок. И еще была медвежатина: наш конюх-возчик, ездивший за хлебом, за год убил девять медведей, вышедших к нему на дорогу. Один был в мою бытность.

Жизнь в партии интересная, месторождение еще интересней, но только с отцом вижусь редко, даже когда он приезжает – не хочу афишировать отношения с начальством. В партии я побыла с месяц. А до этого жили с отцом на базе, в Мотыгине. Со мной приехала моя младшая сестрица, Лада, тоже знакомиться с отцом. Мама уговорила. Мама с бабушкой и Ладой к этому времени переехали в Москву. В нашу 11-метровую комнатку в выделенной когда-то папе квартире, в той самой перестроенной конюшне. С пропиской были сложности, но Лада и не была выписана, а о маме наша няня сказала в домоуправлении: «Мать вернулась к детям, как вы ее не пропишете». Ее там знали, она у них работала. Словом, прописали, не спрашивая согласия Ирины Павловны. А няня, получив пенсию, в чем ей очень помогла мама, уехала в деревню, в свой собственный дом, построенный за долгие годы житья «в людях». Не надо было так решать семейные вопросы. Но пока всё было мирно. Даже взаимоотношения двух бывших жен.

Так моя сестрица, уже первокурсница мединститута, оказалась на Ангаре. И я ей уступаю дорогу.

Кроме того, к моменту нашего приезда в Мотыгине находится томский профессор Юрий Алексеевич Кузнецов. У них с отцом свои разговоры. Развлекаю их привезенной из Москвы шуточной «Тектоникой», ходившей у нас по рукам. Кто автор – я точно не знаю. Говорили: кто что Н. А. Штрейс, а кто – В. А. Варсонофьева. Последнее вернее.

Ложатся мощные осадки
В глубоких впадинах морей.
Сминает их в шарьяжи, складки
Тетяев, главный чудодей.
И там, где геосинклинали
Широкой зоной пролегли –
Хребты могучие вставали,
Преображая лик Земли.
Их Вегенер разбил на части,
Заставил плавать вкось и вкривь,
Причину этого несчастья
От человечества сокрыв.
Арган – лукавый и жестокий –
Европу с Африкой стравил,
Альпийский горный кряж высокий
Он на Европу повалил... –

ну и т. д. Отцу должно быть интересно – он ведь тектонист, он начинал работать у Тетяева, он редактировал перевод книги Э. Аргана. Я это помнила.

Профессор Усов циклы-фазы
Тектогенеза возродил
И, даже не моргнувши глазом,
В литературу их пустил.
Услыша ложную тревогу,
Не разобрав в чем дело тут
Сибиряки ему в подмогу
Толпой свирепою бегут... –

поглядываю я на профессора Кузнецова.

Оба просят меня записать для них этот опус. Но вот вверх по Ангаре – посмотреть разрезы и на железорудные участки – едут без меня. Мне очень хотелось поехать с ними, но надо было на практику, и посейчас жалею, что не стала настаивать.

Всё-таки в этот приезд такого контакта с отцом, как в прошлый, не было. Было хорошо, но не так. Ладка ли тут причина, практика ли, но так.

На обратном пути, в Красноярске, я снова у сестер-учительниц. На этот раз там старшая, Клавдия Константиновна. Приняла меня хорошо, но как-то суховато, не очень приветливо. Понятно.

А еще знакомлюсь с отцовым приятелем Вячеславом Вячеславовичем Богацким, очень приятным и остроумным человеком, и его женой Ниной Павловной. Зимой они с отцом писали какую-то казенную бумагу и подписали ее: «Земельного приказу думный дьяк Юрий Михайлов и меньшой подьячий Славка Адский бог».

Впоследствии Вячеслав Вячеславович тоже попал на Колыму по «делу геологов». Жена его последовала за ним, но встретиться им не дали.

Вот, пожалуй, и всё о Красноярске, если не говорить о самом городе. Он стал мне своим, несколько раз была там проездом, а потом и зимовала. Ему бы по сибирской традиции Усть-Качинском быть, но уж больно бросаются в глаза красные обрывы у устья Качи. А внизу деревянная слободка, в которой пришлось зимовать, – «Кронштадт» называют ее в народе. Почему – не знаю.

Центральные улицы – настоящие городские. И великолепный городской парк – кусок первозданной тайги. И еще – Столбы. Их видно из города. Красивейшие скалы, мечта скалолаза. Вся чего-либо стоящая молодежь Красноярска – столбисты. Это они придумали лазать в галошах. А веревками они не пользовались: у каждого столбиста пояс – три метра неразрезанной материи. Если надо – связывают пояса. Спиртное – категорически воспрещается. Выгонят и больше не подпустят к Столбам. Словом – отличные ребята.

Вернулись в Москву. Обе учимся, я на пятом курсе, сестра на втором.

А 30 декабря, под самый Новый год, – вновь арестовывают маму. Начинается «второй тур». Потом всех брали, уже отсидевших: кого в лагеря, кого просто в ссылку. В лучшем случае «за минусом 39» – большие города. Мама попала в первую волну, потом она была уверена, что тут не без Ирины Павловны. Но это недоказуемо.

А я поступаю на работу. Сессия сдана. И с начала весны 1948 года я – прораб-геолог, а потом геолог Сибирской комплексной экспедиции Аэрогеологии. Это существенно – ведь нас трое,

и маме передачи надо. А дипломный год, который впереди, обязательного посещения института не требует. Летом еду в экспедицию, на Енисейский кряж, почти туда же, где была, севернее Ангары. Мой отъезд в экспедицию почти совпадает по времени с возвращением отца в Москву.

Глава 10

ТУВА

Еще зимой 1947–1948 годов он чувствует, что для нормальной творческой работы пора возвращаться в центр. В письме ко мне от 29 ноября 1947 года он пишет: «От района ничего интересного не жду уже, в этом году, по крайней мере» и еще: «По правде сказать, хочется зимой побывать в центре, но удастся ли это не знаю. До декабря отсюда дороги не будет. А там увидим».

И он интенсивно действует. И возвращается в Москву. И даже с Ириной Павловной у них всё налаживается – вместе едут в Туву, такая вторая свадебная экспедиция, как в 30-е годы. Но мне незачем писать об этом – об этом времени есть его рассказ.

Вход в Азию

В 1948 году я снова переехал из Красноярска в Москву. Вернее, заехал, пробыл две недели, оформился на новой работе. И уже в середине июня мы – Ирина (жена) и я смотрели Минусинский музей и Енисей, такой уютный здесь после сурового великана в низких берегах, каким я привык его видеть между Туруханском и Дудинкой. Втроем, вместе с Игорем Ивановичем Белостоцким, мы перевалили на грузовике Западный Саян, направляясь к Кызылу. До сих пор жалею, что не пришлось поохотиться в лесах около Ермаковского перед Саяном и поработать в районе немыслимо крутых пиков в самом Саяне. Мы проехали неширокую Усинскую котловину и двигались по пологому перевалу на юг от нее. По-прежнему тарахтел на ухабах грузовик и пыль забивалась под навес в кузове. Вот проехали огороженный маральник, даже маралов издалека видели. И тут всё кругом стало меняться. Непрерывные леса, освободившие только гольцы на хребтах, да раздвинувшиеся около лугов там, где долины пошире, расступились и остались только на далеких горах. А дальше на юг только пятнышки леса, даже не рощицы. Они здесь чисты и умилительны, ненужные, запутавшиеся среди степи.

Степь пришла сразу, без какой-либо переходной зоны, вплотную прилегла к темной таежной стране. И сразу же изменился воздух. В лесу он чуть сыроватый, пахнет зеленой травяной мякотью, посла-

бей, но похоже, как если растереть ее между пальцами. И еще хвоей пахнет, не всегда правда, но иной раз сильно, в заветрии, в жару.

А здесь сразу и не разберешь, что главное. Может быть ширина, открывающаяся глазу. Пологой равниной уходит от перевальчика степь. Еще зеленоватая, не абсолютно ровная, а по ней светло-желтая дорога, то расширяющаяся и разбивающаяся на рукава, то сужающаяся. Она уходит в даль, всё слабее выделяясь в ее синеве. А за равниной горы, не целый хребет, а два или три горных острова. В уже снижающемся солнце они четки, как будто вырезанные. Но рука резчика мудрая, самые острые изгибы, на которых уже скалы прорезались, смягчены немного. И так же, не обрываясь, переходят одна в другую краски. И всё особенное, совсем иное, чем перед перевалом.

Другая раскраска? Конечно. Слегка палевые тона степи не могут существовать в тайге, даже на луговинах. Но не только краски виноваты – воздух. От него всё и меняется. В высоких горах он голубоватый, абсолютной прозрачности, в большом лесу – зеленый (или только кажется таким). В Иркутске, верней около него, в Прибайкалье, воздух в сентябре золотистый, конечно если он не испорчен дымом. Все знают жемчужный воздух ленинградских белых ночей. А вот какого цвета он в степи, никак не определишь, хотя и здесь есть свой цвет. Особенно когда колышется даль во всхолмленной азиатской степи. И копчик, один на всю степь, часто бьет крыльями, будто подвешенный на невидимой нити.

Смена северных лесов на сухую степь была предельно резкой. Мы вышли из машины. Навстречу дул ветерок, и от него немного пахло пылью, сухой перегретой травой и еще – это определяло всё – степной сероватой полынью.

Конечно, каждому – свое. Может быть, только мне одному эти запахи, далекие изгибы на склонах степных гор сказали громко свои слова, которых больше нигде не услышишь. Это потому, что долго работал в степи. И когда после разлуки попадаешь в нее, на всё, что вижу, слышу, говорю, накладывается еще один мир. Как в театре, когда опускается прозрачный занавес и видны сразу и декорации и занавес, не мешая друг другу. В такие минуты в степях как бы слышны скрипы колес, поднятая ими пыль, шум от криков людей и скота. На солнце зажигаются блесками и тут же гаснут убранство и оружие, и медленно движутся переселяющиеся кочевники, орда. Кто-то уверял меня, что это из прошлой жизни. Ерунда конечно.

Именно такое ощущение охватило тогда меня и отдалило от спутников. И одновременно потянула, как русалка в омут, особая, присущая, видимо, только Азии, даль. Не стоит над этим смеяться. Эти ощущения были так же сильны и под пятьдесят, как в молодости,

и остались до сих пор. Кое-что, правда, исчезло – к старости такие картины не возникают уже, когда отдаешься большой музыке, а раньше были непроизвольными. И жаль, что их нет сейчас. Мы постояли у входа в степь и двинулись дальше, к Уюку. Это был самый край Центральной Азии. Она начинается у перевала при въезде в Туву. Спускаясь с перевала, мы как будто окунулись в нее.

Так он вспоминал свое первое знакомство с Тувой. По степной разъезженной дороге грузовик подкатил к парому через Улуг-хем (Енисей). На пароме через реку – в Кызыл. Тогда это был маленький город с единственной по-европейски выглядевшей главной улицей: заасфальтированной, с добротными кирпичными двух- и трехэтажными зданиями, здание облисполкома даже с колоннами и флагом на куполе. Остальные улицы, вытянувшиеся параллельно реке, состояли из маленьких деревянных домишек с плоскими кровлями, над которыми возвышались голые стропила: раньше в Туве все дома имели плоские кровли – дождей почти не бывает, а после вхождения в СССР решили обустроить их на европейский лад, поставили стропила, на том и кончилось. И вот на въезде в город дома с голыми стропилами, как после бомбежки, и торчащие повсюду журавли колодцев, живо напоминающие зенитки. Кызыл стоит на высокой пойме и первой террасе, вода близко и колодцев нарыли массу. Улицы голые, без деревьев, но почти в центре города на островах – парк с огромными тополями и многочисленными кустами – кусочек дикой природы. Это на слиянии Бий-хема и Каа-хема, Большого и Малого Енисеев, образующих Улуг-хем – Великую реку – собственно Енисей. Город тянется и вверх по Бий-хему, несколько параллельных улиц. Там база экспедиции и рядом, на поле, базировался и собственный самолетик По-2. Так выглядел Кызыл через год после приезда отца, когда там очутилась я. Думаю, что при нём он был таким же.

А вот как вспоминают о Юрии Михайловиче его подопечные тех лет, молодые начальники съемочных партий Валя (Валентина Вячеславовна) Архангельская и Люсьен (Арон Григорьевич) Кац, оба впоследствии доктора наук:

> Мы – два молодых, только что окончивших МГРИ, геолога начали работать в Тувинской экспедиции Всесоюзного аэрогеологического треста (ВАГТ). В то время территория Тувы только недавно была присоединена к СССР, ее геологическое строение было совершенно не изучено. Экспедиция вела геологическую съемку юго-восточной Тувы в масштабе 1:1 000 000. Партии были оснащены

конным транспортом (от 20 до 40 коней). Провизией партии снабжались с базы в г. Кызыле по карточным нормам, в том числе живыми козами и козлятами-яманами и ячменем для лошадей. Тяжелый груз набирался почти на весь полевой сезон, поскольку существовали только вьючные тропы и подвозить грузы было не на чем (только самолетом, а посадочных площадок очень мало. – *Г. Г.*)

Предусматривались визуальные осмотры подлежащей съемке территории с самолета По-2, предварительные перед началом работ и один-два в процессе работ. <…> Оказалось, что территория юго-восточной Тувы хорошо обнажена, а слагающие ее породы контрастны по цвету. <…> Геологические маршруты при масштабе съемки1:1 000 000 проводятся через 10 км, и составление карты между маршрутами всецело зависит от опытности и геологической интуиции исполнителя. Естественно, что квалифицированную помощь молодые геологи получали от старших, в данном случае от главного геолога экспедиции. <…>

Когда Ю. М. впервые появился на базе экспедиции и был представлен нам начальником экспедиции, мы увидели высокого худощавого и моложавого человека с умными, серьезными, очень выразительными глазами, доброжелательно оглядевшего весь наш коллектив. Он прочел нам несколько лекций о геологии вообще и, в частности, о геологическом строении так называемого «темени Азии» (как известно, в г. Кызыле находится географический центр Азии). Очень быстро мы полюбили Юрия Михайловича и оценили его глубокие геологические познания.

Перед началом полевых работ он провел для нас несколько геологических экскурсий в окрестностях Кызыла, в долину Элегеста для осмотра девонских и карбоновых отложений и геоморфологических наблюдений и др. В геологических маршрутах он был неутомим, и мы – молодые и здоровые – за ним не успевали. Он обращал наше внимание на, как казалось нам, незначительные «мелочи». Например, на характер обнажения плитчатых юрских пород, округлые или грубо-блоковые формы выходов гранитов, массивные скальные обнажения вулканитов, которые позволяли еще издали определить с какими породами мы будем иметь дело; учил видеть следы неотектонических движений, отразившихся в геоморфологическом строении того или иного участка, и т. п. особенности, ускользавшие

от нашего еще не натренированного взгляда. Он постоянно напоминал о необходимости как можно более подробных записей в полевых дневниках и детальных зарисовок обнажений. Требовал, чтобы в каждой партии была дежурная полевая геологическая карта, еженедельно, в камеральные дни пополнявшаяся сведенными и обобщенными материалами маршрутов. Мы все очень многое получили от общения с ним

Страстный рыбак, он пользовался каждой свободной минутой после маршрутов, чтобы половить тайменей и хариусов в полноводных тогда притоках р. Енисей и часто бывал с богатым уловом.

А. Г. Кац вспоминает:

Лето 1948 года. Моя партия должна была закартировать бассейны правых притоков р. Каа-хем. Мы остановились в устье его правого притока – Белима на погранзаставе и через ее радиостанцию передали, чтобы нам на самолете доставили продукты. И вот появился самолет, но пока не с продуктами, а с Юрием Михайловичем, который прилетел для проверки наших полевых работ и квалифицированной помощи. Продукты же должны были нам доставить через три дня и забрать Юрия Михайловича обратно. Первый день мы ходили в маршруты по окрестностям заставы, изучали молодые – четвертичные – базальты, занимавшие долину р. Каа-хем, обследовали горячие (с температурой до 95 градусов) минеральные источники гидросульфатных и сероводородных вод, бьющие вблизи погранзаставы. За обедом, после обмена мнениями по геологическим вопросам, Юрий Михайлович узнал, что в реке Белим много тайменей (по-тувински таймень – бельма, отсюда и название реки). И вот он бегал со спиннингом и наловил несколько рыб, весом 5–8 кг, а на ночь, вместе с тувинцем-конюхом поставили на реке крючья «на живца». Когда через 3 дня прилетел наш По-2 с продуктами, мы погрузили довольного Юрия Михайловича в самолет и долго вспоминали его неутомимость, поскольку всё остальное время до прилета самолета было посвящено утомительной для него процедуре ознакомления с нашими полевыми материалами и сверке их с окружающей действительностью.

Об этих самых полетах по партиям есть рассказ Юрия Михайловича, привожу его полностью.

«Кролик»

Он же Володя, а на деле – опытный летчик, только любит побаловать в воздухе. Это, конечно, плохо. Но ему веришь, и главное, что все верят. За всё время работы в экспедиции, за три, пожалуй, даже четыре года, не то что ни одной вынужденной посадки, но даже намека на малейшую неисправность!

Тува – край изумительный. Кажется, нигде не найти таких ошеломляющих контрастов. Вплотную сошлись здесь несовместимые ландшафты, несовместимые, естественно, с нашей привычной – равнинной точки зрения. Вот идут леса. Хвойная или с примесью лиственных, тайга. На ее краю всё больше листвы, хвоя отступает. Незаметно, на протяжении многих десятков, а то и сотен километров, тайга сменяется «березовой степью» западной Сибири или лиственными лесами с дубом, а порой и с кленом, как в средней полосе России. И еще долго будет тянуться лесостепь и открытые степные ландшафты с колками на северных склонах или по балкам. Наконец и настоящая степь.

Чтобы увидеть эту гамму, надо проехать от Ярославщины в Донбасс или с Витима до крайнего юга Забайкалья и севера Монголии. Кое-что меняют в этой картине хребты, но перевалишь такой и опять продолжаешь отслеживать медленную смену облика страны.

В пересечениях горных стран зоны сближаются, переходы резче. Но это обычно бывает при смене высот, а по обе стороны хребта вроде всё похоже, различия не слишком резки.

В Туве всё наоборот. В Тоджинской озерной котловине холодная северная тайга с редкими полянами, заболоченными участками. Такая же, как на Саяне и к северу от него. А перевалив хребет (всего 30–40 км, а то и меньше), к югу от Шихшида (Среднего Енисея) лежит типичная среднеазиатская степная котловина с голыми горами, низкой степной сухой травой, сквозь которую даже издали просвечивает земля и камень. И озера в ней солоноватые, не те голубые зеркала с невероятной по вкусу водой, какие были там, на севере, в Тодже.

Также быстро сменялся и животный мир. Сменялся, потому что всего за 10–15 лет носители культуры – геологи, туристы и им подобные – помогли местным жителям так основательно выбить всё, что можно добыть ружьем и спиннингом, что даже серую куропатку, которой было что воробьев, сумели уничтожить (тут уж не геологи поспособствовали, а заготовки из Москвы).

Но даже и такая, омертвелая, хороша Тува! А лет 17 назад она была как кладовая чудес. И в ней-то нам и пришлось поработать с Володей.

У нас в экспедиции был свой кукурузник – По-2. Открытый, удобный для обзора, всюду находящий место для посадки. Самый

что ни на есть геологический самолет. По уговору наземным транспортом ведал начальник экспедиции Долбнин. Самолет был в распоряжении главного геолога, то есть моем. И работы ему было достаточно. Связь с партиями, разбросанными по малодоступным углам, облеты для первого ознакомления с районами, да мало ли что требовалось от наших летчиков каждый день. Редкий день проходил без вылета.

Метеорологи были только в Кызыле. Ни на хребтах, ни в болотах или песках их, конечно, не было, в поселках тоже. И никто не мог сообщить нам погоду. Поэтому летали мы «на взгляд». А на большом аэродроме народ живет по установленным правилам, и далеко не всегда там можно получить разрешение на вылет. Поэтому и кукурузник, и Володя, и бортмеханик базировались у нас на площадке на краю города, рядом с домами экспедиции и подальше от аэродрома. Перевода самолетика на аэродром мы всячески избегали, потому что не смогли бы работать. Казацкая вольница? Конечно же. Но когда позже всё-таки прикрепили самолет к Аэрофлоту, эффективность снизилась во много раз.

– Завтра с утра полетим к Архангельской и назад, ночевать не будем.

Больше ничего добавлять не надо. Не только то, что я везу в партию, будет погружено, «Кролик» достанет и повезет всё, что следует, и даже в голову не придет проверить, пошла ли с нами почта, деликатесы, мелочи, которые просили прислать ребята из партии. И о готовности самолета не спрашиваю – это было бы почти оскорблением.

Есть одно противоречие между геологами и летчиками. Мы люди каменные, нам землю и камень подай, а самолету воздух нужен. И чтобы до земли внизу побольше метров было. Готовый конфликт. Но не с Владимиром, потому что он на войне штурмовиком был. И нет ему большего удовольствия, как пролететь в ущелье – не над ним, а в нем, между скалами, или пройти на бреющем полете по холмистой местности, повторяя ее рельеф, едва не касаясь земли на перевале. Потому что не берет больше вверх машина. Последнее случалось иной раз, когда неожиданно с хребта скатывался нам навстречу холодный воздух, придавливая По-2 к земле. Было и так – нужно было проверить, действительно ли есть выход железной руды на не слишком высокой, но уж очень скалистой вершине, на обрыве ее. Посылать кого-то карабкаться туда зря – не очень хотелось. «Кролик» поднялся и возил меня вдоль самого обрыва столько времени, сколько понадобилось, чтобы просмотреть все обрывы и выяснить, необходимо ли лезть туда. Что-то вроде бреющего полета по вертикальной поверхности.



Бывало, конечно, и трудно. Но не случалось происшествий. Каким-то особым чутьем он знал в своей работе границу допустимого. И верили мы ему абсолютно, и эта вера была оправданной.

На восточной границе Тувы, там, где Шихшид пересекает границу и входит в Туву, есть горячие серные ключи. Когда-то трудными тропами, вьюком проходили туда больные. Правда, этот аршан был менее знаменит, чем более удобно расположенный (на той же границе с Монголией) южный аршан. На тот аршан в давние времена шли лечиться даже из Восточного Китая. В описываемую пору на шихшидском аршане стояли пограничники. Теперь там курорт.

Отделенная от центра Тувы ущельем Шихшида, застава была оторвана от всего мира всё теплое время года. По Шихшиду не пройти ни посуху, ни водой, а кружные тропы – спросите работавших в этом районе наших геологов, как ходить по ним, тогда и поймете, что это такое. Только зимой устанавливалось нормальное сообщение. Единственная поляна, сколько-то пригодная для посадки, была забракована всеми летчиками. Всеми, но не нашим Володей. Мы летали туда с ним. Посадка выглядела примерно так. Пролетев по Шихшиду, сворачиваем в горы (по Шихшиду к самому источнику не подойдешь) и круто ныряем в глубокую и довольно широкую долину. Ветер запел в растяжках крыла, а земля круто задралась по носу и быстро приближается. Потом всё выравнивается, и на высоте деревьев идем над водой горной реки. Справа неожиданно появляется узкая и длинная поляна, точно перпендикулярная реке. Крутой поворот, и только тут сбрасываем скорость и последние десятки метров высоты. Скользим на крыло, Володя выравнивает самолет и сразу ощущаем первые толчки о мелкие кочки поляны. Прибыли.

Иначе тут нельзя, иначе, если идти выше, чтобы удобней было свернуть лесным коридором к поляне, не успеешь снизиться для посадки. И так приходится устраивать всякие скольжения и прочее. И поляна коротка, чтобы садиться вольготно, как полагается.

Володя делал это легко, много раз. Бывало, что отпрашивался слетать на аршан, отвезти что-нибудь экстренное ребятам или вывезти кого-то – полковник просит. Один раз прилетел какой-то их начальник, тоже полковник. Потребовал, чтобы его доставили туда. Улетел и потом ругался: «Не поеду больше. Это же смертельный номер, а не посадка». А Володя добавил: «Ну и не надо. А то он так в борта руками вцепился – я думал фанера не выдержит».

Но при всех этих достоинствах нашего «кролика» у него была одна пагубная страсть – любил похулиганить в воздухе, когда был один. А иной раз и с кем-нибудь из нас. Бывало такое, например. Позвали его на тувинский праздник в степь, показать, что самолет может делать.

Отправился, подлетает. На земле черно от народа, головы задрали, на него смотрят. Кони привязаны к коновязям в стороне – все ведь верхом приехали. Владимир покрутился в воздухе. Что именно показывал, – не знаю. Потом набрал высоту и перешел в пике, прямо на коновязь.

Радостные крики внизу – вот здорово, дескать. У самой земли над коновязью проносится самолет. Кони вскинулись, порвали привязи и – в степь. А Владимир помахал крыльями и улетел. Коней потом дня три по степи собирали. Конечно, был скандал, вызывали его куда следует. Только разве такого исправишь.

Еще раз он пикировал на рынок в Абакане, всех теток с рынка разогнал. За это он поплатился талонами.

А было и так. Возвращались мы с ним из большого облета и шли на бреющем полете над Кызыльской котловиной. Пронеслись над озерами, посмотрели, где гуси живут, уток попугали. Уже невдалеке от Кызыла он снизился еще и стал ходить челноком над какими-то огородами, над стадами скота. Коровы не бежали, встали, растопырив ноги, и рты разевают – орут, только нам не слышно. А пастух от ужаса под одну из них залез и руками за бока держится, спрятался. Полетал Владимир туда-сюда над огородами, немного поднялся и домой. Когда приземлился, спрашиваю:

– Что, потерял там что-то?

А он:

– Да нет, не терял. Жене обещал арбуз с баштана привезти. Только ничего хорошего не высмотрел.

И смеется.

Однажды над Тоджей увидели мы с ним под самолетом стайку журавлей. Володя пошел на них, в руках тозовка, рычаг между коленями. Перехватывая журавлей делал такие эволюции, что я не знаю, как их назвать. Стрелял. Не попал. Взмыл и полетел, куда надо было, только винтовку мне отдал.

Как-то гоняли мы с ним изюбря. Еле уговорил прекратить, уж очень напугали зверя, бока у него, как меха вздувались.

Словом, хулиганил. И отучить его ничем нельзя было, ни наказанием, ни добрым словом. И в то же время в труднейших условиях он четко поддерживал связь со всеми нашими геологами. Этого со счетов не сбросишь. И парень хороший. Поэтому относились мы к нему двояко. Любили и считали летчиком, лучше которого не найти для наших условий, но как-то не могли относиться по-серьезному. Легкий парень и ветерком подбит малость.

Уже позже рассказал он как-то, когда летали с ним далеко, как попал из штурмовиков к нам, в гражданскую авиацию, да еще вто-

росортную. Был дважды сбит на фронте. Первый раз, оглушенный, как-то дотянул до земли. Вылечился и снова летал. И вновь, тоже, когда возвращался с задания, накрыли из зениток. Очнулся в плену. Как-то поправился. Лагерь – в Альпах. Побег. Поймали. Лагерь в Германии. Побег. Дахау. Освободили американцы. После, уже дома, списали за плен с военной службы, хорошо еще, что без последствий. Вот и работал у нас в экспедиции.

Стал он, после этого, другой для меня. Хулиган, но молодец в работе. Только не легковесен – два побега, пытки, Дахау, и такой легкий человек! Мне говорили, что через пару лет перевели его на землю, дали какой-то аэродром в Казахстане. Спасали, чтобы не разбился ненароком.

Глава 11

1949 ГОД И ТАК ДАЛЕЕ

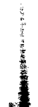
Казалось бы, жизнь налаживается. После блестящей защиты докторской диссертации (зал приветствовал стоя: такого не бывало, чтобы бывший з/к, пусть расконвоированный, пусть уж и амнистированный, – вернулся не только с парой найденных месторождений, но и с открытием совершенно новой геологической провинции и с готовой докторской).

Защита давала возможность вернуться к научной работе. Месторождения месторождениями, но всё-таки он теоретик. Что из того, что в научные учреждения попасть не удалось, хотя звание старшего научного сотрудника он имел еще до ареста. Тувинская экспедиция, главным геологом которой он был назначен в мае 1948 года, давала такой простор деятельности, так нужен был этот регион, находящийся между двумя «его» районами, для широких обобщений.

Главный геолог Тувинской экспедиции ЦАГЭ доктор наук Юрий Михайлович Шейнманн работает увлеченно и с восторгом следует за ним геологическая молодь – состав экспедиции очень молодой, едва ли кому-нибудь из начальников партий и отрядов перевалило за тридцать. Всё хорошо?

Но в воздухе тревога. Уже начались отдельные, пока еще не очень заметные, аресты и ссылки «повторников», отбывших срок и вернувшихся. И вовсю идет борьба с «низкопоклонством перед гнилым Западом». Громятся статьи и книги, даже учебники, где в качестве иллюстраций приводятся описания и фотографии зарубежных геологических объектов, например Альпы, или знаменитый каньон Колорадо, или месторождения Южной Африки Уничтожающей критике подвергнута «Геоморфология» профессора Эдельштейна – в Министерстве состоялся «суд чести» по поводу этой книги.

Профессор Крейтер, автор классического труда по разведке недр, учебника, по которому учились несколько поколений геологов, оправдывается на лекциях, что он приводил примеры разведки зарубежных месторождений. Не помогло!



Борются с иностранной терминологией. Кто-то, кажется профессор В. А. Варсонофьева, на совещании у министра геологии по этому поводу заметила товарищу министру, что и министр и геология – слова нерусские. Не знаю достоверно, но она – могла.

А я помню, как на выходе из здания МГРИ (я тогда была дипломницей, на 6-м курсе), нас с профессором М. В. Муратовым догнал профессор Е. В. Шанцер и сказал:

– Миша, знаешь, брахискладчатость отменили, как нерусский термин.

– А как же теперь?

– Брахиантиклиналь – пуп, брахисинклиналь – перепуп, а все вместе – зона опупения.

Но шутки шутками, а было очень тревожно.

И вот, весной 1949 года, в один день – 31 марта, были арестованы: в Москве – директор академического Геологического института академик Иосиф Федорович Григорьев; член-корреспондент АН СССР, ученый с мировым именем Александр Григорьевич Вологдин; мой отец, доктор геолого-минералогических наук Юрий Михайлович Шейнманн; в Ленинграде – заслуженный деятель науки профессор Яков Самойлович Эдельштейн; в Томске – доктор геолого-минералогических наук профессор и декан геологического факультета Томского университета Иван Кузьмич Баженов; ассистент кафедры, кандидат наук Вела Даниловна Томашпольская.

Только потом стало известно, что накануне, 30 марта, было заседание Политбюро ЦК ВКП(б), на котором присутствовали корреспондент «Правды» по Красноярскому краю Анастасия Шестакова и главный редактор этой газеты П. Н. Поспелов. Шестакова уже два года заваливала сначала Министерство геологии, а потом и ЦК, и «лично товарища Сталина» доносами на геологов, которые умышленно скрывают месторождения урана, которые, конечно, есть в Красноярском крае – она сама видела рудный образец в музее. И вообще вредят. Как выяснил впоследствии журналист и писатель Олесь Грек, ей помогал полусумасшедший старатель, пенсионер, руководитель поисковой артели, бывший техник-геолог Прохоров. Он тоже строчил доносы. Волна покатилась. Началось «дело геологов» – генеральная репетиция «дела врачей». (Интересно, что и здесь и там – главный доносчик – женщина! Что-то совсем новое «шерше ля фам!») А так – сходство полное. Кроме, разве что, антисемитизма – к геологам его пришить трудно! Здесь всё то же: арестовывают видных ученых – мелкая сошка им не нужна. Аресты идут сразу, одновременно в нескольких городах. Через нескольких дней были арестованы, кроме

вышеупомянутых: в Москве – профессор В. М. Крейтер, референт министра геологии М. И. Гуревич, сотрудник министерства Меерсон; в Ленинграде – профессор М. М. Тетяев, профессор В. К. Котульский, доктора наук Б. К. Лихарев и В. Н. Верещагин, кандидат геолого-минералогических наук В. Н. Домниковский; в Томске – профессор Б. Ф. Сперанский, профессор В. А. Хахлов, профессор Ф. Н. Шахов, профессор А. Я. Булынников; в Иркутске – Л. И. Шаманский; академик Казахской АН М. П. Русаков, почти всё руководство Красноярского геологического управления. Самолетами и поездами всех свозили на Лубянку. Об этом деле есть много публикаций, начиная с большой статьи Н. Ю. Годлевской и И. В. Крейтер в книге «Репрессированная наука» (вып. 2. СПб., 1994), статьи В. И. Смирнова, В. Ивания и др. Новый материал дала работа минусинского журналиста Олеся Грека, значительный фрагмент которой был напечатан в газете «30 октября» в 2004 году. Крейтер сообщает, что по этому делу осуждены 27 человек, но в статье его дочери и Н. Ю. Годлевской поименно назван только 21 человек – остальных они не нашли. В обширной и достаточно подробной статье Л. П. Белякова в 3-м издании книги «Репрессированные геологи» приводится большее число, в которое справедливо включены все, проходившие по этому делу, в том числе химики, сотрудники бюро изобретений и еще несколько красноярских рядовых геологов. Всего я насчитала 38, из них 27 – видные геологи.

Впечатляюще: 5 академиков и членов-корреспондентов, 16 профессоров и докторов наук, 4 или 5 кандидатов. Неслабо почистили геологию товарищи журналисты! А потом последовала «чистка» главного института Мингео – ВСЕГЕИ и самого министерства, изъятие книг, включая учебники. Л. П. Беляков приводит приказ по министерству, в котором написано, что ВСЕГЕИ – засорен старыми, враждебно настроенными к советской власти специалистами, что там слишком много докторов и кандидатов, а нет молодежи и очень мало партийцев. Защищают диссертации в основном беспартийные, из 16 докторских только 4 члена партии. Нет отдела кадров, плохо с секретностью и т. д. В итоге было отчислено, в осуществление решения о перестройке института, 46 беспартийных старших научных сотрудников. Засекречивается всё возможное и невозможное, даже сведения о заграничных месторождениях. Был составлен список геологической литературы, подлежащей изъятию, из 259 названий, причем в него входили не только опубликованные и подготовленные к печати труды репрессированных геологов, но и редактируемые ими книги, справочники, словари.

Но и сами начальники не избежали репрессий: были сняты со своих постов и министр геологии и директор ВСЕГЕИ.

Но я не могу писать обо всем, я пишу то, что я знаю непосредственно и от товарищей отца. Вот самоубийство доцента МГРИ Н. В. Барышникова, в ожидании неминуемого ареста, тоже следовало бы отнести к «делу геологов». Последовавший за этим разгром Министерства опишут без меня. Я знаю только, что я знаю. Волна прокатилась по всей стране.

Отца взяли ночью, как полагается. Паники не было, для меня это был уже четвертый арест. Но был тихий холодный ужас. У нас в комнате обыска не было: считалось, что мы с сестрой и бабушкой (маминой мамой) живем отдельно. По сути оно так и было.

Наутро я пришла на работу. Но от меня не шарахались, наши геологи не такие. Все были очень предупредительны. Кто был очень испуган и подавлен, это Дина Самойловна Крейтер – мы жили рядом и я к ней сразу подошла, когда взяли Владимира Михайловича, что ее даже немножко удивило. Жен на этот раз не трогали, но Дину Самойловну, доцента, «только» отстранили от преподавания, а потом и выгнали с работы. И всех подряд лишали допуска. Я его получила лишь через несколько лет после полной реабилитации отца. И мое московское распределение аннулировали – отправили в Туву, на углеразведку.

Арестованных отовсюду свезли на Лубянку. Держали в одиночных камерах. Ирина Владимировна Крейтер рассказывает, что ее отец, чтобы не сойти с ума в одиночке, регулярно делал зарядку и учил наизусть Пушкина, томик которого ему разрешили выдать.



А стихи *Владимир Михайлович Крейтер* любил и читал их замечательно! Мы жили рядом, они непосредственно над нами, и в теплые субботние вечера из раскрытых окон слышалась «Песня про купца Калашникова», «Мцыри», иногда Маяковский. Шутили люди, что по тому, что читает Владимир Михайлович, можно установить степень опьянения. А совсем недавно, из записок А. А. Кременецкого (сборник «Геология жизнь моя», выпуск 6) я узнала, что Крейтера-чтеца своеобразно оценили даже уголовники, сидевшие с ним в одной камере. Они постоянно просили: «Эй, профессор, прочти нам еще что-нибудь!» и в камере и на прогулках, а когда его переводили в другую тюрьму (или в лагерь?), пахан их, во время прогулки, потребовал встать на одно колено и, положив руку ему на плечо, объявил, что он отныне и вовеки «профессор в законе» и его никто пальцем не тронет. Родные

говорят, что заслуженный деятель науки профессор Крейтер гордился этим званием.

Как велось следствие, отец никогда не рассказывал, но методы ГУЛАГа теперь известны всем. И, судя по полученным срокам, по тому, что почти все подписали обвинение – они были не лучше предыдущего этапа. По свидетельству осужденного по этому делу академика АН КазССР М. П. Русакова, «потрясение от этого сверхстрогого режима, от унизительных процедур, от хронической бессонницы... от допросов с применением пыток, от бесконечной оскорбительной площадной ругани, от катастрофического истощения... а также упадок сил достигли такой степени, что все показания я стал писать под диктовку следователей... А после вызова некоего «специалиста по физкультуре» я согласился подписывать любые протоколы и подписывал их не читая, наперед зная, что в них искажено всё от начала до конца...»

Известно, что следователи требовали доносов на арестованных от их сослуживцев. И в большинстве своем получали требуемое. Но теперь стали известны и другие факты. В. А. Ярмолюк, будущий заместитель министра геологии, бывший тогда геологом в Хабаровском геологическом управлении, вспоминает, как

> зимой 1949–50 года начальник Госгеолтехнадзора Никифоров и еще двое геологов были вызваны в управление Госбезопасности Дальневосточного края, где им предложили дать показания на врага народа профессора Русакова, который бывал на Дальнем Востоке как куратор-консультант. Русаков, мол, уже во всем сознался и сейчас ищут его сообщников. Дали 5 дней на составление письменного заключения о результатах его вредительства. «Нас хотят сделать стукачами, – сказал Никифоров, – я сочинять напраслину не буду». Двое других, Леонтович и Ярмолюк, его поддержали. Через 5 дней они принесли заключение, что Русаков с энергией энтузиаста настаивал на необходимости широкого разворота геологических работ и его прогнозы блестяще подтвердились. Офицер МГБ бросил их записку на край стола Никифорову:
>
> – Заберите свою контру! И чтоб завтра был новый документ, по-партийному обличающий.
>
> Геологи отказались. Последовали угрозы увольнения, обвинения в саботаже, аргументы, что «казахи уже разобрались и пишут».
>
> – Да мало ли что казах наговорит на русского, – заметил Никифоров. Офицер стал кричать и обвинил Никифорова в великорусском шовинизме.

> – А ты на меня не кричи, – возвысил голос Никифоров. – Это ты можешь быть русским шовинистом, а я, понимаешь ли, чуваш! И не буду писать донос на честного человека.
>
> Воцарилось долгое молчание. Потом офицер сменил тон и сказал, что это он их проверял и что может быть они спасли человека.

Но смелый поступок геологов не спас Русакова.

Следствие продолжалось долго. Только через полтора года, 28 октября 1950 года, прозвучал приговор ОСО МГБ. За неправильную оценку и сокрытие месторождений все обвиняемые получили от 15 до 25 лет. Учитывая возраст большинства участников «дела», на волю им бы не выйти: самым молодым, Богацкому и Верещагину было по 40 лет, Григорьеву, Баженову и Русакову – около 60, Тетяеву – 68, Котульскому – 71.

Шестеро не выжили: академик Григорьев умер в тюрьме после допроса еще в мае 1949 года, Л. И. Шаманский – в январе 1950 года, В. К. Котульский – в Красноярске во время этапа в Норильск, Коган – когда шел в строю на работу (застрелен?).

Старенький, хрупкий на вид Яков Самойлович Эдельштейн умер в тюремной больнице уже после получения приговора, в 1952 году. Ему был 81 год, и он получил срок 25 лет! Поневоле тут вспомнишь мамину солагерницу, старую семидесятилетнюю крестьянку, которая, после того как ей объявили 25-летний срок, поклонилась в пояс судьям и сказала: «Спасибо, сыночки, сколько проживу – отсижу, остальное вам останется», – и судьи сменили ей срок на 10-летний. – «Испугались, что им много останется», – шутили заключенные.

У отца был срок 15 лет, без конфискации имущества. А что можно конфисковать у бывшего лагерника, полевого геолога? Спальный мешок? Рюкзак? У Крейтеров тоже конфисковать было нечего – соседи говорили, что конфискаторы возмущались: он – профессор, жена – доцент, а ни золота, ни хрусталя, ни дорогих ковров! Спрятали, наверное!

Заключенных этапировали на Колыму, в Норильск, в Енисейстрой.

Папа оказался в числе 10 геологов, отправленных на Колыму, в Дальстрой.

Отмечу один эпизод времени следствия, представляющийся мне очень важным и характерным. Отец об этом мне не рассказывал, но в воспоминаниях его позднейшего сослуживца, доктора геолого-минералогических наук Ефима Михайловича Эпштейна есть такой эпизод:

> «Мы часто встречались с Ю.М. на различных докладах и совещаниях... Однажды мы сидели рядом на каком-то докладе. Ю.М. передал мне тоненькую красную папку... «Заберите, пожалуйста, а дома посмотрите и сохраните». Дома обнаружилось, что в папке лежат 30–40 листков папиросной бумаги с машинописным текстом. <...> У меня эта папка долго хранилась спрятанной дома – в то время это было нужно. Где-то в начале 70-х Юрий Михайлович попросил меня вернуть эту папку. Естественно, я прочитал этот текст много раз, поэтому многое помню почти наизусть. Думаю, что изложение некоторых из этих рассказов будет интересно, так как воспоминаний о его заключении не сохранилось».

Далее Е. М. Эпштейн приводит рассказ от первого лица, а потом в своем пересказе.

> «Когда меня арестовали второй раз, я сидел в одиночной камере. Это было очень тяжело, я боялся сойти с ума от безделья и одиночества. Я решил делать себе доклады. Первый такой доклад был по сравнительной характеристике Африканской и Сибирской платформ. Хотелось показать черты сходства и различия Африканской и Сибирской платформ, с тем, чтобы прояснить вопрос о структурном и географическом положении алмазоносных кимберлитов, которые должны были быть и на Сибирской платформе, и которые там были впоследствии открыты».

Е. М. Эпштейн продолжает от своего лица:

> «Итак, одиночка. Юрий Михайлович сопоставляет в уме карты Сибирской и Африканской платформ. Конечно, в натуре никаких карт нет. Юрий Михайлович читает себе доклад на русском языке, потом переводит этот доклад на английский и читает его на английском. Потом на французский, потом на немецкий. Он владел всеми этими языками. Это был способ не сойти с ума. Но есть еще одно обстоятельство. Сейчас написано много работ об истории открытия алмазов на Сибирской платформе. Но я не видел нигде ссылок на Юрия Михайловича, хотя для этого есть все основания, причем не только словесные доказательства. Статья Ю. М. Шейнманна (рукописная, хранящаяся в магаданских фондах) «Где следует искать кимберлиты в пределах СССР» датирована 1951 и 1953 годом. Там изложены соображения автора о расположении предполагаемых и никем еще не найденных кимберлитов

на территории нашей страны. Напомню, что в 1951 году в районе Гулинской интрузии нам удалось найти несколько алмазов, но дальнейшие поиски не дали результатов. Кимберлитовая трубка была открыта в 1953–54 годах ленинградскими геологами, то есть значительно позже того, как писал об этом Юрий Михайлович. Поля кимберлитов и их положение не были выяснены».

Об этой же статье пишет доктор геолого-минералогических наук Михаил Львович Гельман, работающий в Магадане. В 1953–1954 годах, молодым специалистом, он работал в Магадане в одной лаборатории с Юрием Михайловичем. Он написал об этом периоде большую статью в сборнике памяти Ю. М. Цитирую его запись:

«Кроме записки, посвященной возможным перспективам никелевой минерализации, среди того, что Ю. М. Шейнманн в 1954 году оставил в магаданском геологическом фонде, есть и еще одна, прогнозного характера «Где искать кимберлиты в пределах СССР». Ее сюжет чисто норильского происхождения. «Алмаз типичный платформолюб» – констатируется в самом начале записки, и никакие материалы по Северо-Востоку в ней, естественно, не затронуты. В конце записки две даты: апрель 1951, февраль 1953 г. Вероятно она начата была сразу, как только Ю. М. оказался по прибытии в Магадан в более или менее благоприятной обстановке (ВНИИ-1), а закончена на Чукотке при проведении камеральных работ после исследования Северного гранитного массива близ пос. Певек (см. ниже). Ю. М. пишет, что, может быть, он «отстал от жизни», и успехи в поисках алмаза уже есть, но он о них не знает и полагает «*своевременным изложить некоторые соображения о направлении поисков*», подчеркивая, что речь идет лишь об одном из возможных но кажущемся обещающим пути. В действительности в 1948 году на притоках Н. Тунгуски и в 1949 на р. Вилюе, в тех местах, о которых Ю. М. пишет с некоторой осторожностью, были найдены первые в Сибири алмазы, а в 1950–51 годах в среднем течении р. Марха были обнаружены его россыпи. Находки держались в секрете и, будучи в лагере, Ю. М., конечно, ничего о них не знал.

Примечательно, что Ю. М. Шейнманн говорит именно о кимберлитах, то есть ориентирует не столько на поиск россыпей с возможным выходом через них к коренным месторождениям, сколько на выявление районов, где могли

> бы быть сосредоточены алмазоносные трубки. До 1954 года этот вопрос так отчетливо не ставился. В своей записке Ю. М. Шейнманн на основе всё той же глобальной закономерности… проанализировал на примерах Африки и Индостана геологические условия проявления ультраосновного магматизма и, в частности, кимберлитовых «пробоев». <…> Полученная картина спроецирована на геологическую ситуацию Русской и Сибирской платформ».

По-видимому, эта записка и есть тот доклад, что он делал себе в одиночной камере. И записал при первой возможности писать. Показательно, что намеченные им регионы нахождения кимберлитовых трубок полностью подтвердились

Но вернемся к этапированию на Колыму. Когда и как – я не знаю, я была в это время в Кызыле, куда меня перераспределили из Аэрогеологии без моего согласия. А поехать пришлось: на моем иждивении были бабушка и младшая сестра; не работать, добиваясь восстановления распределения, нельзя было. Приговор ОСО был 28 октября 1950 года. Сестра говорила, что было от него письмо из Хабаровска. И она сама ему туда писала. Значит какое-то, весьма недолгое, время он был на общих работах. Но уже в марте 1951 года было письмо из Магадана, из поселка Дебин, где был расположен ВНИИ-1. И в письме говорилось о более раннем, посланном оттуда же в конце февраля.

Кандидат геолого-минералогических наук, вольная, работавшая в Магадане и встречавшаяся там с Ю. М., Лидия Николаевна Пляшкевич говорит о том, что в отношении к заключенным геологам

> «сказывался некоторый либерализм начальника Геологоразведочного управления генерала В. А. Цареградского, человека весьма незаурядного, умного руководителя, ценившего в людях знания и интеллигентность. Он как бы задавал тон, положительно влияя на всю атмосферу жизни геологов Северо-Востока. Правда, среди его окружения имелись серьезные противники его покровительства некоторым бывшим зека».

О том же говорит в своих воспоминаниях Андрей Васильевич Ильин, видимо так он запомнил рассказ Ю. М.:

> «Стихией Ю. М. Шейнманна была геология. И в далекой Колыме, оторванный от всей прежней жизни, от общества и цивилизации, он оказался, тем не менее, в родной стихии. Это и спасло ему жизнь. Заключенных, которых в Магадан доставляли баржами и судами, встречал сам

Цареградский – «царь Дальстроя» – в том случае, если среди них были нужные специалисты, в частности геологи. Цареградский особенно ценил своих земляков – ленинградских геологов. Им была дана возможность исполнять работу, которая была нужна Дальстрою и была интересна самим заключенным».

Ох, не думаю я, что они встречались! Не слишком приятно было бы глядеть в глаза бывшему однокашнику и товарищу по «Сибирскому кружку» Юре Шейнманну важному всевластному генералу Валентину Цареградскому! А он, видимо, был человек порядочный.



Евгений Константинович Устиев, крупный ученый, бывший з/к, давно уж работавший на Колыме по вольному найму, очень хорошо о нём пишет в своей книге «У истоков золотой реки» (М., 1972). Ведь именно Цареградский, вкупе со своим начальником и другом, будущим академиком Ю. А. Билибиным, был первооткрывателем золота на Колыме. Билибин впоследствии ушел в науку, создал учение о россыпях, а Цареградский провел еще три экспедиции, остался на разведке и потом стал главным геологом Дальстроя. Именно он создал «Золотую Колыму». И, наверное, он не раз задумывался о пользе и вреде своего открытия для науки и для человечества.

Вот бывшая узница колымских лагерей О. Л. Адамова-Слиозберг пишет*, что однажды в колымском лагере, когда заключенных гнали на покос, она после перекуса, перемывая с песком посуду, случайно обнаружила на дне миски несколько крупнок золота, закричала об этом, а опытный мужик-возчик, взяв миску, выплеснул песок со словами: «Какое еще золото? Обманка это!» Все успокоились, а возчик потом, наедине, сказал ей: «Дура ты! Образованная, а дура. Нагонят сюда людей, будут копать. Один сезон человек на золоте может прожить, не больше. Может и твой мужик давно в шурфе лежит. Ну, как же ты не дура!» – «Так это было золото?» – «Конечно, что же еще!»

* Адамова-Слиозберг О. Л. Путь. М.: Возвращение, 2009.

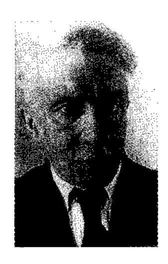
Так с точки зрения простого работяги. А для государства – польза великая, неоценимая.



Валентин Александрович Цареградский с самого начала своей деятельности в качестве главы геологической службы Дальстроя, еще задолго до «дела геологов» стремился вызволить геологические кадры и использовать их по специальности (над другими он был не властен, а здесь можно обосновать нуждами производства). Живой пример – судьба Е. К. Устиева и его учителя профессора Болдырева. Ученый с мировым именем, автор 6 книг, по которым училось не одно поколение геологов, профессор и декан геологического факультета старейшего в стране Горного института. Во времена Первой Колымской экспедиции он был деканом и ускорил защиту диплома зачисленного в эту экспедицию студента-выпускника Валентина Цареградского. А в 1938 году был арестован и отправлен в лагеря на Колыму. Срок – 5 лет. (Значит ничего не подписал и обвинений серьезных не было.) В сентябре 1939 года прибыл на Колыму и был отправлен на земляные работы, на рытье котлована, как и его ученик (но не одноделец) петролог Устиев. В 1940 году В. А. Цареградский, глава Дальстроевской геологии, выудил их оттуда. Заключенные стали работать инженерами геологического отдела, потом научно-исследовательского геологического института. И продолжали там работать освободившись. Профессор Анатолий Капитонович Болдырев был консультантом. Трагически погиб весной 1946 года – машина, на которой он ехал в пос. Олу, провалилась под лед. Шофер утонул. А профессор выбрался на берег, но не смог добраться до жилья – замерз. Это было за 4 года до прибытия «красноярцев». И воспоминания об этом были еще очень свежи.

Хочется добавить к рассказу о заключенном-профессоре один анекдотический случай, который мне рассказали. Боюсь только, что в тройном пересказе он многое утратит: в конце сороковых годов в Дальстрое стали появляться молодые специалисты. Одному из таких вновь прибывших специалистов предложили ознакомиться с рудником. Парень свысока смотрел на сопровождающих и с характерной фанаберией недоучек сыпал терминами и названиями редких минералов.

– Вы ошибаетесь, молодой человек, это не тот минерал, – сказал старичок в ватнике.



Анатолий Капитонович Болдырев

– А ты откуда знаешь, кто ты такой!

– Я профессор Болдырев, по моим учебникам вы, вероятно, учились.

Немая сцена из «Ревизора».

А Устиев, истощенный на общих работах, попал в санчасть, встретил там больного отца, арестованного в 1937 году, который умер у него на руках. С сентября 1940 года переведен в Магадан, был инженером-геологом геологического управления Дальстроя, весной 1942 года освобожден без права выезда с Колымы. На Колыму он попад уже вполне сложившимся ученым-петрологом, учеником и последователем академиков Левинсона-Лессинга и Белянкина. В Магадане он продолжил исследования магматических образований Северо-Востока, начатые еще Ю. А. Билибиным, и создал, собственно говоря, школу молодых петрографов и геологов Северо-Востока. Много работал в поле. В то время когда он встретился с «красноярцами», он только недавно вернулся из экспедиции в бассейн верховьев р. Анюя, к недавно потухшему вулкану, обнаруженному на аэрофотоснимке, из мест, где не ступала нога человека. Об этом путешествии он написал впоследствии замечательную книгу. Он же сам говорил, что талантливый человек талантлив везде!

А с моим отцом у них было много общего не только в геологических пристрастиях и интересах.

В. А. Цареградский и, впоследствии, Н. А. Шило и С. Ф. Лугов, руководивший поисками урана, безусловно, понимали, что дело геологов дутое, абсурдное и стремились использовать их по специальности, по крайней мере для текущей геологической работы. В 1950 году на Колыму, в Дальстрой, были направлены: декан геологического факультета Томского университета профессор И. К. Баженов, доктор физико-математических наук В. В. Богацкий, член-корреспондент АН СССР, палеонтолог с мировым именем А. Г. Вологдин, доктор геолого-минералогических наук В. Н. Верещагин, бывшие главный геолог и главный инженер Красноярского управления А. А. Предтеченский и Н. Ф. Рябоконь, геологи-начальники партий того же управления Г. М. Скуратов и К. Ф. Филатов, профессор Томского университета, автор работ по магматогенному рудообразованию минералог Ф. Н. Шахов и мой отец, тоже доктор наук Ю. М. Шейнманн.

Весной 1951 года получила я письмо:

Магадан 30 марта 1951 г.

Милые мои девочки,

Вот уж два года, как не вижу Вас и кажется, что ушло гораздо больше времени.

Здесь, глядя на острые вершины, еще покрытые нетронутым снегом, и на широкую долину, или греясь на солнце – его у нас сколько угодно, – с трудом могу представить себе Москву, толчею на улицах и запах бензина. И трудно сообразить, что и как вы делаете там. Галя два года инженер, Ладка кончает через год. И трудно всё это так вот, реально, видеть. Очень жду писем и надеюсь, что к маю придут, я первое отправил в последних числах февраля, а идут они отсюда месяц. И, по правде, очень беспокоюсь за вас всех там. Скорее бы знать, что и как у вас.

Вы не обижайтесь, что обеим вместе пишу, пока у меня еще туго с бумагой, приходится экономить.

Работаю здесь помаленьку. И знаешь чем, Галка, для отдыха занимался? Попался мне в руки Белоусовский курс, только теперь его прочесть смог. И занялся критикой его. Жаль, что нельзя ему самому послать. Я, может, и устарел, но никак не могу принять его фокусов, многих во всяком случае. Как эта книга принята? Много ли критики? Я еще не видал журналов за эти два года и поэтому ничего не знаю.

Где ты сейчас? Лада писала в Хабаровск, что ты два года не была дома. А теперь где? О чем думаешь? Как и чем живешь, кроме своей геологии Я ведь всего жду от вас обеих. Вплоть до фотографий. И от тебя, Ладушка, жду. Если через месяц не будет от вас писем, начну всерьез беспокоиться. Знаю, что и вы меня потеряли, но надеюсь, что первое письмо либо дошло, либо дойдет на днях... Сообщите, что слышно о маме? Жива ли бабушка? Если жива – привет ей. Что делают Сергей с Ханой и Борисом?

А обо мне что сказать? Нового пока ничего. Живем в своей квартире, работаем, читаем, едим, играем во дворе в городки. И смотрим на Колыму и горы. Морозов нет. Солнышко греет. Через месяц должна почувствоваться весна. Ждем ее и с нею письма. Так пишите, родные. Письмо складываю в один конверт с письмом Мяк и оба за одним №

Крепко целую вас и жду вестей.

Папа

Вот так. Первого письма я не получала. Из письма ясно, что живут и работают в зоне, но в сносных условиях. Переписка видимо, ограничена. А курс геотектоники для отдыха? – Так ведь это ж мои родители! Мама «для отдыха» философию Владимира Соловьева читала.

Упоминаемые в письме Сергей с Ханой и Борей – младший брат отца, Сергей Михайлович Шейнманн, геофизик, его жена и сын. Дядя Сережа был арестован у себя дома, в Быкове, в ноябре 1949 года. Осужден на 10 лет. В это время работал как математик в подмосковной «шарашке», в 1952 году был этапирован в Воркуту. Отец об этом ничего не знал.

Письма приходили раз в месяц. Редко чаще, и то главным образом его жене, Ирине Павловне. Я, в одном из писем, высказала желание поехать туда, к ним. Он ответил, что Нина Павловна, жена В. В. Богацкого, его друга и «подельника», попыталась приехать, но им так и не разрешили находиться в одном поселке. А потом я узнала, что жену и детей Верещагина, также одного из фигурантов «красноярского дела», не пустили дальше Зырянки, она там и жила с детьми.

Отношение к ним, зекам, в НИИ было двояким: с одной стороны, начальство явно понимало, что дело дутое и надо использовать в деле лиц столь высокой квалификации, с другой стороны,всеобщая осторожность и поиски шпионов и вредителей во всем были тогда явлением общераспространенным.

Л. Н. Пляшкевич в своих воспоминаниях о магаданском периоде жизни Ю.М. и других «красноярцев» пишет:

> «До прихода (перевода?) к нам в лабораторию они должны были работать или работали некоторое время в институте ВНИИ-1, здесь же, в Магадане. Как мне рассказывали, работников института предупреждали, в частности их кадровик, некая Гоглидзе, что рядом с ними будут трудиться отбывающие наказание преступники, хотя и крупные специалисты, и что надо всемерно использовать их знания, не забывая при этом, что они враги народа, и соответственно к ним относиться».

Так и шла работа в НИИ. Приведу еще одно письмо 1951 года. Писем 1952 года у меня не сохранилось. Вероятно, их и не было – это было время пребывания на Чукотке. М. б. и были отдельные весточки у его жены, у Ирины Павловны, но она сожгла весь личный архив после его смерти.

5 июня 1951 г.

Галюша, милая!

Наконец может наладиться переписка. Живу здесь, работаю в Научно-исследовательском институте. Пока скучновато. Посмотрим, что дальше будет. За время 4-месячного «отдыха» кое-что почитал, даже написал. Наконец получил возможность прочесть Белоусовскую книжку. Не удержался и разразился рецензией листа на четыре.

Написал еще три статейки. Сейчас жду, когда прибудут сюда рукописи. Теперь перехожу на новый для меня район. Уже кое-что намечается. Но пока еще мало знаю. Несколько тем уже намечаются. Посмотрим, удастся ли осуществить их.

Что делаешь ты? Как живешь, работаешь, чем живешь?

Ведь эдакая-то большая дочь, вроде и не взаправду. Очень жалею, что не пришлось поехать вместе в Туву. Так и не пощупал, что из тебя выросло. Чем ты занимаешься?

Появилось ли свое в работе, за которым стоит далеко бегать? Как прожила эти годы, какие люди около? Словом жду многого в твоих письмах. Конечно, если будешь писать на ящик №, то сообразуйся с этим...

У меня что-то очень много вопросов, а сам почти не пишу. Но многое уже написал и ты знаешь об этом. А другого нового нет. Много думал, многое по-новому воспринял в жизни. Времени на это у меня хватило, но сейчас не хочется говорить об этом обо всем. Сейчас как отдых после болезни. Надо дать время нутру снова обрасти мясом, ведь весь свой мозг продумал и прочувствовал за эти годы. Думаю, что через несколько месяцев, если буду на этой работе, снова обрасту и начну думать о новом. Но надо маленько подождать.

Хотелось бы рассказать о том, что сформировалось хотя бы в геологических мыслях. Додумалось о платформенном вулканизме и стало понятно, почему он так интересовал – ясны два типа генетически разных магм: магмы плавления (ультраосновная и базальтовая) и магмы сложного происхождения (переход тектонической энергии пропитывание летучими, вероятно и плавление) – средние и кислые. И дальше их особенности. Думается и о том, что платформа не отрицание геосинклинального процесса, мертвая тектонически область, а столь же своеобразная категория, как и геосинклиналь, и живет по особым своим законам. Некоторые процессы – ее специальность и ослаблены в геосинклинали (например магмы плавления), другие – наоборот. Додумал и о переходных образованиях между геосинклиналью и платформой. Кажется их два ряда: первый является линией отмирающей геосинклинали. Она переходит в область завершенной складчатости. Та от цикла к циклу теряет постепенно активность и, наконец, делается платформой. Для последней характерны не только ослабленные движения, но и то, что древние структуры практически не обуславливают форму новых (Московская синеклиза, бассейн Конго и т. д.), а в завершенной складчатости именно эти структуры определяют линии новых (Центр. Азия, Прибайкалье, Аппалачи).

Другая линия – слабее выраженная – оживание частей платформ и областей завершенной складчатости. Появление геосинклинале-

подобных образований, а м.б. и настоящих геосинклиналей. Это ряд (морфологический) от Вилюйской синеклизы к Мангышлаку, Вичите, Донбассу, Иеншаню, Пиринеям. Он незаметно сливается с настоящими геосинклиналями. В этих цикл развивается правильно, но неполно (нет интрузий в Донбассе, нет морских накоплений в Иеншане, слабые движения без вулканизма в Вичите и т. д.) Наоборот, в завершенной складчатости, не только неполно, но цикла попросту нет. Там отдельные жизнепроявления геосинклинали сохраняются на ее трупе. Они не связаны четко друг с другом. Идет полный распад цикла. Хватит, Галка. Эдак не письмо, а трактат получится. Еще об океанах фантазии всякие есть. Может быть и оформлю их когда-либо. А теперь кончу. Пиши, девочка, да побольше.

Крепко целую. Папа.

Такой вот трактат. Это краткие тезисы, а рецензия на книгу Белоусова, по сути, в большей своей части не рецензия, а более полное изложение своей теории – пусть, мол, сохранится хоть это, еще неизвестно и что будет и какие будут возможности жить и думать. Срок-то ведь 15 лет, из них прошло 2!

И в это же время продумывания написаны воспоминания о детстве и юности, отданные мне мачехой после его смерти, под честное слово, что никому не отдам. Вероятно, имелась в виду моя мама.

Но сейчас, через 35 лет после его смерти, после смерти мамы и самой Ирины Павловны, я их привела в начале этой книги.

Но вот наступает 1952 год.

На севере Чукотки, а Чукотка тоже входила в Дальстрой – находится крупный, очень крупный, гранитный массив, вытянутый вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Площадь его более 3000 кв. км, он имеет сложное строение, распадется на отдельные купола, имеет какие-то линейные структуры и совершенно не изучен, между тем как имеются данные о его перспективности на целый ряд весьма важных полезных ископаемых. В частности, там было обнаружено урановое оруденение. Изучать строение этого массива направляются в качестве коллекторов (по-современному – младших техников) значительные силы:

Иван Кузьмич Баженов – 62-летний декан геологического факультета Томского университета, профессор, доктор наук, заведующий кафедрой; перед арестом он был консультантом по поискам радиоактивного сырья;

Андрей Александрович Предтеченский – 48-летний бывший главный геолог Красноярского управления;

его ровесник Георгий Михайлович Скуратов – начальник партии того же управления;

пятидесятилетний Константин Сергеевич Филатов – специалист по разведке полезных ископаемых;

Феликс Николаевич Шахов – профессор, доктор наук – металлогенист, геохимик, впоследствии член-корреспондент АН СССР – ему под 60

и мой отец Юрий Михайлович Шейнманн, тоже доктор наук, геолог широкого профиля, съемщик, магматист, тектонист. Ему 51 год.

Все перечисленные проходят по «Красноярскому делу геологов» и имеют сроки от 15 до 25 лет. Такие вот коллекторы!

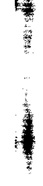
Впрочем, Дальстрою не привыкать: еще в 30-е годы там было принято, чтобы амбулаторию возглавлял фельдшер, а профессор-хирург числился у него фельдшером, а то и санитаром! А на Чукотке возглавляет тематическую партию молодой специалист, окончивший МГУ (правда, петрограф, учившийся у Е. А. Кузнецова) – Василий Николаевич Липатов.

Об этой работе есть написанный Ю. М. Шейнманном очерк. Привожу его дословно.

На Чукотке

Есть такая страна – Чукотка. Ее западная часть – это область невысоких, более или менее отдельно стоящих гор. Они чуть не нацело покрыты осыпями. Травы и той не видно. Горы пологие, серые или черные, других расцветок нет. В хороший день над ними светло-голубое небо, не по-южному прозрачное. Только нередко всё серо, и небо тоже.

Если смотреть с воздуха (мне пришлось в 1953 году пролететь из Певека через мыс Шмидта, Иультын, Кресты и Анадырь), страна, хоть и серая с черным, выглядит лучше. По долинкам и широким низинам протянулась зелень. Камни россыпей сверху кажутся гладкими и мелкими, от этого становятся спокойными и склоны. Иные из них сложены гранитом, и его светлый тон кажется чуть ли не белым. Гранит оторочен широкой или более узкой черной каймой, которая постепенно переходит снаружи в серый цвет сланцев и песчаников. Такая кайма – измененные теплом гранита те же сланцы и песчаники (превращенные в роговики), поэтому и переходит их черный цвет постепенно в серый цвет неизмененных пород.



На севере страну ограничивает море. Даже во второй половине здешнего лета, если ветер дует с севера, он пригоняет близко к берегу льды. Да и без этого всё лето стоит на севере как бы далекий белесый туман – ледовое небо.

Ходить по такой земле для непривычного – мука. Да и для привычного – тоже, только он смолчит. А нам всегда ходить надо, исхажи-

вая свой район. На лошади или олене делать нечего – они не могут ходить по здешним камням. Только там, где между горами плоско и развилась моховая тундра, возможен какой-то вспомогательный транспорт. Но оленей у нас не бывало, лошадь вообще не прокормишь. Поэтому геологов забрасывали тракторами по зимнему пути и давали возможность всё лето пользоваться только своими ногами. Так поступали мы втроем – Василий Николаевич Липатов – геолог, Володя – молодой рабочий и я. Правда. гранитное тело, которое мы изучали, было невелико и очень больших перемещений не требовалось. Зато исхаживать весь участок приходилось тщательно, и чуть ли не половина его была покрыта глыбовой россыпью.

Уже ближе к концу сезона мы решили перебросить нашу палатку в самый дальний угол участка. До этого переброски были несложные, вблизи был рудник, где существовало то, что на местном языке называется дорогой. Но сейчас мы шли вне дорог, а это требовало другого транспорта. С утра все трое занялись укладкой имущества. Ходить два раза не было смысла – имущество было легкое , и решили взять всё сразу. Вышло килограмм по 40–50. Всё тяжелое и малогабаритное улеглось пониже, в рюкзаки, или было приторочено к ним. Но были очень легкие и очень объемные пакеты. С ними приходилось возиться, чтобы создать в результате единый тюк, чтобы ничего не болталось и не тянуло в сторону. Оленьи спальные мешки стали вершиной поклажи. И когда, наконец, всё это было погружено – рюкзаки на плечи и ремнем прикреплены к голове верхи тюков, выглядели мы занятно. Сзади – гора связанного багажа и из-под нее две совсем небольшие ноги, а чуть повыше торчат в стороны ручки. А когда ноги движутся, гора вещей колеблется, будто очень рыхлый толстый человек едет на неведомом верховом животном. Со стороны занятно. А самому этому животному – не очень. Изволь держать равновесие и шагать с одного камня на другой. В руки взяли по палке – так удобней, и двинулись.

Уже на первых сотнях метров я почувствовал удовлетворение. Это я настоял на головных ремнях, вспомнив описание Джека Лондона. При таком объеме они оказались хорошими помощниками. Они держали груз, не давая ему уходить в сторону, лучше, чем любая другая система, переносили на голову и шею часть тяжести, облегчая плечи. Так что польза художественной литературы могла считаться доказанной.

Мы пошли. Даже шутили, когда иной раз нас покачивало, будто не было сил противиться ветерку. Но через два-три километра стало иначе – глыбы осыпи делались всё крупней. Они не двигались под ногой, но мешали ступить, потому что требовали слишком большого

шага. Я высокий, заметно выше своих товарищей. Но зато им вдвоем примерно столько, сколько мне – лет пятьдесят. Так что одно уравновешивает другое.

А еще позже расстояние показалось великоватым. Десять километров из пустой цифры стали реальностью. И реальность эта обрастала потом, усталостью, тяжестью в мышцах ног. Мы замолчали. Вот тогда начали расти глыбы осыпи. И рост был двойной: от нашей усталости, и потому что они действительно стали большими – с большой сундук, а то и покрупнее. Просто перешагнуть с одной глыбы на другую и следующим шагом на третью стало невозможным. Шаг на глыбу – большой шаг, я пригнулся от этого. Потом встаешь на глыбу и выпрямляешься. А тюк стремительно прижимается к плечам и затылку, и от этого снова сгибаешься, будто присматриваясь к поднимающейся впереди поверхности глыбы. А надо идти по ней вверх. Шаг, второй, но по ту сторону гребня переход на следующую глыбу оказывается неудобным и приходится повернуть влево, сделать два шага вдоль глыбы, а это неудобно, подлый тюк тянет то в одну, то в другую сторону. И, наконец, можно перескочить на соседний камень. А на плечах три пуда, и мы уже устали.

Такие глыбы тянулись почти до конца пути. Если говорить правду, то, часа через три нам было всё равно. Так что, может быть, окончились они немного раньше. Под конец мы не прыгали больше. Трудно было передвинуть ногу – мне, по крайней мере. И казалось, что идти невозможно, что сил больше нет, что попросту подохну. Василий Николаевич шел молодцом, но тоже сильно устал. У него за время работы геологом уже выработалась выдержка. А с Володей плохо. И молод, и неучен.

– Юрий Михайлович, не могу больше. Слышите, – не могу! Вот лягу и всё.

– Идем, Володя, ведь километр-полтора осталось, и дойдем. Нельзя тут. Ни воды, ни местечка, куда палатку поставить.

– Не пойду я. Не пой-ду. Всё. – Он сел на камни, верней лег на свой тюк.

– Володя!

– Не пой-ду.

Я отвернулся от него.

– Идем, Василий Николаевич. А его оставим, неженку.

Эта остановка и перебранка сделали дальнейший путь еще более трудным. И мы шли, только время от времени поглядывая вперед. Поднимать голову не хотелось. Хотя, как будто, и тяжесть стала меньше, и ноги сами пошли. А трудно, и больше всего боялись хоть минутной остановки.

Мы дошли. И Володя почти нагнал нас. Вот источник и рядом площадочка. Мы ничего не сказали друг другу. Не легли – упали на свои тюки и только через несколько минут стали двигаться, скидывая лямки. А потом еще долго лежали, может быть с полчаса. Через час с небольшим уже стояла палатка, были разложены мешки, на примусе стоял котелок и ждал своей очереди чайник.

Так мы прожили с неделю. Назад идти было легче, потому что вес камней был меньше веса продуктов и керосина, которые мы несли с собой сюда. Удалось проработать без пурги и тумана, хотя кончался август. А перед этим было иначе: в июне, июле и начале августа – по две пурги с мокрым снегом, каждая на два-три дня. От снега падала палатка, накрывая холодным мокрым полотнищем, и надо было, с трудом вылезая из-под нее и из мешка, ежась от холода и текущей по телу воды, ставить ее. Правда, здесь и ночью светло, так что всё-таки легче.

В другие дни на наши горы – всего 150 м над морем – плотно ложились облака, и ничего не было видно во всё окутывающем тумане. Хорошо, что все августовские пурги были выданы нам в первой половине месяца!

После такого знакомства с районом стало понятным высказывание одного из первых его исследователей, в начале XIX века – говорят, он писал так: «А климат здешний пренаимерзопакостнейший». Прав, конечно.

И еще стало понятным, почему на высоте всего 50–100 м над уровнем моря здесь между каменных глыб и дресвы нет ни кустиков, ни травы. Только в укромных западинках между двумя камнями или под камнем, с его южной стороны, можно найти одну-другую плотную маленькую подушечку, немного напоминающую губки, о которые мочат марки в почтовых отделениях. Высота такой лепешки с полсантиметра и она свободно умещается на ладони, а то и еще меньше. Она зеленоватая, как бы шерстистая. Надо приглядеться, и тогда видно, что это не губка, не лепешка, а плотно сбитые мелкие листики и над ними, возвышаясь на пару миллиметров, на очень тонких ножках торчат цветы. Да, настоящие цветы, размером с булавочную головку, разве чуть больше. Это незабудки и еще какие-то, которых не опознал, белые, желтые, всякие. Так приспособились к этому климату наши цветы и сумели выжить в, казалось бы, невозможных условиях. И только по тальвегу долин, где есть защита от ветров и холода, растет ивняк, иной раз даже выше человеческого роста. И рядом низкие березки – тундровые. В стороне, уже в самых низах склона, исчезают и они.

Можно спросить: а что нас гонит на такую муку? Ответ простой – иначе эти места не посетишь, не увидишь своими глазами, не поймешь,

как устроена наша Земля. А узнать это надо. Если с точки зрения практики, то потому, что со здешними гранитами связаны ценные месторождения, которые с успехом разрабатываются даже на этом севере. Да попросту надо знать всю нашу Землю, все 20 с лишком миллионов километров. А тяжесть – ведь она только на короткий срок. Позже ее сменяет удовлетворение, даже радость – сделали!

А потом были камеральные работы по описанию этого гранитного массива, здесь же, на Чукотке, в Певеке. Здесь же была закончена уже упомянутая статья о поисках кимберлитов и он написал статью «О возможности находки в пределах Дальнего Востока месторождений типа Сёдберри – Норильска», датированную январем 1952 года. Научная мысль не затухала и в этих условиях.

Кроме отчета, Ю. М. и его молодой «начальник» Василий Липатов написали большую статью «О некоторых своеобразных чертах Северного гранитного массива». Она датирована июнем 1953 года, передана в фонды (архив Дальстроя) в 1954 году, следовательно писалась уже после прилета в Магадан, во ВНИИ-1 (Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов, подчиненный Дальстрою).

Что их привезли оттуда самолетом, явствует из его очерка о Чукотке, где говорится о представившейся ему в 1953 году возможности обозреть Чукотку с воздуха.

А как работалось в этом НИИ? О работе зимой 1953/54 года говорят в своих воспоминаниях и Н. Л. Пляшкевич и М. Л. Гельман.

Заключенных геологов под конвоем приводили из лагеря, конвой оставался на вахте, а вечером тем же порядком их отводили в лагерь. А что было раньше? У меня только одно папино письмо, датированное 1 января 1953 года.

В первый раз ставлю эту цифру 53, Галюша. Она еще какая-то нереальная. У тебя в Москве середина дня, наверное, недавно, после встречи, вставать изволили. Здесь вечер. Позавчера пришла твоя открытка… Она ползла 2½ месяца. В связи с моим переездом я ничего не имею ни от кого. Наверное все письма возвращены за ненахождением адресата. Досадно очень и немного волнуюсь. Вернее всего зря, но всё-таки. <…> А я тебя опять не знаю – далеко больно. И идут письма так, через пень-колоду, никогда не знаешь: дойдет или затеряется.

Очень хочется оторваться немного от повседневной работенки, подумать и поработать над общими вопросами. Но ничего не поделаешь, сейчас тружусь, по-видимому, как дядя Сережа, даже никуда не хожу. И так придется, по крайней мере, до весны. Я уже писал вам

свой новый адрес, надеюсь, телеграмма давно там и вы написали. Сообщите адрес Лады. До сих пор его не знаю и ничего от нее не имею.

<...> Вернулась ли мама? Как у нее? Что с болезнью? Пора бы ей быть уже назад. Вот сейчас сижу в вполне городской квартире, за нормальным столом. Рядом на стене присланная тобой карта. В доме тишина. Все по своим углам. Немножко еще непривычно жить по-городскому после Чукотки. И – каюсь – с удовольствием уехал бы туда назад. Не люблю Магадана. Одно тут хорошо – книги. Читаю сколько могу – я ведь очень мало литературы видел и сильно отстал. А здесь неплохая техническая библиотека. Здесь же собрался с силами и всерьез занялся присланной тобой книгой Ли. Получилось занятно и совсем не так во многом, как он пишет. Неужели он ошибался, или я неверно понял? Может быть, и соберусь как-нибудь и изложить это свое понимание. Ну, вот, видишь, как мало у меня о чем поговорить. Это от однообразной жизни. Будь веселой и довольной. Привет Яше и бабушке.

Целую крепко. Папа.

Так что же он писал в эти годы? Что это была за статья о гранитном массиве Чукотки? И к чему привело чтение книги Ли, о которой речь шла в письме? Передаю слово доктору геолого-минералогических наук Михаилу Львовичу Гельману:

«Авторы определяют свое исследование как петрографо-тектоническое. По-видимому, у Ю. М. это был первый и вообще единственный опыт полевого занятия гранитной тектоникой. В Северном массиве отчетливо проявлено структурное направление линейности. Однако не более половины задокументированных структур совпадает с ним, как следовало бы ожидать, следуя общей концепции... Перечитывая статью о Северном массиве, мы видим в ней удивительно выпуклое, эталонное описание плутона, характерного для гранитоидных поясов в мезозоидах Северо-Востока Сибири. <...> Строение массива объяснено внутрикамерной дифференциацией магмы, определяющейся в выявленных геологических условиях... Реконструируя эти явления, авторы подчеркивают их вероятное влияние на металлоносность гранитов, на размещение руд.

Поразительно практически полное тождество этой неопубликованной морфологической модели и ее реконструкции, сделанных в начале 50-х годов, и схемы кристаллизации гипабиссальных интрузий с высоким уровнем летучих, которую в 70-х годах разработал Л. Таусон. <...>

> Методология, наметившаяся при изучении Северного массива, была во второй половине 50-х годов развита и с успехом применена *В. Н. Липатовым в изучении гранитных батолитов Колымского пояса».*

Видно, не зря поработал молодой специалист со своим «коллектором»! А о том, что получилось из чтения литературы, своих накопленных геологических исследований и напряженных размышлений, М. Л. Гельман сообщает:

> «В Магаданском геофонде с мая 1954 года хранятся также очерки «К тектонике Китая» (50 машинописных листов, датирован январем 1954 года) и «О структурах, промежуточных между геосинклиналью и платформой (33 с., дата составления 1951–1952 годы). Оба – результат напряженных размышлений над принципиальными проблемами тектоники материков вообще и в частности – востока Азии».

А вскоре Дальстрой был передан из МВД в Министерство цветной металлургии и, соответственно, все научные и геологические учреждения его. Появилось предчувствие каких-то близких перемен. Поздней осенью 1953 года шесть геологов, проходивших по Красноярскому делу, были переведены в Научно-методический отдел Геолого-разведочного управления Дальстроя, в его лабораторию.

Но слово работавшей в то время в этой лаборатории кандидату геолого-минералогических наук, специалисту по рудной минералогии Лидии Николаевне Пляшкевич:

> «Их было шестеро – известных в геологической среде ученых, специалистов-геологов, профессоров (так их представили нам, а некоторых из них, мы, молодые специалисты, знали по геологической литературе и по отзывам их учеников), появившихся у нас в лаборатории поздней осенью 1953 года.
>
> Лаборатория занимала первый этаж и подвал жилого дома на главной улице Магадана – колымском шоссе. <...> У входа со двора круглосуточно дежурил вооруженный вахтер, входящие предъявляли пропуск. Лаборатория была подразделением научно-методического центра ГРУ МВД. Здесь работали минералоги, геофизики, спектральщики, палеонтологи – обрабатывали свои плевые материалы, вели определительские работы по заказам, поступавшим из районных геологических управлений. Территория деятельности ГРУ Дальстроя тогда охватывала большое

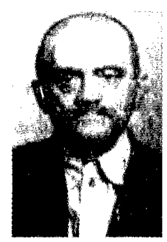
пространство от бассейнов Яны и Алдана до Берингова пролива. Анализ и обобщение всех геологических материалов для этой территории производили специалисты НМО. <…> Начальники кратко информировали нас о том, что в одной из комнат лаборатории будут работать в особом режиме находящиеся в заключении крупные специалисты-геологи, профессора – з/к, как тогда называли всех узников ГУЛАГа. На Колыме это была система УСВИТЛа – Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей МВД.

«Нашими профессорами», как я и впредь буду их называть, были стратиграфы-палеонтологи Александр Григорьевич Вологдин и Владимир Николаевич Верещагин, геологи-минералоги Феликс Николаевич Шахов и Иван Кузьмич Баженов, геолог-математик Вячеслав Вячеславович Богацкий и тектонист Юрий Михайлович Шейнманн. На самом деле все они и были специалистами широкого профиля, обладали обширными знаниями и многое умели.

Всем шестерым был отведен небольшой кабинет в близи к вахтеру, с письменными столами, стульями, стеллажом для книг и местом для коллекций образцов. Была и электроплитка для кипячения чая. Выходить из здания им не разрешалось, так же как и не разрешалось хождение по всему помещению лаборатории. Жили профессора в лагере заключенных, на работу их водил вооруженный солдат лагерной охраны и вечером так же отводил обратно в лагерь. <…> В нашем коллективе профессора встретили лучшее отношение со стороны многих. С молчаливым сочувствием и пониманием сути произошедшего с ними. Отчасти сказывался некоторый либерализм начальника геолого-разведочного управления генерала В. А. Цареградского, человека весьма незаурядного, умного руководителя, ценившего в людях знания и интеллигентность. <…> Правда, среди его окружения имелись серьезные противники его покровительства некоторым бывшим з/к… Конечно сказывалась и специфика лагерной, ссыльной Колымы и ведомства, к которому принадлежали Дальстрой и его геологическая служба. У многих сохранялись подозрительность, известная осторожность при общении друг с другом, страх и нежелание контакта с такими «врагами», как наши профессора.

Прекрасно зная всё это, они сами были весьма сдержанны в общении с нами, свободными людьми. Наши с ними взаимоотношения были преимущественно деловыми. И, несмотря на общую атмосферу доброжелательности, в которой они у нас оказались, и в нашей среде нашлись доносчики.

И всё же кто-то скрытно, вероятно анонимно и для самих профессоров, иногда оказывал им некоторую помощь – продуктами, вещами, лекарствами. Так, например, с оказией посылали витамины – тогда дефицитные вообще – детям Верещагина, жена которого с детьми оказалась в Зырянке, ближе к мужу ей быть не разрешалось.

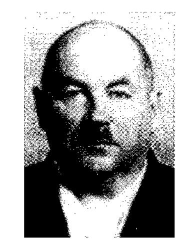


Все шестеро наших профессоров были немолоды. Старше остальных был, видимо, *Иван Кузьмич Баженов*. Нам, молодым, он казался добрым и несколько печальным дедушкой. Он не раз писал письма Сталину, упорно надеясь на его справедливое участие. Остальные к этим попыткам относились с иронией.

Моложе своих товарищей выглядел В. В. Богацкий, выделявшийся оригинальностью и внешнего облика и характером мышления – насколько я могла судить по его отдельным репликам.

Феликс Николаевич Шахов – худощавый, живой, подвижный – содержал в себе нечто оптимистичное. Кажется, но может быть я и ошибаюсь, он один тогда из всех не потерял способности улыбаться. Мне посчастливилось довольно тесно с ним общаться, так как и я и он в ту пору занимались изучением руд из разных районов Северо-Востока.

Вместе с И. К. Баженовым работал недавно окончивший институт П. В. Бабкин, они изучали коллекцию кристаллов касситерита. В связи с этими работами Ф. И. Шахов и И. К. Баженов часто заходили в наш минералогический кабинет. <…> В. Н. Верещагин и *Александр Григорьевич Вологдин* изучали коллекции ископаемых флоры и фауны. Молчаливый, может быть мало коммуникабельный по натуре, Вологдин запомнился мне всегда сидящим за своим столом, занятым описанием своих



объектов, их зарисовками, – что он делал замечательно и мы с Бабкиным восприняли и использовали его технику.



Как противоположность усидчивому Вологдину мне вспоминается *Юрий Михайлович Шейнманн.* Это был высокий человек, на вид лет сорока пяти, то есть выглядел он моложе своих лет. Мысленно я сразу, еще не зная его работ и область интересов, дала ему название «теоретик». В отличие от упомянутых выше «вещественников» – минералогов и палеонтологов, делателей, – он казался человеком, как бы отстраненным от какой-то рабочей суеты, занятым некоей внутренней работой; он размышлял. И, конечно, что-то периодически писал, читал приносившиеся по его просьбе геологические отчеты из фондов, печатную специальную литературу, кажется – не помню точно – работал с геологическими картами. Нередко я видела его в коридоре, куда он выходил покурить, расхаживая или беседуя со своим обычным партнером *Вячеславом Вячеславовичем Богацким.* У них, вероятно, было много общего, несмотря на кажущуюся разницу в возрасте и характерах, невольно проявлявшуюся в манере держаться, говорить и пр. М. б. их сближала склонность к отвлеченному мышлению, его нестандартность у каждого, интерес к глобальной тектонике. В. В. Богацкий был увлечен математическими методами в геологии – применительно к ее прикладным сторонам, вопросами размещения разведочных работ, методами статистики, но также – и к области чисто теоретической геологии.



Какие задачи были поставлены перед Юрием Михайловичем и с кем из геологов управления он по работе был связан, с кем из них общался – плохо помню, м. б. не знала вообще… С появлением у нас этой группы ученых всем районным геологическим управлениям были разосланы письма с предложением отправлять в Магадан в НМО ГРУ коллекции руд, минералов, ископаемых флоры и фауны «для изучения силами высококвалифицированных исполнителей». Официально эти исполнители оставались безымянными, то есть они не имели права подписывать результаты своих исследований. <…> По линии 1-го (секретного) отдела наших профессоров опекали некие

шефы – работники геологического фонда. Они подбирали необходимые для этих исполнителей геологические отчеты, карты и при этом заклеивали полосками бумаги те части текста, отдельные абзацы и строчки – всё, что, по их мнению, не следовало читать их подшефным. Мне попадались на глаза следы этой работы. Воздержусь от собственной реакции. Но наши ученые-невольники, скорей всего, относились к этому явлению философски. С другой стороны, в этой мелочи заключалась еще одна капля того унижения, которое им пришлось испытать. У каждого из них временами проявлялась подавленность, особенно на первых порах пребывания у нас. Но затем они все как бы оттаяли, чувствуя доброжелательное и уважительное отношение всех, с кем довелось общаться. <…> Держались они просто, с достоинством».

Сугубый практик, вещественник, Лидия Николаевна Пляшкевич не знала тогда деталей теоретических размышлений и выводов Ю. М., но об этой стороне его существования я знаю из писем и из воспоминаний прибывшего тою же осенью 1953 года в НМО ГРУ выпускника МГРИ, молодого специалиста, ученика М. В. Муратова и, следовательно, интересующегося теорией, – Михаила Львовича Гельмана (см. выше). Воспоминания Гельмана, очень интересные для нас, геологов, перегружены данными о геологии, поэтому я привожу их только отрывочно, то, что касается непосредственно Юрия Михайловича Шейнманна.

Но сначала письмо. Оно помечено декабрем 1953 года, значит отец уже несколько месяцев работает в описываемом подвале НМО.

27/XII 1953

Милая Галинушка,

надеюсь, это письмо дойдет вовремя к твоему рождению. О том, что ты такая большая, всегда странно думать – как это так получается, что совсем взрослая, по-настоящему? Это еще, вероятно, сильней оттого, что сейчас у меня время разбилось как бы на два независимых потока. Здесь я его чувствую очень сильно, тоскливо проходят недели, даже дни. Но, понимаешь, это как-то вне большой жизни. Если б сейчас вернуться домой, я, конечно, знал бы сколько лет прошло. Но это головой. А, казалось бы, что не видал вас всех только недолгие месяцы. Все эти годы здесь казались бы призрачными, сном. А отсюда я не вижу Вашей жизни и поэтому не чувствую как много ушло жизни и у тебя и у Лады. Поэтому к обычному родительскому удивлению – вот как выросли ребята – прибавляется еще и это.

От тебя давно ничего нет. Только пришла бандероль с двумя книжками. Может и побалуешь письмом?

Я – что нового о себе писать? Ты знаешь, что работаю геологом, что поэтому доволен. Снова много читаю. Присланные тобой книжки очень кстати пришлись.

Буду благодарен, если сможешь достать «Стратиграфическую геологию» Жинью. Мне часто приходится справляться с нею, а конспектировать ее слишком большой труд. Вот, если хватит сил, то надеюсь за зиму кое-что сверх моей служебной работы сделать, не местного, а общего интереса. Конечно, свести материал по всей Азии я здесь не могу. Но кое-какие черты ее развития, кажется, и здесь уловить удается.

Нехорошо, конечно, хвалиться, идучи на рать. Надеюсь, всё-таки, что марку выдержу. Дальше хотелось бы заняться еще кое-чем из общих вопросов. Но ведь могу это только урывками, по вечерам. Поэтому всё двигается очень медленно.

Сама понимаешь, что очень трудно сознание, что из-за глупости приходится оборвать настоящую большую работу. Времени у меня ожидать, когда придет возможность, уже нет. Вот и пытаюсь сказать то, что могу. А говорить без книг и без минимальной обстановки для серьезной работы трудно. Боюсь, что получается плохо. Не верю себе – и по-честному очень боюсь оказаться смешным или жалким.

А сказать обязан. Может быть во многом ошибаюсь – а как же добиться иначе знания? Особенно у нас, в геологии – ведь, пожалуй, из всех наук в ней труднее всего добываются твердо установленные факты. Свой голос у меня был, вероятно, есть. И, кажется, умел иной раз подметить то, что проходило незамеченным мимо других. Вот и получается, что обязан сказать. И покоя не будет. Пока не скажу, пока сказанное не пойдет в критику. Тогда я успокоюсь. Только, наверное, еще что-нибудь назреет и придется над новым работать.

Ну да ладно, такой уж уродился непоседливый. И надеюсь, что хватит силенок на эту двойную нагрузку.

А так – ничего нового нет у меня, живу понемногу, хожу иной раз в кино, работаю на службе, работаю и «дома». И скучаю по Вам всем. Иной раз и здорово.

А о тебе, Ладе, Яше, конечно, хочется знать. Так что пиши. Расскажи о маме. И живи получше, чтобы чувствовать, что живешь. Помнишь в каком-то фильме, что ли: надо, чтобы человек всегда на мир смотрел так, будто только что вышел из длинного темного туннеля и увидал сразу и горы, и долины, и солнце. Ось так, дивчина. Ну, целую крепко новорожденную. Привет всем Вам, бабушке, если жива.

Папа

«Ось так!» Колымская зима. Работа. И работа «дома», то есть в лагерном бараке, на нарах. И с возможными визитами уголовников, о чем пишет Гельман. И лет ему от роду почти 53, и позади Норильлаг. А внеслужебная работа мозга кипит, мысли мечутся и требуют если не рабочего кабинета, то хотя бы книг и свежих журналов.

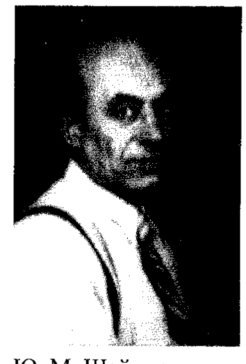
Но – слово Гельману. Михаил Львович Гельман, ныне доктор наук, был из тех мальчиков, молодых специалистов, которые приехали в Магадан осенью 1953 года. В письме к моей матери от 26 февраля 1954 года отец, говоря о нас, о том, что между нашим и их поколением расстояние гораздо больше, чем между ними и их отцами, между прочим, пишет: «Сейчас встречаю очень много молодежи и поэтому еще лучше вижу это. При этом молодежь очень хорошая, таких давно не видал. Видимо война вырастила это поколение. Говорю о мальчиках, девочек-инженерш тут не так много и они послабей. А мальчишки молодцы, один к одному».

Итак, слово Гельману, одному из этих мальчиков:

> «Осенью 1953 года, окончив МГРИ, я приехал в Магадан и начал работать в Геолого-разведочном управлении Дальстроя (ГРУ ДС)… И вот однажды мы узнали, что в нашем НМО начали работать несколько заключенных-геологов. Их приводили под конвоем из лагеря, расположенного в черте города. Стража оставалась на вахте, которая всегда была у входа в режимный подвал, а геологи шли в кабинеты, где у каждого был рабочий стол, где можно было свободно разговаривать и заниматься с любым из наших сотрудников. Одним из заключенных был Ю. М. Шейнманн... Это были немолодые люди. Самым младшим, В. В. Богацкому и В. Н. Верещагину, уже минуло 40, самому старшему – И. К. Баженову было 64 года. Все они были измучены физическими и нравственными страданиями, тяжелыми условиями лагерного быта, непреходящим чувством оскорбления и унижения от чудовищной несправедливости и нелепости обвинений. В поведении была настороженность: не знали, чего ждать от вольного собеседника. <…>
>
> Ю. М. Шейнманну было в то время 53 года. Он был самым опытным «сидельцем». Знал, что научное открытие, такое, например, как находка меймечита (в период первого ареста), само по себе приносит абсолютное удовлетворение. Держался наиболее естественно, как бы отвергая безмолвно все трагические обстоятельства, вопреки которым его творческая мысль работала непрестанно, как бы он говорил: «Оставьте всё это, давайте обсудим вот такую проблему».

В НМО к каждому заключенному геологу был прикреплен один из работников отдела, который считался ответственным за тему, подбирал и заказывал нужные фондовые материалы, помогал составлять отчет, учился, наконец, у своего репрессированного помощника. Впрочем, все эти выдающиеся специалисты охотно в свободной форме давали консультации методологического характера по всем направлениям тематических исследований, которые проводились в подвале – по палеонтологии, литологии, рудной минералогии и микроскопии руд и т. д. <...>

В НМО Юрию Михайловичу было поручено провести формационный обзор палеозойских отложений, среди которых на Северо-Востоке были известны гипсоносные, с тем чтобы определить возможность открытия месторождений каменной соли. Рыбообрабатывающая промышленность на всем Дальнем Востоке нуждалась в этом предмете, а возить соль приходилось издалека.


Ю. М. Шейнманн на работе в НМО

<...> Работа Ю. М. Шейнманна по этой проблематике (климатическая зональность Евразии в истории от позднего палеозоя до кайнозоя) была прервана арестом.

По-видимому еще во ВНИИ-1, в 1951 году вырисовалась его компетентность в этих новых для магаданских геологов вопросах, а когда он оказался в НМО ГРПУ, это определило постановку темы по перспективам соленосности, несколько необычной для Дальстроя, специализированного на золото, олово, вольфрам. Помощником Шейнмана была К. С. Телегина. Из-за необходимости быть поближе к фондам она постоянно работала в нашем кабинете. Ю. М. время от времени приводили к нам посмотреть материалы, дать консультацию К. С. Телегиной, готовить графику в отчет. При этом была возможность поговорить с Е. К. Устиевым Я не знаю, были ли они знакомы раньше.

<...> Взаимную симпатию Ю. М. Шейнманн и Е. К. Устиев, как и интерес и уважение к научным результатам друг друга, готовность их совместно обсуждать, сохранили до конца жизни (Е. К. Устиев умер в 1970 году, Ю. М. Шейнманн – в 1974 году).

Хотя партийным руководителям ГРУ ДС, видимо, было рекомендовано предупредить нас, комсомольцев, что нам

не следует слишком уж доверять геологам – сегодняшним и бывшим заключенным, чтобы мы не сомневались в том, что они осуждены за реальные преступления, сделано это было подчеркнуто формально, и никто не мешал совместной работе. В то время, конечно, многие в НМО полагали, что что-то антисоветское, достойное наказания, у арестантов всё же есть, но поскольку их к нам приводят, работать с ними следует как с равными, относиться уважительно, соответственно их возрасту и прошлым научным заслугам. В подвале НМО заключенные геологи, как они потом вспоминали, впервые, находясь на Колыме, почувствовали более теплое к себе отношение. Здесь старались их и подкормить домашней едой, и выполнить некоторые просьбы (отправить письмо, минуя лагерную цензуру и т. п.). Время менялось и режим терял былую свирепость. <…> Вслед за прекращением и демифологизацией «дела врачей» и задолго до массовой реабилитации начат был пересмотр Красноярского дела. Возможно, что лагерное начальство, догадываясь о происходящем, стало щадящим образом относиться к геологам. Но вечером, в темноте, рано наступающей в зимнем Магадане, их отводили в бараки, где рядом были и уголовники. Был случай, рассказывал Юрий Михайлович, что какая-то их группа ворвалась к геологам; 69-летний Ф. Н. Шахов – сухощавый, с подбритыми усами, бесконечно корректный – приподнялся на своих нарах и произнес: «Уйдите, вы мешаете мне читать». – Подействовало!

Красноярское дело было полностью пересмотрено 31 марта 1954 года, все геологи были реабилитированы. Соответствующие документы поступили в Магадан уже в апреле. И вот в один из весенних солнечных дней, когда окрестности Магадана сверкают не тающим еще снегом, кто-то прибежал из подвала и сказал: «Их освобождают!»

Это происходило торжественно. Каждому сообщал об освобождении сам начальник Дальстроя Митраков, а вызывались к нему в кабинет в главном административном корпусе по двое и с некоторыми перерывами. Те, чья очередь не подошла, глубоко тревожились, касается ли решение и их. А потом уже не надо было (и нельзя) идти в лагерь. Ю. М. Шейнманн пошел к нам, остальные разошлись по другим квартирам. Мы жили вчетвером в комнате в двухэтажном доме так называемого гостиничного типа.

Ю. Бычков уже уехал на Чукотку, готовиться к полевым работам. Ю. М. занял его свободную кровать. <…> Вместе отпраздновали за нашим столом (это был письменный стол на все случаи жизни) его выход на свободу. Он был сдержанно весел: освобождался не в первый раз и знал, что еще могут быть всякие ограничения. Рассказывал смешные истории. <…> А на следующий день Ю. М. пришел на работу и, стоя посреди комнаты, с не сразу понятой нами торжественностью сказал, перефразируя царскую резолюцию из известного анекдота: «Ну вот, объявили меня и по Норильску девицей!» Его худое выразительное лицо светилось радостью оттого, что снято 15-летнее проклятие и вот теперь-то он, наконец, свободен, во всяком случае, не меньше, чем любой другой советский человек, чья биография безупречна в глазах власти. Была и горечь от особенно острого ощущения того, насколько исковерканной оказалась жизнь и как раз в годы возможной наибольшей творческой активности, была и самоирония и смущение – почему же он так рад и всех оповещает о своем ликовании. Это незабываемо. Начальник каждого из шестерых просил остаться в Магадане на постоянную работу, но ни один не мог на это согласиться. В мае все уехали «на материк».

Так описывает освобождение его свидетель. У меня сохранилось письмо этого времени, адресованное моей матери:

28.04.1954 Хабаровск

Месяца полтора-два назад писал тебе, Нина, в ответ на твое письмо. Потом пришло еще одно. А сейчас сижу на авиавокзале в Хабаровске, и будто тяжелый плотный занавес спустился над Магаданской жизнью. Всё случилось сразу, когда потерял уж надежду на какой-либо ответ на наши заявления. Вызвали, в полчаса кое-как закончили оформление. Потом прием к нач. Главного Управления. Поздравления, пожатие рук, пожелания счастья. Потом радость самая настоящая всех товарищей по работе, слезы, наперебой в гости. В несколько дней закруглили работу. Вчера прилетел сюда и лечу дальше. Надеюсь, май встретить в Москве. Вот и вся история. Еду и там буду думать, где и как работать. Вероятно уже, так сказать, «распределен» – вряд ли отпустят из Министерства. Больше о себе ничего не знаю. И, знаешь, настолько это всё круто, что не могу сейчас ни о чём больше писать и говорить. Еду – и всё.

Юрий

Глава 12

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Это всё-таки страшная вещь, возвращение. Человек приходит из другой жизни, приходит в прошлое, такое, как оно было, и таким, каким и он был. Так ему, по крайней мере, хотелось бы. А всё изменилось: и люди, и время, и весь антураж. Надо заново вписываться в жизнь. Даже в свою, научную. Хотя у них, «красноярцев», в последние годы была сравнительно сносная обстановка, были даже книги, приносимые «с воли», даже возможность общения с себе подобными, но не было ни диспутов, ни публикаций, ни сведений о том, чем же сейчас живет наука, ни возможности услышать нелицеприятную критику своих домыслов и соображений, ни возможности высказать, передать накопленные знания. Несколько написанных статей лежали в архивах фондов в Магадане. Другие – наметками проскальзывали в письмах и разговорах.

Игорь Александрович Резанов, в своей статье о творческом пути Ю. М. Шейнманна, в сущности, очень хорошей, говорит о менее результативном в научном отношении третьем периоде его творческой биографии, охватывающем Колымское сидение и последующую за ним работу в первые годы по возвращении. Позволю себе не согласиться, Игорек, хоть ты и доктор наук и работаешь в Институте истории естествознания. Там, на Колыме, зародились или продолжали осмысливаться почти все главные идеи его творчества.

Михаил Львович Гельман говорит о том, что многие идеи, про которые говорят, что они носились в воздухе, были впервые высказаны Ю. М. Шейнманном, хотя это и не сразу было замечено.

> В колымский период в сферу его пристального внимания попали проблемы магматизма в континентальном обрамлении Тихого океана. Именно в них сейчас максимально заинтересована наука, и Ю. М. был одним из первых, если не первым вообще, обратившимся к проблемам геологии мантии.

Закончу рассказ о научной мысли Ю. М. в колымский период цитатой из той же статьи Гельмана:

> «Чтó значило рабское состояние для легендарного создателя басенного жанра? Чтó значили алжирское пленение и севильская тюрьма для творца Дон Кихота? Наверное, по силе творческого духа Ю. М. Шейнманн должен быть поставлен в тот ряд, где Эзоп, где Сервантес».

Это лестно, конечно, но это не я сказала, это серьезный ученый.

Ну, а в быту? Ирина Павловна его не встречала – не хотела. И меня отговорила: «Ну, куда ты на аэродром, с твоим животом», – я дохаживала последние дни перед декретным отпуском, муж был уже в экспедиции.

А надо было поехать! До сих пор жалею. Ведь знала, что надо, очень хотела, а послушалась так называемого «благоразумия». Что она не хотела – это ее дело, а мне надо было.

У них потом всё наладилось.

Хана, жена дяди Сережи, отцова младшего брата, говорила: «Если бы я рассказала, что я знаю, они бы разошлись, но я за сохранение семьи». Семья сохранилась. Только не у самой Ханы – они с дядей Сережей разошлись довольно скоро после его возвращения.

Ну, а с работой? Отец был восстановлен в должности в Аэрогеологии. Запись об исключении из списков в трудовой книжке была изменена. Получилось, что он непрерывно был главным геологом Северо-Тувинской экспедиции с 1 июня 1948 года по 2 августа 1954 года, а затем был переведен на должность начальника редакционной группы по подготовке к изданию государственных геологических карт, чем и занялся.

Рассказов, относящихся к этому времени нет. Хотя нет, в очерке «Встречи с барсом» рассказано о второй в жизни встрече со снежным барсом.

Это было в 1955 году в Туве. Приведу этот отрывок.

Вторая встреча с барсом

Вторая встреча произошла ровно через 20 лет, в Туве, в ее юго-восточном углу. Мы вдвоем, рабочий при караване Александр, местный уроженец, и я вышли в 15–20-дневный маршрут с целью посетить этот почти неизученный уголок Тувы. Он действительно глухой – даже начальник пограничной заставы, спрашивая меня о том, что видели, добавил:

– Знаете, мы в этот углу совсем не бываем, далеко уж очень, так что вы расскажите.

Тувинцы в эти места не заходят. На крайнем юге, где местность пониже, можно было увидеть следы монгольских зимовок. Сюда приходили монголы через границу, спасаясь от зимней бескорми-

цы в голой степи. Несколько полуодичавших лошадей бродило по здешним лугам. Их либо бросили больными, либо они отбились от табуна перед кочевьем. В другой стороне этого участка находится высокая холмистая степь, уже выше границы леса. Она никем не используется. Мы не видели на ней архаров, но дважды находили их черепа с огромными рогами. Судя по ним, это крупная раса, конечно, не чета памирской, но вряд ли уступит архарам Копет-дага или Тянь-Шаня. К несчастью, времени было в обрез и мы не могли проверить живут ли еще эти бараны здесь и кто виновник смерти виденных нами. Думаю – живут, вернее, жили в 1955 году.

Вот в этих местах, еще до того, как мы увидели одичавших коней, до того, как дошли до главной цели нашей экскурсии – долины, где были будто бы найдены в мраморах остатки древнейших (кембрийского периода) организмов и значит раньше того, как наткнулись на черепа архаров – мне пришлось второй раз увидеть барса. Встреча была еще более неожиданной, чем синьцзянская, первая, потому что я не думал, что барс заходит так далеко на север.

Мы шли по невысоким холмам местного нагорья. Для Тувы это значительные высоты – немного ниже двух километров. Деревьев мало – только рощицы берез. Трава на склонах уже желтела – был август. В траве – бесчисленные камни. Мы спускались к ручейку – до него оставалось метров полтораста. Вдруг прямо на нашем пути над одним из камней поднялась голова, а сам камень ударил себя хвостом по боку. Барс стоял над водой, он только что пил ее, и с явным неудовольствием оглядывал нас. Он не уходил, не стронулся даже, когда я слез с коня и поднял двустволку. Как же я жалел в эту минуту, что нет винтовки – такая цель и так близко. Стрелять из дробовика на такое расстояние – явная авантюра. Взял повыше его головы, и всё же пуля шлепнулась на землю у его ног. Прыжок, второй – и он скрылся среди кустов и камней. Мы пробовали найти его. Напрасно. Нашли его логово и остатки съеденных коз рядом. Так и ушли, и до сих пор я жалею, что не было винтовки. А барс был изумительно хорош – потревоженный хозяин этих мест, вероятно, никогда не встречавшийся с человеком и, надеюсь, не встретивший его больше до конца своей жизни.

А еще от этих времен есть альбом великолепных черно-белых фотографий Тувы и немножко фотографий людей, с кем там встретился и с кем работал. Снимки датированы и подписаны.

И есть воспоминания А. В. Ильина о совместных маршрутах той поры. Только Андрей Васильевич ошибается в датах. Привожу его воспоминания (не полностью и опуская неверные даты).

«По возвращении в Москву после второго срока заключения Юрий Михайлович, по-видимому, имел определенные трудности с трудоустройством. Двери академических институтов оказались для него закрытыми.

В это время региональные геологические исследования осуществлялись в основном под эгидой Всесоюзного аэрогеологического треста (ВАГТ)… Исполнителями работ были по большей части только что окончившие вузы геологи, еще не имевшие достаточного опыта для обобщения и корреляции полученных данных. Последнее оказалось необходимым для подготовки к изданию листов Государственной геологической карты… Ю. М. Шейнманну было предложено консультировать Тувинскую экспедицию, которая одной из первых приступила к подготовке карт к изданию. Геологи ВАГТа работали на востоке Тувы, в бассейнах Большого и Малого Енисея, на нагорье Сангилен, на юго-востоке Восточного Саяна.



Слева на переднем плане А. В. Ильин. Тува. 1958

Западная Тува картировалась геологами ВСЕГЕИ. Возникла необходимость увязки данных по западу и востоку, что очевидно возлагалось на Ю. М. Шейнманна, сохранившего связи с ленинградскими коллегами. <…> На прииске Нарын состоялась полевая встреча московских и ленинградских геологов. На этой встрече лишь с помо-



Ю. М. Шейнманн
«в поле»

Цветы тундры.
Фото Ю. М. Шейнманна





Вблизи Норильска. Щебневая пустыня



Поселок



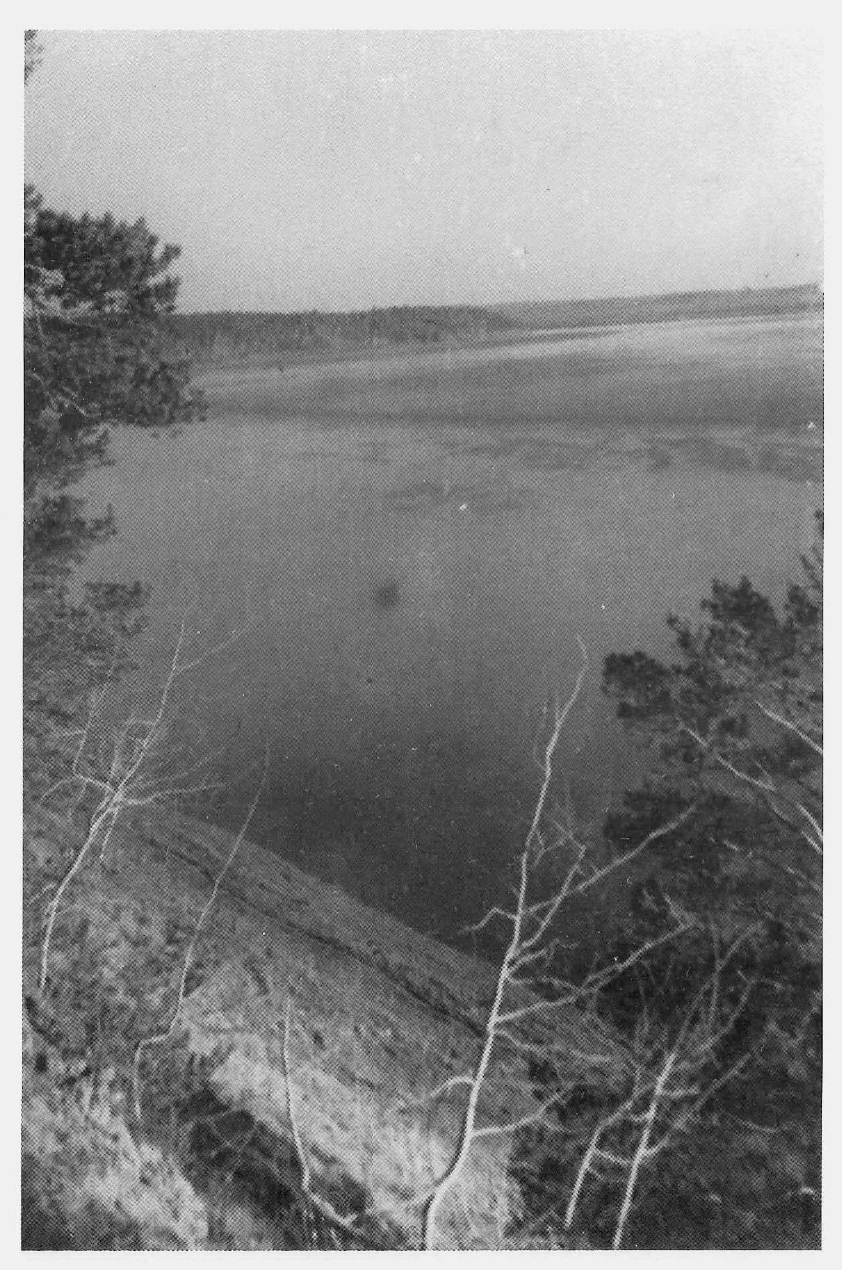
Ледоход



База экспедиции



Ангара. «Бык»



Ангара у Мотыгина

Поля у Мотыгина



Татарка. Начальник партии Е. И. Пельтек и коллектор Г. Ю. Гаген-Торн



«Илимка»

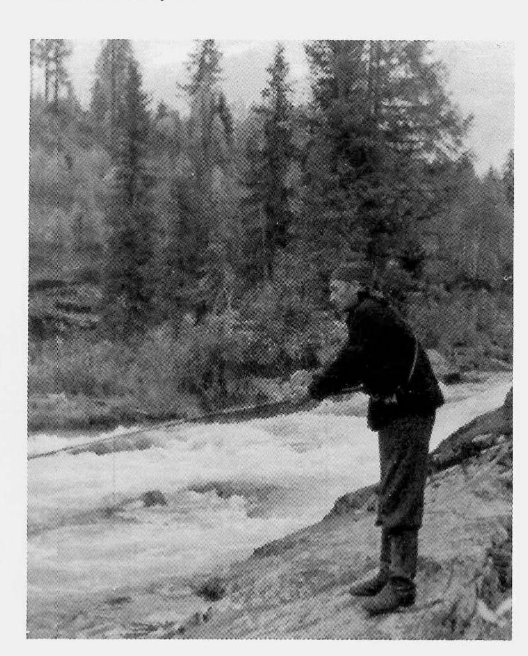


Караван экспедиции Желдорпроекта. Слева Ф. М. Бочевер



Тракт Абакан – Тува. 1948

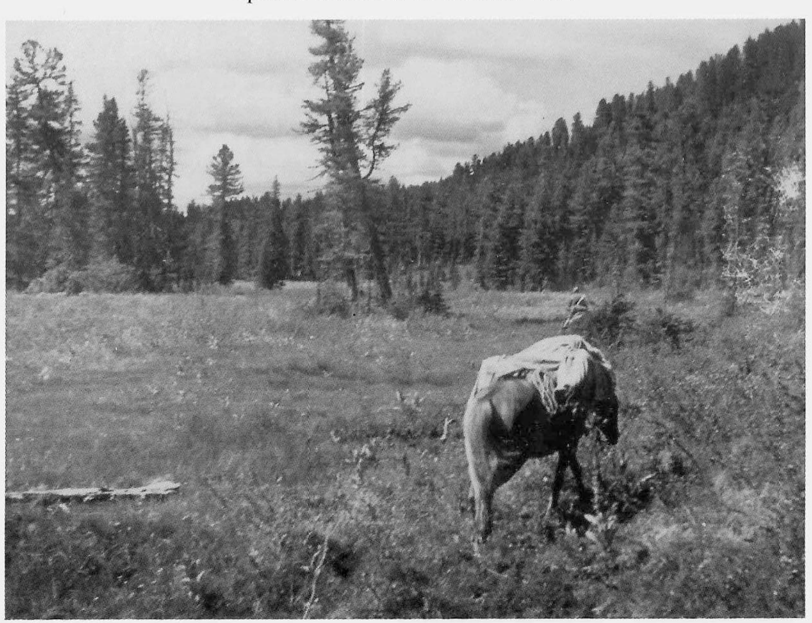
Куутайга. 1958



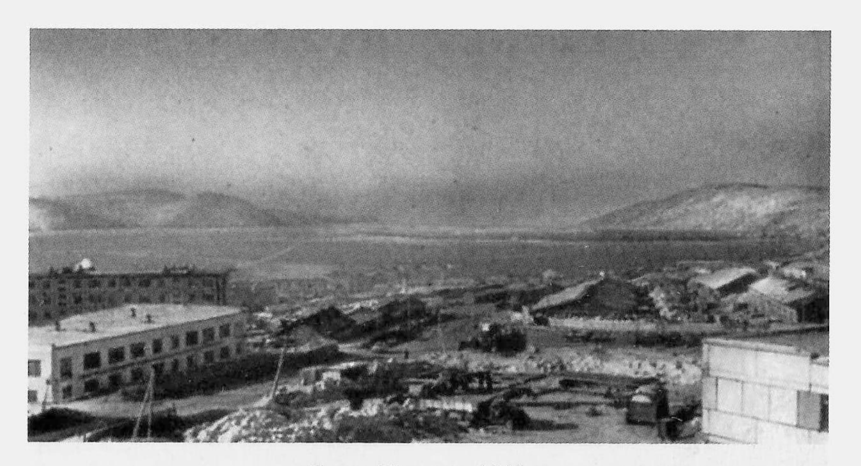
Рыбалка у Соругских водопадов. 1958

Северо-Восточная Тува. Субальпийские высокотравные луга на водоразделе рек Изиг-Суг и Чойган-Хем. 1958

В экспедиции. Второй слева Ю. М. Шейнманн, третий слева А. В. Ильин. 1958



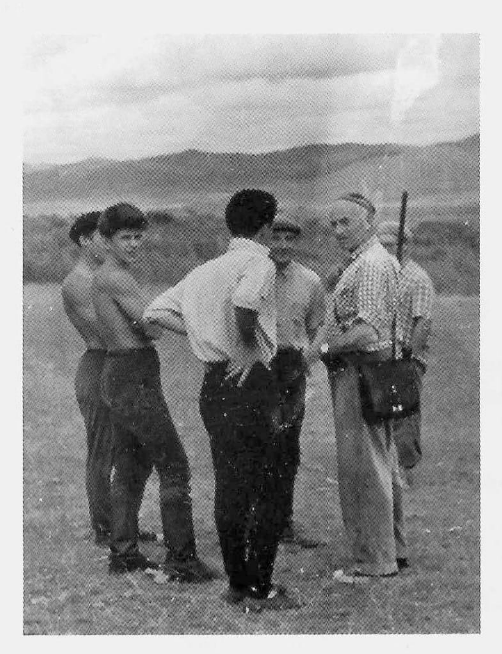
Завьюченная лошадь в долине реки Башхем. 1958



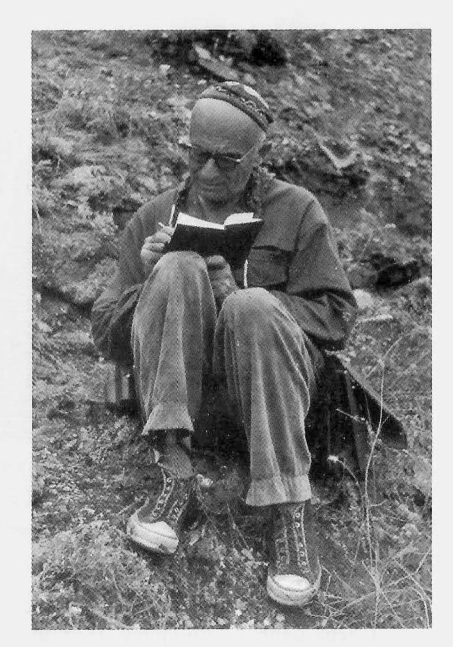
Бухта Нагаева. 1940-е



Магадан



Ю. М. Шейнманн
в Западном Забайкалье. 1964



В Западном Забайкалье. 1964



В. Е. Хаин и С. В. Обручев на Байкале. 1966



На Байкале во время экскурсии после совещания по верхней мантии. Слева направо по кругу: Н. А. Флоренсов, стоят Е. В. Артюшков, Ю. М. Шейнманн, В. В. Белоусов, крайний справа Б. А. Петрушевский. 1966

щью Юрия Михайловича удалось установить взаимопонимание с излишне темпераментным А. Л. Додиным – отцом знаменитого теперь театрального режиссера. Чтобы попасть в Нарын, нам пришлось верхом под дождем и ветром преодолеть около 50 км».

Что было сделано за это время? В Туву для увязки и консультаций партий он выезжал трижды: в 1955, 1956 и 1958 годах. Андрей Ильин пишет, что самым трудным был выезд в поле в 1958 году. Путешествие (верхом, с сопровождавшим их караваном вьючных лошадей) длилось около месяца и охватило значительную часть Восточной Тувы: верховья Б. и М. Енисея, Тоджинскую котловину, перевал через Восточный Саян в верховья Тиссы (правый приток Оки). Основные наблюдения были сделаны в бассейне Айдыга, Одума и Тиссы. Отцом была предложена новая схема расчленения докембрия этого района, отличавшаяся от схемы Обручева, что и было подтверждено позднейшими работами. А еще оба, и Ильин и отец, азартно спиннинговали на Тоджинских озерах, окончив трудный маршрут.

Ведь всем в экспедиции было известно, что Ильин – заядлый рыбак, в любую свободную минуту, заломив свою кепку с раздвоенным козырьком, кинется на ловлю и через некоторое время в лагере раздастся его клич: «Бабы, остервенись на рыбу!» – ведро рыбы у него за улов не считается.

Они расстались в Тодже. А потом отец еще был во многих полевых партиях (Шенкмана, Лукьяновича и т. д.).

Стихи Ю. М. Шейнманна:

Тоджа

Солнце светлое в березах,
Красны лиственниц стволы, –
Это верно только грезы
Старушенции Земли.
Бирюза вверху. Она же
В ширине больших озер,
Будто отразилась дважды,
Как вершины дальних гор.
И светло в груди и тесно.
Не понять сегодня мне –
Где же всё-таки чудесней –
На воде или в траве.

Но пора было всё-таки переходить в научное учреждение. Он переводится в ВИМС на должность начальника отдела научно-технической информации, а с августа 1957 года он старший научный сотрудник, доктор наук. Здесь он изучает геологическую приуроченность и закономерности минерализации щелочных изверженных пород, то есть продолжает работу над тем, что он открыл в Норильске. Выпускает совместно с Ф. Р. Апельциным и Е. А. Нечаевой две работы. А еще много и серьезно работает над иностранными источниками. Редактирует переведенные на русский язык книги Дю Тойта «Геология Южной Африки», Л. Коэна «Геология Бельгийского Конго», Ф. Дикси «Великие Африканские разломы» и др. Пишет к ним предисловия и послесловия. Всё это несколько необычно для ВИМСа. Но о его работе там и отношению к нему лучше, чем я, скажет адрес, который написали ему на прощание, когда он уходил:

Дорогой Юрий Михайлович,

Коллектив расстается с Вами с большой грустью. Вы принесли с собой необычное для нас чувство чуточку ворчливо-хозяйского отношения ко всему нашему старенькому, сильно потресканному, но очень уютному земному шарику, и как-то всегда весело и немножко головокружительно делается, когда рядом с привычными нашему уху названиями Саяна, Тувы, Алдана звучат так же просто слова Килиманджаро, Тимбукту, Эльдорадо, Голконда. От этого появляется ощущение простора, близости и ощутимой реальности самого дальнего и веришь, что на Земле есть Африканские разломы, карбонатиты Букусу, Премьер и даже, пожалуй, жирафы. Может это и понятно, что Вам показалось не очень уютно среди кротов, роющих землю, и наших ужасно узких представлений о пространстве, ограниченном закопушками, штокверками и уж никак не идущего далее северо-восточного обрамления Сибирской платформы. Понятно, но грустно. Хочется, чтобы Вы не исчезли совсем с наших горизонтов и время от времени показывали нам всю Землю на ладошке.

Это послание мало похоже на официальный адрес, но Вы сломали столько копий о мельничные крылья рутины и косности, что рука не поднимается писать по-другому.

Дорогой Юрий Михайлович, желаем Вам привычных дальних полетов на Земле и первых шагов землянина в марсологии, лунологии и прочей космологии!

А закончим, пожалуй, самым простым и человечным пожеланием – здоровья и хорошего настроения!

19 ноября 1960 года

Гинзбург, Эпштейн, Хрущов, Новиков, Кудрин, Лавренев, Суетнова и др. (всего 50 подписей)

В 1955 году в Записках Всесоюзного минералогического общества вышла его большая статья «Некоторые геологические особенности ультраосновных и ультращелочных магматических образований на платформах». В статье было авторское примечание:

«По независящим от автора обстоятельствам опубликование этой статьи задержалось лет на шесть».

Значит, статья была написана еще до ареста, до Колымы.

Доктор геолого-минералогических наук В. В. Жданов пишет:

В 1957–58 годах я обратил внимание на целую серию статей моего нового знакомого, появившихся в различных журналах. Статьи эти удивляли, прежде всего, разнообразием тематики. Они были посвящены то щелочному магматизму Сибирской платформы, то докембрию Тувы, либо геологической истории Кордильер, складчатым системам Азии или Тихоокеанского пояса. Эти публикации привлекали внимание оригинальностью подхода к разнообразным проблемам геологии и глубиной осмысления материала.

Чувствовался большой опыт исследователя, стоящий за этими работами. Позже я понял, что это был «взрыв освобожденной мысли». Автор старался донести до нас всё то, что он обдумывал долгие годы вынужденной изоляции, донести свои «размышления на лесоповале». Интересно, что разнообразие тематики уже тогда начинало укладываться в единую концепцию о тесной связи тектоники и магматизма, нового научного направления на стыке двух геологических дисциплин, которое Юрий Михайлович разработал уже в Институте физики Земли.

Всего за годы работы в ВАГТе и ВИМСе было опубликовано 34 работы, в том числе одна монография, три предисловия и послесловия к переведенным книгам, рецензия и 28 статей, из которых 4 или 5 по текущей геологической работе, одна публикация доклада, сделанного в 1937 году на геологическом конгрессе и убранная из трудов конгресса в связи с арестом, Большинство же работ – теоретические, задуманные еще в Магадане.

Продолжаю заметки В. В. Жданова:

В конце пятидесятых годов Ю. М. стал систематически приезжать в Ленинград. Ведь он был одним из блестящей плеяды выпускников Горного института второй половины двадцатых годов... Начинал Ю. М. свою геологическую деятельность в ЦНИГРИ (тогда еще в Геолкоме. – *Г. Г.*), поэтому коллектив ВСЕГЕИ (бывшего Геолкома – ЦНИГРИ) не был для него чужим. Во ВСЕГЕИ Юрий Михайлович прочел несколько лекций по проблемам региональной геологии, магматизма и тектоники. Эти лекции собирали полную аудиторию и привлекали внимание не только глубиной содержания, но легкостью и непосредственностью изложения. Ю. М. был прирожденный лектор, который всегда находил тесный и дружественный контакт со слушателями, а рассказать ему было что. Он имел большой и продуктивный опыт полевых исследований. Работая на севере Якутии, он открыл крупный щелочно-ультрамафитовый платиноносный Гулинский массив и затем выделил Сибирскую щелочную магматическую провинцию. Собственно выделение этой провинции послужило основой для высказанного В. С. Соболевым предположения о развитии здесь алмазоносных кимберлитов…

Ю. М. участвовал в открытии никелевого месторождения Талнах – на его столе стояла полировка образца Талнахской руды, присланная из Норильска, с выгравированным на ней посвящением ему, как одному из первооткрывателей.

Полевые наблюдения, проработка большого литературного материала позволяли ему создавать строго аргументированные научные построения по геологической истории различных регионов, анализировать связь структур земной коры с глубинными, мантийными процессами.

Очень жалко, что московские вузы не использовали его талант лектора и огромную эрудицию. Думаю, что целое поколение студентов-геологов могло бы получить от него много полезного и интересного.

Что же он сделал за эти годы по возвращении из Магадана? Он внес новые представления в науку о происхождении складчатых поясов и эволюции платформ, освободив мысль от общепринятых тогда догм. Больше всего его ум занимали эти вопросы – вопросы тектоники и вопросы магматизма, особенно их взаимосвязь. О новаторстве Ю. М. в этой области говорят в своем предисловии

к его избранным трудам член-корреспондент АН В. В. Белоусов и профессор Б. А. Петрушевский. Многие из его идей, претерпев некоторые изменения, стали потом общепринятыми, другие остались дискуссионными. Три его основных разработки, очень важные, своевременно не прозвучали из-за арестов, когда все работы осужденного изымались из печати, а за рубежом вообще остались неизвестными: это высказанная в 1937 году мысль о различии геологической истории Тихоокеанского и Атлантического сегментов земной коры, разработка условий проявления ультраосновного и основного магматизма на платформах и то, чем он занимался в последнее время в Магадане и что он писал в то время, о котором идет речь, – связь тектоники и магматизма.

Глава 13

В ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ

Переход

В конце 1960 года Юрий Михайлович переходит в Институт физики Земли. Об этом периоде его жизни воспоминаний много, особенно его сотрудников и сослуживцев. Так что мне писать почти не приходится.

Я его видела редко, главным образом на различных докладах, совещаниях, конференциях. Дома у них почти не бывала – боялась обидеть маму. А он бывал у нас регулярно по всем «табельным дням» (дни рождения и пр.). Несколько раз я была у них на даче в Черной Грязи и под Загорском. Словом, виделись мы редко. Но внутренняя связь не прерывалась.

Как произошел переход, я рассказываю со слов руководителя лаборатории геодинамики профессора, члена-корреспондента АН Владимира Владимировича Белоусова в пересказе Виктора Николаевича Шолпо:

> «Как рассказывал В. В. Белоусов, Шейнманн позвонил ему, увидев объявление о конкурсе на должность старшего научного сотрудника в нашу лабораторию. «это действительно конкурс или очередной срок переаттестации конкретного сотрудника?» – спросил он. «Ну, конечно, это мнимая вакансия. А что, вы хотели бы перейти в наш институт?» Шейнманн работал тогда в ВИМСе, учреждении полузакрытом, и для его сотрудников, вовлеченных в работу по разным темам, связанным с минеральным сырьем, была сильно ограничена возможность публикаций и участия в разных конференциях и совещаниях. Кроме того, Белоусова и Шейнманна связывали воспоминания о совместной работе в Геолкоме (ВСЕГЕИ) у М. М. Тетяева, учениками которого они были. Белоусов ответил Ю. М., что если он хочет попасть в ИФЗ, то это особая ситуация и конкурс тут ни при чем. Он тут же поговорил с М. А. Садовским, тогдашним директором ИФЗ, и ставка для Юрия Михайловича немедленно нашлась.

С появлением Юрия Михайловича в лаборатории развернулись работы по новому научному направлению – магматизм и тектоника, прежде бывшему как бы в стороне от интересов тектонистов. Постепенно образовалась группа сотрудников, и началась работа по широкому спектру тем, связанных с эволюцией вещества, одного из существенных критериев эндогенных режимов».

Как работалось в ИФЗ. Сотрудники и сослуживцы

У отца впервые появилась возможность полностью отдаться работе по той тематике, которая его интересовала, не отвлекаясь на административные и хозяйственные заботы. А это счастье для ученого.

Группа сотрудников образовалась постепенно. Первым появился Артур Яковлевич Салтыковский. Он пишет об этом так:

«Но вот, неожиданно для меня, в ноябре 1960 года В. В. Белоусов приглашает Ю. М. Шейнманна в свой отдел Института физики Земли... Белоусов в то время испытывал острую необходимость в общении с геологами, которые хорошо представляли процессы магматизма. И то, как условия магмогенеза и вещественный состав различных расплавов связаны с эндогенными тектоническими режимами, а через них со структурами земной коры... И Юрий Михайлович с его огромным опытом для практической работы в различных районах страны, знанием особенностей магматизма во всех его проявлениях, а самое главное – по своим человеческим качествам... являлся именно той фигурой, которая подходила Владимиру Владимировичу. <...>

Через несколько месяцев Ю. М. делает доклад на одном из научных семинаров нашего отдела (сейчас я даже не помню, как точно назывался этот доклад). После обычных вопросов и обсуждения, выступлений сотрудников лаборатории, Ю. М. обращается к руководителю семинара Владимиру Владимировичу Белоусову и говорит, что ему хотелось бы создать небольшую группу в рамках отдела, где можно было бы ставить и решать некоторые вопросы, связанные с магматизмом и структурами отдельных регионов. Белоусов ответил: «Юрий Михайлович, с единицами сейчас очень плохо и создать такой коллектив практически невозможно, но попытаюсь поговорить с директором ИФЗ академиком М. А. Садовским и, надеюсь, он нам поможет. Правда у нас в институте, хотя и в другом подразделе-

нии – отделе эволюции Земли, работает молодой человек Салтыковский, по образованию геохимик, который очень хочет заниматься магматизмом и можно бы попробовать его перевести к нам».

Ю. М., естественно, согласился, этот вариант его очень устраивал. А для меня это была необыкновенная удача, о которой можно было только мечтать. Но ведь ни один завлаб свою единицу просто так не отдаст, даже при всем своем глубоком уважении к Белоусову… поэтому оставался только один путь – поступать в очную аспирантуру к Юрию Михайловичу Шейнманну. С одной стороны, это было здорово – ни на что не отвлекаясь, заниматься полностью своей работой, а с другой – через три года оказаться без работы, так как, если не будет единиц, в штат Института попасть будет не так-то просто. Юрий Михайлович тогда сказал: «Артур, соглашайтесь, спокойно работайте, а потом мы что-нибудь придумаем». Я посмотрел на Юрия Михайловича – у него была такая уверенность в его добрых карих глазах, что я без колебаний написал заявление и, успешно сдав вступительные экзамены, был зачислен в очную аспирантуру Института физики Земли.

Впоследствии, через несколько лет, в группу, которой руководил Юрий Михайлович, были приглашены известный петролог – геохимик Б. Г. Лутц, а также петрологи Г. Н. Баженова и А. Н. Леонтьев, в разное время работавшие в ИМГРЭ. Это был уже коллектив, который мог решать серьезные задачи, связанные с проблемами соотношения магматизма и тектонических структур. Началась новая, ни на что не похожая, интересная жизнь. Юрий Михайлович был неистощим на новые идеи, он старался не пропустить ни одной свежей публикации, ни одной новой монографии по геологии».

Г. Н. Баженова вспоминает:

«С Юрием Михайловичем Шейнманном я познакомилась в конце 1969 года, когда Виктор Николаевич Шолпо просто привел меня в Институт физики Земли и представил ему.

Помню солнечный день, комнату 122, стол в правом углу у окна, на краю стола скромные бутербродики – Юрий Михайлович собирался перекусить. Чувствовала я себя скованно, не знала, как говорить, а Юрий Михайлович спокойно предложил попить с ним чайку – «не стесняйтесь», – и как-то просто снял напряженность, я сразу же

освоилась, и мы стали обсуждать не столько проблемы анортозитов, которыми я тогда занималась, сколько мою будущую работу в лаборатории. А по проблеме анортозитов он сделал мимоходом два небольших замечания на таком уровне, что можно было подумать, что именно над этой проблемой он и работает. И тут же сразу предложил проводить эксперименты при высоких температурах и давлениях на базе лаборатории во ВНИИАЛМАЗе, возглавляемой в то время Юрием Семеновичем Геншафтом. Юрий Михайлович сказал, что экспериментальные работы идут медленно, что нужен петролог именно на экспериментальные работы и как можно скорее, прямо сразу же. На этом Юрий Михайлович очень настаивал. Такой напор меня смутил, так как мне нужно было время, чтобы перестроиться: экспериментами я никогда не занималась, была полевиком с уже почти с 15-летним стажем и, честно говоря, очень заколебалась, так как боялась не оправдать возлагаемых на меня надежд, да и не мыслила работы без поля. Человек дела, Юрий Михайлович почти на следующий день был на приеме у вице-президента АН СССР А. П. Виноградова, обосновал необходимость расширения работ, выхлопотал штатную единицу. И вот в конце января 1970 года я стала научным сотрудником группы Ю. М. Шейнманна. Юрия Михайловича давно уже интересовала проблема происхождения магм ультраосновного щелочного состава. С этой проблемой он столкнулся еще в 1946–47 годах, начав ее разработку с выделения новой петрографической провинции на севере Сибирской платформы. Анализ материалов по щелочным породам привел его к обоснованию существования самостоятельной магматической формации ультраосновного щелочного состава, связанной со структурами платформенного типа. Под руководством Юрия Михайловича на первых порах я знакомилась с литературой по ультраосновным щелочным породам, с которыми надо было проводить эксперименты – опытнее плавки при высоких температурах и давлениях. В МГРИ, который я кончала, мы мало занимались ультраосновными щелочными породами, а на практике я вовсе с ними не сталкивалась. Удивительно строгое и одновременно доброе, бережное отношение к людям Юрия Михайловича вдохновляло в работе. Он был истинно интеллигентным, подкупающе прямодушным человеком, всегда спокойно направлял».

Стиль работы. Общение с коллегами

Г. Н. Баженова:

«Юрий Михайлович принадлежал к числу ученых-энциклопедистов. Энциклопедичность Юрия Михайловича проявлялась во всем: и в дискуссиях, и в обсуждениях на докладах, в разговорах. С ним было необыкновенно интересно беседовать. Особенно запомнился мне разговор-спор Юрия Михайловича с Львом Павловичем Зоненшайном. Оба они с таким блеском вели дискуссию, полемизируя, уточняя друг друга, перекидываясь отдельными деталями и фактами по геологии, магматизму и тектонике континентов, океанов, островов и островочков, названия последних, затерянных где-то в мировом океане, я слышала чуть ли не впервые, не говоря уж о геологическом их строении.

С большим интересом Юрий Михайлович встречался с геологами разного профиля: тектонистами, петрологами, экспериментаторами, геохимиками, подчас и не поддерживающими его взгляды, но ему были интересны факты, о которых они рассказывали, система логики их рассуждений. Помню, он долго разговаривал у нас в комнате с Львом Павловичем Зоненшайном. Потом еще около часа спорил с ним в коридоре, с глазу на глаз. А когда вернулся, с сожалением, даже вздохнув, сказал: «светлая голова, а в голове...» – не буду повторять здесь не очень лестных слов в адрес Льва Павловича. Но всё же, несмотря на расхождения во взглядах, Юрий Михайлович представил Л. П. Зоненшайна В. В. Белоусову, убедил его заслушать доклад Льва Павловича на семинаре отдела. И он был заслушан. С пристрастием.

Очень доброжелательно Юрий Михайлович встретил Б. Г. Лутца, который дал позднее свою докторскую диссертацию на оппонирование Юрию Михайловичу».

Мне отец как-то сказал: «посматриваю себе замену», и очень вероятным считал именно Б. Г. Лутца.

Полевые работы

Муза дальних странствий. Так назвал ее любимый Юрием Михайловичем поэт Гумилев.

Мы с тобою, муза, быстроноги.
Любим ивы вдоль большой дороги,

Мерный скрип колес и, вдалеке,
Белый парус на большой реке...

И не только это, а и приметы более диких странствий: скрип седла, запах дыма далеких костров, туго натянутый брезент палатки, стук молотка о камень... «Муза дальних странствий»... А попросту «бродяжий дух».

И, если он поселился в доме, никакими ароматами, никакими яствами и удобствами его не выжить. И немолодой уже академический ученый рвется «в поле», как девятнадцатилетний мальчишка.

А потом жалуется врачу: «Что-то сдавать стал – прошел 10 км с рюкзаком по болоту и выдохся».

Так было и у отца. В ИФЗ он пришел на исходе шестого десятка. Всякие конгрессы, конференции часто сопровождались геологическими экскурсиями. Но и этого мало. Были и настоящие полевые работы. О Юрии Михайловиче – полевике вспоминают те, с кем он бывал в поле в эти годы.

Валерий Васильевич Жданов:

«В 1961 году я рассказал Ю. М. о своих работах вместе с талантливым геофизиком, профессором Горного института И. В. Литвиненко по изучению глубинного строения Балтийского щита, сделав акцент на исследовании архейского гранулитового комплекса. Я тогда высказал предположение, что этот комплекс является аналогом гранулито-базитового слоя земной коры или же выступом этого слоя. Ю. М. заинтересовался этими работами, ведь уже тогда зрела его книга «Очерки глубинной геологии», вышедшая в 1968 году. И выразил желание поехать со мной в поле – на Кольский полуостров. Эта совместная, хоть и краткая, полевая работа привела к тому, что я был окончательно покорен Юрием Михайловичем.

В 1962 году мой небольшой отряд работал в Русской Лапландии в центральной части гранулитового блока. Мы плавали по системе озер Акка и Юля-ярви на большом надувном понтоне и разбивали лагеря в живописных местах на берегу этих озер. В маршруты с Юрием Михайловичем мы ходили вместе, я боялся упустить хотя бы час общения. Несмотря на то, что к этому времени мой полевой опыт был уже достаточно большой, но талант наблюдателя Ю. М. позволил мне увидеть много нового в «обычных» фактах. Интересно, что Ю. М. в маршруте успевал обобщать наблюденный материал и предлагать варианты геологических

моделей, детальный разбор которых проводился вечером у костра. Каждый геолог-полевик знает, сколь интересны бывают эти беседы! Однако к полуночи я начинал клевать носом и заползал в спальный мешок. Сам Ю. М. спал мало, он шутил, что слишком много времени им, по независящим от него обстоятельствам, было потрачено непродуктивно, и поэтому на сон надо тратить минимум времени. В тот полевой сезон в нашем отряде работал писатель Глеб Горышин, очарованный Юрием Михайловичем не менее остальных. И вот эта пара удалялась от палаток метров на 100 (чтобы не мешать остальным), разжигала новый костерок, кипятила крепкий чай и их беседа продолжалась еще несколько часов, благо светило полярное солнце и ночи как не бывало. Жалко, что Г. Горышин ничего не написал о Ю. М., хотя им была опубликована о нашем житье-бытье целая повесть. Он сказал, что личность Ю. М. ослепила его и он не смог написать так, как хотел бы, а «между прочим» писать о таких людях невозможно. Сейчас я, когда пишу эти воспоминания, прекрасно его понимаю.

Еще одной привлекательной чертой Ю. М. были его аккуратность и бережное отношение к вещам. Палатка должна быть поставлена идеально, около палатки всегда должно быть чисто, для каждой вещи есть свое место, снаряжение подогнано – это не была пустая педантичность, а результат суровой жизненной школы. Иногда он своей аккуратностью даже смущал нас. Однажды рано утром я выглянул из палатки и увидел, что Ю. М. методично вышагивает по берегу озера и что-то за собой таскает. Оказывается, он нашел небрежно брошенный нами скрученный канат и вот таким образом, таская канат по песку, приводил его в порядок. А кончив свою «прогулку», он аккуратно свернул канат в бухту и положил в понтон.

После этого полевого сезона наши встречи с Ю. М. стали систематическими и всегда сопровождались для меня очень ценными беседами. В середине 60-х годов я подготовил книжку о гранулитах Русской Лапландии. Ю. М. внимательно ее прочел, предложил расширить раздел по петрофизике горных пород и сделал еще ряд серьезных замечаний. Когда эта книжка вышла, он предложил мне ее переработать в докторскую диссертацию. В процессе этой квалификационной работы я всё время пользовался консультациями Ю. М. Поэтому, когда дело дошло до

защиты, он отклонил свою кандидатуру как официального оппонента – в этом в очередной раз сказалась его принципиальность. Он считал, что оппонировать можно только в том случае, если ты не имеешь отношения к этой работе. Однако на защите в ИГЕМе, которая проходила нелегко, Ю. М. активно поддержал меня и даже, на правах однокашника, позволил нелицеприятный выпад в адрес уважаемого им Д. С. Коржинского, который высказал нелестные соображения о моей работе.

Деловые отношения постепенно переросли в дружеские, и очарование Ю. М. распространилось на всю мою семью. Когда он приходил к нам домой, то мои дети, еще совсем молодые люди, отменяли все свои свидания и развлечения и усаживались около Ю. М., готовые внимать ему до бесконечности. Столь же трепетное отношение проявляла к нему моя жена. <…>

Вспоминать о Юрии Михайловиче и радостно и грустно. Радостно, что повезло встретиться и познакомиться с таким Человеком-Рыцарем, утверждающим Жизнь, мудрым наставником и великим оптимистом, человеком, который навсегда остался для меня эталоном добросовестности и принципиальности. Грустно, что в своей жизни мне не удалось больше встретить такого Человека – потеря осталась для меня невосполнимой».

Виктор Николаевич Шолпо вспоминает:



«…Когда в новой концепции придали особое значение офиолитовым комплексам, считая их реликтами палеоокеанов, Ю. М. попросил меня выделить какое-то время в работе нашего отряда на Кавказе, чтобы посмотреть с ним вместе выходы офиолитов на Малом Кавказе. Такая поездка состоялась. Встретили мы Ю.М. в Тбилиси, оттуда проехали в азербайджанскую часть Малого Кавказа, на р. Тетер, а затем в Ереван, откуда вместе с армянским геологом Гайком Казаряном отправились в Вединскую зону офиолитов (в долине Аракса) и Севанскую зону (продолжение выходов офиолитов на Тетере). В этой поездке Юрий Михайлович был неутомим, с азартом ходил в маршруты, лазил по горам, невзирая на возраст. Желание понять и разобраться в очень непростых структурных взаимоотношениях различных комплексов формации, найти признаки

генезиса вулканитов, масса других вопросов постоянно обсуждались, и Ю. М. постоянно прикидывал, как и кем можно было бы затеять серьезные детальные работы, которые бы внесли ясность в природу этих образований».

И еще отец принимал участие в полевых работах своего аспиранта. И в смысле устройства этих работ, договоренности с руководством экспедиций, и личное участие в трудных полевых работах.

Артур Яковлевич Салтыковский вспоминает:

«Мне очень повезло, что два раза (хоть и ненадолго) Юрий Михайлович приезжал ко мне в экспедицию в Забайкалье. Первый раз это было летом 1966 года, когда мы объехали Южное Прибайкалье – Гусиное озеро, побывали на Джиде, в междуречье Хилка и Чикоя, где можно было увидеть сплошные поля мезозойских вулканитов. Оказалось, что присутствие Ю. М. в моем отряде было для меня школой практической геологии, хотя к тому времени у меня был уже достаточно большой опыт полевой работы – Карелия, сибирские траппы, Колыма, Кавказ. Сколько ценного я смог почерпнуть из общения с ним в поле! Например, в областях развития вулканогенных пород в Забайкалье с его среднехолмистым рельефом и с исключительно редкими выходами коренных пород чрезвычайно сложно проводить картирование. Иногда единственная возможность обозначить на карте или схеме породы – это камешки и обломки, которые вытаскивают из своих нор аборигены степей суслики или тарбаганы. Ю. М. рассказал мне тогда, как с этой задачей справлялись в свое время В. А. Обручев и М. М. Тетяев, составлявшие в разные годы в этих местах геологические карты. Обручев брал пустые белые мешочки для образцов и вбивал их колышками в тех редких точках, где были высыпки коренных пород (в том числе и норы сусликов), а затем верхом на лошади отъезжал примерно на 500–600 метров, и вот тогда начинали вырисовываться складки, небольшие структуры и становилось легче проследить взаимоотношения различных пород. Этот способ мы часто использовали, работая в этих местах, благодаря советам Юрия Михайловича.

В поле Юрий Михайлович, хотя мы и пытались его оградить от тяжелых физических работ, старался выполнять всё то же, что и мы все: ставил палатку (причем

внимательно следил, чтобы она была идеально натянута), разжигал костер, паковал баульные мешки и после маршрутов выполнял обычную коллекторскую работу (отбивал образцы, наклеивал этикетки, заворачивал образцы в оберточную бумагу и т. д.). Чувствовалось, что он соскучился по полевой работе и делал всё с большой любовью. Я удивлялся и восхищался, как всё у него красиво и элегантно получалось. Он старался не вмешиваться в распоряжения, которые давал начальник отряда, считая, что этим может подорвать его репутацию среди сотрудников. Незабываемы были вечерние разговоры у костра, сколько воспоминаний о своей полевой жизни поведал нам Ю. М.!

Окончание полевого сезона мы с Ю. М. провели на восточном побережье озера Байкал, неподалеку от полуострова Святой Нос, куда Юрий Васильевич Комаров пригласил Ю. М. поохотиться на уток.

Ю.М. был заядлым охотником и рыболовом. <...> Тот, кто бывал по роду своей работы в поле, прекрасно знает, что почти каждый геолог становится охотником и рыболовом, поскольку жизнь в тяжелых (особенно таежных) условиях заставляет заниматься этим промыслом, так как другой возможности прокормить себя и своих товарищей порой не бывает. А Ю. М. был во всем увлекающейся натурой, и он с огромной радостью принял приглашение Комарова поехать в район Усть-Баргузина, где как раз начинался сезон охоты на уток. Они с Комаровым, чтобы сократить путь, добирались туда на вертолете, а мы с Сашей Киселевым прошли всю ночь на моторной лодке до места нашей встречи, так как всех вертолет взять не мог. Поздней ночью, часа в два, мы добрались до избушки, где остановились Юрий Михайлович и Комаров. Несмотря на позднее время, а выходить на охоту нужно было ранним утром, я тогда увидел, с каким увлечением и профессионализмом Юрий Михайлович подбирает ружье, проверяет патроны и всю охотничью амуницию. И его результат оказался самым высоким из всех наших – 15 уток и 2 гуся. Надо было видеть, каким счастьем светились тогда его глаза. Улетая в Москву, Ю. М. сказал мне тогда, что давно не испытывал такого удовольствия.

Второй раз, в 1968 году, Юрий Михайлович прилетел ко мне в поле, когда я работал на левом притоке р. Витим – Большом Амалате, изучая разрезы щелочных базальтов

Витимского плоскогорья. (Значит, ему было уже 67 лет! – *Г. Г.*) Я встретил его в Чите, дальше мы на машине доехали до поселка Ромашево, к северу от которого стоял наш лагерь. Работать здесь можно было только на лошадях, а в то время очень сложно было арендовать вьючных животных. Единственный колхоз, где можно было это сделать, находился в Богдарино, причем хороших лошадей нам давать не хотели, считая, что на такой, как у нас, работе сгодятся любые. (Просто боялись, что вы лошадей угробите – *в тайге, да еще городские. – Г. Г.*)

Пришлось мне согласиться на 2 старые клячи и кобылу, которая вот-вот должна ожеребиться».

Доклады и конференции

В эти годы отец принимает активное участие в многочисленных симпозиумах, конгрессах, конференциях, совещаниях, если они касаются близких ему тем, часто выступает с докладами, всегда вызывающими живейший интерес геологической общественности. Общительный по природе, он живо откликается на всё новое. А кроме того, сказывается нехватка научного общения в предыдущие годы. Я часто бывала на этих конференциях, если они происходили в Москве, а я была не «в поле».

Артур Яковлевич Салтыковский вспоминает:

«В 1970 году Юрий Михайлович подготовил пленарный доклад на традиционном, проводящемся ежегодно в здании МГУ, тектоническом совещании, на котором хотел представить свои новые идеи о связи магматизма с термикой и различными тектоническими структурами. Опубликованные перед совещанием тезисы его доклада предвещали интересные и оригинальные решения некоторых вопросов тектоники и магматизма, и геологическая общественность, как обычно, с нетерпением ждала доклада Юрия Михайловича. Вообще выступления и публикации Шейнманна всегда привлекали огромное внимание и вызывали интерес, в какой бы аудитории это ни происходило.

За несколько дней до начала совещания Ю. М. положили в больницу Академии наук (Ляпуновку) с сердечным приступом. Юрий Михайлович страшно переживал, так как очень хотел сделать именно этот доклад, послушать критику, пообщаться с коллегами...»

Дальнейшее я расскажу сама, так как я, как всегда, была на этом совещании, сидела в зале и видела реакцию публики.

На Тектоническом совещании в МГУ, на его пленарном заседании в аудитории 02 должны были состояться доклад А. А. Богданова, уж не помню с каким соавтором, и доклад Ю. М. Шейнманна.

Председательствующий объявил, что первый доклад не состоится ввиду болезни одного из авторов (Алексей Алексеевич Богданов сидел в зале), а следующий доклад Ю. М. Шейнманна будет, хотя в настоящий момент автор лежит в больнице. Артур включает магнитофон и, под мягкий баритон Юрия Михайловича, водит указкой по слайдам, выделяя те структуры и схемы, о которых идет речь. В зале раздаются аплодисменты. Затем всем желающим предлагается задавать вопросы (в письменной форме). Артур отвозит записки в больницу и назавтра с трибуны зачитываются ответы.

Ю. М. участвовал во многих конференциях и симпозиумах не только в Москве, но и в Ленинграде, в Баку, в Средней Азии, на Урале, на Байкале.

Я уже приводила выше воспоминания В. В. Жданова о том, каким успехом пользовались его выступления в Ленинграде. Там, в родном ему ВСЕГЕИ и Горном институте, он бывал часто. Одну из последних таких поездок вспоминает его сослуживец Е. М. Рудич, с которым он бывал вместе и на Тихоокеанской конференции.

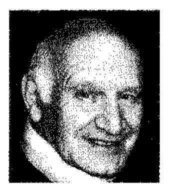
Г. Н. Баженова вспоминает о совместной поездке в Баку:

> «Вместе с Юрием Михайловичем я участвовала в 4-м Петрографическом совещании в г. Баку, городе, где прошли его детские годы. Он много ходил по городу, а когда мы плыли на пароходе на экскурсию на Нефтяные Камни, он рассказывал о своем детстве, родителях. Мы пошли смотреть, как играют в нарды. Он только внимательно следил за игрой, сам не играл».

Только за границу его всё-таки не пускали. Был только в Болгарии и был делегатом несостоявшегося Геологического конгресса в Праге, когда туда вошли советские танки. Его воспоминаний об этих поездках не сохранилось (и не было?), а фотографии поездок по Союзу – есть.

Коллеги и оппоненты, он как оппонент и человек

Наука была делом его жизни. И людей, искренне увлеченных наукой, он всегда ценил, независимо от того, совпадают ли их взгляды или не совпадают с его воззрениями. Недаром одни из

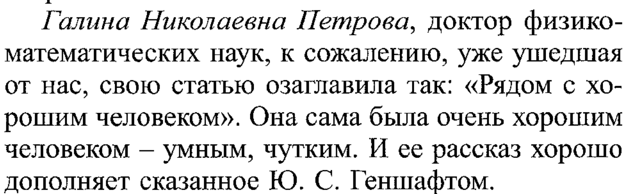


самых обстоятельных воспоминаний о нем – воспоминания *Юрия Семеновича Геншафта* – озаглавлены: «Он учил общению с оппонентами».

«Все годы моего общения с Ю. М. меня восхищала его эмоциональность, буквально радостное восприятие чужих успехов. С каким воодушевлением он рассказывал о чьих-либо интересных начинаниях и идеях! Ю. М. всегда ценил любое проявление творческого мышления и готов был в этом случае поддержать самого ярого своего оппонента. Меня удивляло, какие прекрасные отзывы он писал на работы, в которых излагались чуждые ему научные представления, относящиеся к гипотезам о расширяющейся Земле или мобилистской концепции тектоники литосферных плит. Я его спрашивал: «Как вы пишете положительный отзыв на диссертацию, в которой отстаиваются совершенно противоположные вам взгляды?» И слышу в ответ: «Ну и что же? Зато видно, что этот человек думает». И это было самым важным для него.

На каком-то семинаре мы сидели рядом, и я рассказывал ему вполголоса о возможной новой трактовке экспериментальных результатов.

Ю. М. тут же стал это пересказывать своим соседним коллегам. Он, как мне казалось, был воодушевлен этой идеей больше меня. И так было всегда. Ю. М. никогда не брался критиковать кого-либо, если у него не было возражений, четко осознанных им самим. Именно поэтому он стал сам заниматься проверкой данных палеомагнетизма, всё время обсуждая эти вопросы с Г. Н. Петровой и ее сотрудниками – основными оппонентами его взглядов в этой области. В Институте и у себя дома Ю. М. с увлечением показывал мне построенные им графики, которые, как ему казалось, не согласуются с палеомагнитными данными о движении плит. Вместе с тем Ю. М. был достаточно объективен и в оценке работ своих единомышленников и при их обсуждениях мог выступать с довольно острыми замечаниями».



Галина Николаевна Петрова, доктор физико-математических наук, к сожалению, уже ушедшая от нас, свою статью озаглавила так: «Рядом с хорошим человеком». Она сама была очень хорошим человеком – умным, чутким. И ее рассказ хорошо дополняет сказанное Ю. С. Геншафтом.

«В непримиримых диспутах «мобилистов» и «фиксистов» палеомагнетизм занял особое место, подобное красной тряпке в бое быков… Остроумный Б. А. Петрушевский в оглавлении готовящегося к изданию сборника геофизических статей озаглавил мою статью – «Дрейфующие материки» с эпиграфом «Ах, как бы не ошибиться!» <…> Пристальное внимание к палеомагнитологии было у В. В. Белоусова и у всей его группы, но при всем отрицательном отношении его ко всему «мобилистскому» никто из нас – палеомагнитологов – лично не чувствовал с его стороны ни недоброжелательства, ни попытки оказать на нас давление с высоты его (немалого!) авторитета. <…> Отношение Ю. М. Шейнманна к палеомагматизму резко отличалось от отношения как В. В. Белоусова, так и остальных. Ю. М. Шейнманн не подвергал сомнениям ни права палеомагнитологии считаться серьезным и перспективным разделом современной геофизики, ни значимости палеомагнитных результатов. Единственное, на что он обращал внимание палеомагнитологов, был большой разброс положений ВГП по данным с одного континента. Это замечание было справедливым. <…> Объяснить, что же всё-таки означают эти отскоки, мы в то время еще не очень могли».



А. А. Богданов и В. В. Белоусов (справа)

Отцу очень хорошо работалось с Белоусовым, едва ли с кем-либо еще в институте Владимир Владимирович мог говорить и спорить на равных, а он очень в этом нуждался. На одном из тектонических совещаний, я это хорошо помню, даже маме тогда написала, Владимир Владимирович сказал в своем выступлении, что он счастлив сообщить, что такой ученый как Юрий Михайлович работает теперь в нашем отделе. А отец, наконец-то, мог полностью отдаться своему делу. Белоусов предоставил ему полную свободу творчества. Сам Владимир Владимирович в статье о Ю. М. отмечает:

«Особенно ценны его работы по вопросам, находящимся между тектоникой и петрологией. <…> Только теперь, через три десятка лет после первых работ

Ю. М. Шейнманна в этом направлении, стало ясно, каким провидцем он был: тектонические процессы в недрах Земли идут, действительно, совместно с эволюцией земного вещества, оба эти явления представляют собой две стороны единого процесса развития тектоносферы Земли... Роль идей, высказанных Ю. М. Шейнманном, исключительно велика. Ему принадлежит и новаторский анализ палеомагнитных данных... Но друзья и коллеги Ю. М. вспоминают о нем не только как об ученом. Он был необыкновенным человеком и в других проявлениях своей натуры, особенно в общении с окружающими. Он был честным и благородным человеком в предельном смысле этих слов. Он был полон самого широкого интереса к жизни, ко всем ее сторонам. И этот живой интерес к окружающему он сохранил до конца своих дней. Он был очень щедр в отношениях с людьми. Благодаря общительности, живости характера он увлекал и привлекал окружающих. Он был неизменно мягок и доброжелателен к людям и поддерживал хорошие отношения со многими, кто придерживался в науке совершенно иных взглядов. При большой личной скромности он обладал большим чувством ответственности и в выполнении своих обязательств был всегда тверд и настойчив».

А *Борис Абрамович Петрушевский*, его друг и коллега и редактор изданного посмертно сборника наиболее важных трудов Ю. М., пишет:



«Юрий Михайлович Шейнманн оставил глубокий и прочный след в ряде наук о Земле. Как исследователь по своему складу Ю. М. Шейнманн был в современном научном (не только геологическом!) мире необычайной фигурой. В наше время узкой специализации и возникающих поэтому «кастовых» перегородок между отдельными группами ученых, он сумел охранить в себе черты естествоиспытателя, роднившие его с крупнейшими зачинателями науки былых поколений. Эти черты выражались в том, что каждую научную задачу Шейнманн рассматривал в самой широкой перспективе. Однако в этом подходе не было никакого подобия поверхностности: углубляясь в данную проблему, Ю. М одновременно как бы оглядывал окрестности».

Дом. Быт. Увлечения

С Колымы отец возвратился в свою старую квартиру, в одиннадцатиметровую комнату, которую они вскоре обменяли на несколько бóльшую, но какую-то сумеречную площадь, тоже в коммунальной квартире в пер. Островского (бывш. Теплом) в районе Пречистенки. В начале шестидесятых президиум Академии наук выделил ему однокомнатную квартиру в районе Песчаных улиц, недалеко от метро «Сокол». По тем временам, особенно после коммуналки, это было прекрасно: кирпичный дом «сталинских времен» с большими окнами, высокими потолками, очень большой уютной кухней, большой комнатой с альковом в дальнем от окна конце. Конечно, это не дедова шестикомнатная квартира на Бассейной, но после бараков, после сумрачной коммуналки...

Большой дубовый письменный стол у окна, на стенах дедовы французские гравюры и подаренные отцу Б. Г. Лутцем копии ладожских наскальных изображений: лебеди, лоси. В алькове, над кроватью – портрет молодой женщины в голубом платье, найденный где-то на чердаке во время одной из загородных поездок и отреставрированный ими. Много книг. Большая светлая кухня-столовая, прекрасно оборудованная. В ней хозяйка – отличнейшая кулинарка, славящаяся своими пирогами и тортами, особенно любим ею яблочный пирог и великолепный торт «Наполеон», очень трудоемкий и изготавливаемый только по торжественным случаям. Но и мясные и рыбные блюда – великолепны. Хозяйка очень следит за домом и за собой. Она к тому времени уже вышла на пенсию, но старой себя отнюдь не считала: очень следила за собой (прическа, маникюр, педикюр и пр.) и за модой, много читала, ходила в концерты, на выставки. Помогала отцу в переводах. Словом, была интеллигентная светская дама, очень восхищавшая молодых людей, его соратников и учеников, считавших ее идеалом жены. А вот о действительно духовно развитых ее приятелях я что-то не слышала. Но, вероятно, именно налаженный быт помог отцу сделать много в последний период жизни. В другой атмосфере он бы не смог работать так интенсивно. Творец, мыслитель должен быть свободен от быта. Это так. И наша мать не могла бы быть таким освободителем. Но... Возможно и другое: творческое (не бытовое) содружество двух таких сильных личностей (а она еще сильнее его) – могло дать нечто необычайное, взрыв. (А могло и ничего не дать.)

«Свой хор заветный водят музы вдали от дольних зол и бед», – сказал поэт. Но так это, может быть, было в Древней Греции.

В Институте физики Земли музы жили прочно, несмотря ни на что. Все дочери Мнемозины и Зевса, кроме разве Терпсихоры.

И десятая, выдуманная Н. С. Гумилевым, о которой я уже писала.

Прежде всего, серьезная музыка. Музыку любили все, а некоторые, например шеф – В. В. Белоусов, Б. Г. Лутц, Ю. Геншафт – были почти профессионалами. И редко в зимний сезон в Москве мог быть настоящий, хороший концерт, на котором не встретился бы хоть кто-либо из сотрудников ИФЗ. Отец любил музыку с детства. Сказалось воспитание бабушки, Лидии Эммануиловны, окончившей Парижскую консерваторию. Он сам пишет в воспоминаниях, что нечто похожее на «дорогу народов» в Средней Азии, в китайском Синьцзяне, по которой шли когда-то гунны и монголы, представлялось ему при звуках музыки. А в норильских воспоминаниях пишет, что, возвращаясь из экспедиции, управляя оленьей упряжкой, пел: «Может быть, в первый раз с сотворения мира здешняя тундра слышит шубертовскую серенаду или сегидилью из „Кармен“!»

И я в детстве, в Иркутске, помню его напевающим. К старости голос ослаб, но не любовь к музыке. Свой последний Новый год отец с мачехой встречали на концерте в Большом зале, откуда приехали домой уже под самый Новый год.

Галина Николаевна Баженова вспоминает:

> «Очень любил Юрий Михайлович классическую музыку. Постоянно ходил в Консерваторию и почти всегда с Ириной Павловной. Я с ними была на концертах С. Рихтера, М. Ростроповича, Р. Баршая. В одном из концертов Р. Баршай дирижировал Государственным академическим оркестром. В сохранившихся от тех времен программках имена Бетховена, Шумана, Прокофьева, Гайдна, Моцарта. Особенно запомнился концерт, посвященный дням английской музыки в Москве, на который мне, совершенным чудом, удалось купить два билета. Конечно же, я пригласила Юрия Михайловича. Помню, сидели мы в первом амфитеатре, чуть-чуть справа. Слушали «Чакону» Перселла в исполнении Питера Пирса, песни из сборника «Британский Орфей», С. Рихтер исполнил концерт для фортепьяно с оркестром Б. Бриттена. А во втором отделении М. Ростропович исполнил симфонию для виолончели с оркестром Б. Бриттена. Очень серьезно, поглощенный музыкой, слушал Юрий Михайлович. Редко что-то говорил об исполнении, да и что можно сказать словами об исполне-

> нии Рихтера, и надо ли говорить... Обычно после концерта Юрий Михайлович задумчиво молчал, был сдержан, не помню случая, чтобы он напевал «про себя» отдельные темы. Просто размышлял, думал, что-то вспоминая».

О том, что он любил поэзию, я уже писала, да и в его собственных воспоминаниях о юношеских годах об этом много. Хорошо знал литературу и русскую и зарубежную. Насколько я могу судить, особенно любил французов – Франса, Ромена Роллана, в юности Ростана – может быть, потому, что читал их в подлиннике. И живопись любил. Очень хотел побывать в Испании, посмотреть музей Прадо.

О философских и социально-политических воззрениях, сложившихся в последние годы, мы как-то не говорили. Само собой разумелось, что от юношеского максимализма, о котором он писал в воспоминаниях, мало что осталось. И по проторенным дорожкам он никогда не ходил. И на «земных богов» не молился. Но, как-то, больших, серьезных разговоров на эту тему у нас с ним не получалось. Так, короткие реплики. И так всё ясно.

А еще он со знанием дела, с любовью коллекционировал марки (после его смерти Ирина Павловна очень быстро продала коллекции, как и редкие книги, например старые издания Гумилева – и отнюдь не из нужды – просто резко меняла обстановку: отдала ружье, письменный стол, рыболовные принадлежности, фотоаппарат). А фотографировать он любил. И умел. У меня сохранились отданные ею альбомы тувинских, байкальских, среднеазиатских фотографий. А сколько их было еще!

И еще увлечения, с самой юности: охота, к которой он пристрастился с самой первой своей экспедиции, и рыбалка, вошедшая в его жизнь еще раньше. В последние годы жизни охота отошла на задний план, а рыбалка оставалась. Даже мой сын ездил с ним как-то на озера.

На отдыхе

Полного отдыха, длительного отрыва от работы, практически не бывало. Даже во время отдыха на даче или в санатории никогда не прекращалась работа мысли, чтение специальной литературы и т. д., хотя были и длительные прогулки, и вылазки за грибами, и рыбалка.

Галина Николаевна Баженова вспоминает:

> «Работал Юрий Михайлович всегда, в любых условиях, будучи на работе, дома или на лечении. Помню, как он уехал в санаторий в Болшево, захватив с собою

увесистую папку книг и журналов из библиотеки. Не прошло и недели, как он передал нам с А. Я. Салтыковским длиннющий список литературы с просьбой подобрать новую порцию в библиотеке и привезти к нему в санаторий. И вот мы вместе с Артуром, неся в руках по связке книг, появились на пороге его комнаты. Он был очень рад и вернул нам почти такое же количество «отработанной» литературы».

Лада Юрьевна Бебутова:

В Черной Грязи

Осенью 1958 года отец купил дом в деревне Черная Грязь Угодско-Заводского района Калужской области. До этого он пару лет выезжал с женой в эти места на лето.

Была куплена просторная деревенская изба с пристройками. Дом стоял на опушке леса, в стороне от деревни, рядом проходила проселочная дорога, которая вела к мосту через тихую прозрачную Протву. Житье в деревне началось весной 1959 года. На всё лето переехала Ирина Павловна (жена отца) с моим трех с половиной летним сыном, няней и двумя собаками – щенком колли и английской сеттерихой. В конце каждой недели, на выходные, приезжал отец, брат Ирины Павловны с женой и сыном и мы с мужем. Летом, во время отпуска, отец жил в Черной Грязи. Окно его комнаты, перед которым стоял письменный стол, выходило на опушку леса. Даже в отпуске отец много работал. Но было время и для прогулок, для рыбалки, для сбора грибов и ягод.



Ирина Павловна и Лада с сыном Гошей в деревне Черная Грязь Калужской области. 1958

Он научил маленького внука ловить рыбу. Часто они вдвоем выходили на мостик и оттуда на удочку ловили пескарей, которые во множестве водились в реке, и с моста было видно, как они плавают. Очень довольные уловом, они возвращались домой, на радость домашней кошке Кисе и приходящему из деревни коту по прозвищу Зять. Ирина Павловна и отец много гуляли по окрестностям – вокруг была чудесная нетронутая природа средней полосы России. Там мой сын научился собирать грибы, увидел луга, покрытые ландышами и земляникой.

Имея охотничью собаку, отец не охотился. Правда, наша красавица Лалка, несмотря на отличную родословную и обучение у егеря, была дура дурой и охотилась только на лягушек.

Однажды четырехлетний внук пошел с дедом за молоком в деревню (молоко всегда покупали у одной и той же женщины) и спросил:

– Тетя Стеша, ваша коровка тоже порошковое молоко дает? А оно вкусней, чем в Москве.

Воду, холодную и чистую, брали из родника в лесу, метрах в 100 от дома. На Протве были тихие песчаные плесы, где хорошо было купаться. Бывая в Черной Грязи, отец отдыхал душой от городской суеты и шума. Иногда начинал помогать на небольшом огороде, выпалывая почему-то только одуванчики и лебеду. К сожалению, летнее деревенское житье постепенно портилось: появились горожане и туристы. На высоком берегу Протвы, недалеко от нашего дома, началось строительство большого санатория. Поэтому, в конце 60-х годов, кажется в 1969-м, Черная Грязь была продана. Через 1–2 года купили дачный участок под Загорском. Но это уже другое время.

Я тоже бывала в Черной Грязи, но только редко и как гостья. Я тогда была еще полноценным полевиком. А дети мои жили летом у бабушки под Ленинградом. Но всё-таки несколько раз бывала.

И дети мои один раз были, сын, кажется, два раза.

Место было действительно чудесное: и широченная долина пра-Оки, в которой ютилась чистейшая маленькая речка Протва, нетронутые леса Средней полосы России и большой крестьянский дом, несколько в стороне от деревни, за оврагом. Хорошо было там жить, и я бы с радостью бывала чаще, но… слово тем, кто там был завсегдатаем.

Артур Яковлевич Салтыковский вспоминает:

«...Часто мы бывали на даче Юрия Михайловича, которая находилась в Калужской области, недалеко от г. Обнинск, в деревне Черная Грязь. Эта деревня полностью оправдывала свое название, подъехать на машине туда было практически невозможно и приходилось добираться от станции Обнинск на скрипящем довоенном рейсовом автобусе. Иногда Юрий Михайлович встречал нас с женой на своей старенькой «Волге», которую он приобрел уже в возрасте 60 лет и в это же время сдал экзамены на право вождения. А ведь это было не просто в таком возрасте, так как нужно было помимо экзаменов получить еще медицинскую справку, а у Ю. М. к этому времени начались проблемы со здоровьем.

В Черной Грязи у Шейнманнов был большой деревенский дом, в котором было несколько комнат, деревенская печь, сеновал и курятник

Мы с моей супругой Лилей очень тщательно готовились к поездкам в Черную Грязь. Мы знали, что Ю. М. и Ирина Павловна очень любят деликатесы (например, копченых угрей) и перед выездом из Москвы, по дороге на Киевский вокзал мы... покупали копченых угрей или миног... Они угощали нас собственной картошкой, собранными и замаринованными грибами, вкусными, только что испеченными пирогами, готовить которые Ирина Павловна была большой мастер. Юрию Михайловичу доставляло удовольствие показывать нам свой дом, объясняя назначение каждой постройки... Затем он вел нас на речку через небольшой лесок, и в этом маршруте нас всегда сопровождал любимец Ю. М. и И. П. – огромная шотландская овчарка Ярл. Когда наступал момент купания, Ярлик первым бросался в воду, я вслед за ним и когда мы плыли с ним к противоположному берегу, я старался не обгонять Ярлика, чтобы мы одновременно оказались на берегу... Ю. М., смеясь на берегу, говорил, что Артур не перегоняет Ярлика из подхалимажа перед своим руководителем. Мне казалось тогда, что Ю. М. и И. П. нас полюбили (прошу простить за нескромность), но особенность любить людей, как я полагаю, у Юрия Михайловича была всегда. Великолепными летними вечерами Ю. М. рассказывал нам различные истории из своей полной необыкновенными событиями жизни, вспоминал студенческие годы. Иногда он начинал читать

наизусть Н. Гумилева, которого очень любил. Если честно признаться, я до встречи с Ю. М. почти не знал стихов этого поэта. <…>

Я, конечно, знал о трагической судьбе Николая Гумилева, но знал и то, что его книги были запрещены советской цензурой, не издавались, а достать старые издания стоило огромных денег. Поэтому, затаив дыханье, я слушал, как на даче Юрий Михайлович читает Гумилева (а ведь Ю. М. слушал его в Петербурге «живьем» – он ходил в литературный кружок*, где бывал поэт). Особенно мне нравилось, когда он с упоением читал «Капитанов». Мне это стихотворение так понравилось, что я выпросил на время одну из книг Гумилева, перепечатал ее и выучил «Капитанов» наизусть».

В крошечный домик под Загорском добираться было трудно: от Загорска еще на автобусе, редко ходившем; домик был малюсенький, при приезде гостей ставили палатку на борту «Собственного оврага», своей вершиною входившего на участок, но всё-таки это была дача: природа, воздух… – и Ирина Павловна там разводила прекрасные цветы – розы, каллы, гладиолусы. Отец всегда любил цветы, часто «охотился» за ними с фотоаппаратом и делал прекрасные снимки, к сожалению черно-белые – тогда еще почти не было цветной фотографии, только слайды.

Я бывала у них на даче несколько раз, ночевала с отцом в палатке, а однажды, припозднившись, не стала будить хозяев и устроилась на ночь в сарае, в только что пристроенной к нему дощатой комнатке с деревянным полом и маленьким окошком. Утром отец сказал: «Ну, ты первая ее обновила, пусть это будет твоя комната». Но больше воспользоваться ею не пришлось.

Его сослуживцы бывали там чаще. Там же праздновалось его семидесятилетие (я была в поле).

Галя Баженова вспоминает:

«Свое семидесятилетие Юрий Михайлович отмечал на даче, на берегу собственного, как говорила супруга Юрия Михайловича Ирина Павловна, оврага. Небольшой участок

---

* О встречах с Н. С. Гумилевым см. главу «Юность». Книги Гумилева, сохранившиеся у отца с Иркутска, когда мама уехала в Ленинград бросив все, я хорошо помню: скромное, 20-х годов, издание «Костра», большое, в нарядной обложке, издание «Жемчугов» и еще пара сборников в мягком переплете. Ирина Павловна их благополучно продала сразу после смерти отца.

дачной земли действительно рассекали самые верховья овражка, глубиной 3–4 метра, который тут же на участке и заканчивался. Мы привезли Юрию Михайловичу целую ванну – иначе их было в жару не довезти – роз, присланных ему из Ленинграда, подарки и около сотни поздравлений. Он был по-особому светел, спокойно гостеприимен».

Глава 14

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Жизнь складывалась внешне вроде бы и благополучно: полная возможность спокойно систематически, а не урывками, заниматься любимой работой, проблемами, которые его волновали, хорошие люди вокруг, высоко ценившие его, налаженный быт – надо отдать справедливость Ирине Павловне, она великолепно готовила и вела дом.

Правда, в Академию наук его так и не избрали, хотя Институт дважды его выдвигал и были блестящие отзывы крупных ученых: академика Ю. А. Кузнецова, члена-корреспондента АН К. О. Кратца и других. В последний раз он остался первым за чертой: выборы тогда шли целенаправленно – на Сибирское отделение. Помню его шутливую реплику: «бедный-бедный Юрочка Косыгин! Как же он будет работать?» – Косыгин выдвигался в академики по Сибирскому отделению и дал свое согласие при условии, что членкором изберут его ученика и помощника, ведущего у него всю организационную работу, а того не избрали. Меня смутило: почему «Юрочка Косыгин»? Потом сообразила: в 1919 году, когда отец был первый раз в экспедиции, он работал у Косыгина-старшего, а Юрий Алексеевич Косыгин был тогда маленьким мальчиком.

Ну, и за границу «не пущали».

Но статьи и книги выходили, доклады и выступления пользовались большой популярностью у геологов – работал он очень интенсивно до самых последних дней.

Казалось бы – всё наладилось. Но тайное зло уже копилось, один из коварнейших недугов нашего времени – рак.

Что у него рак и что это безнадежно, мы знали. Вероятно, и он догадывался, хотя ему сказали – цирроз печени.

Жена иркутского геолога и хорошего приятеля папы – Н. А. Флоренсова, врач, оказалась соученицей моей сестры Лады. Она провела исследование с изотопами золота и подтвердила диагноз. Сильное поражение печени и уже метастазы. Помню, как он сказал мне: «Как из смертной камеры выпустили», – когда ему сказали про цирроз, но всё-таки, видимо, думал, слишком интенсивно работал, старался закончить всё недоделанное, всё

задуманное. Все восхищались его активностью в научном плане за последние полтора года. А он подводил итоги, торопился сказать всё, о чем думал. И заходил к Белоусову прощаться.

А я – врать ему не могла. Поэтому не пошла к ним на Новый год, несмотря даже на письменное приглашение. 31 декабря он был с Ириной Павловной на концерте в консерватории, он звал после концерта к ним. Пить за здоровье – нет, не могу. Не пошла.

Как раз в это время вышли его последние статьи о новой глобальной тектонике. Последнюю он надписал мне уже в больнице. Той самой академической (на Ляпуновке), где был относительно хороший уход, сносное питание, неплохой парк и «блатные врачи», как обычно бывает в привилегированных заведениях. Ходили мы туда все. Сначала многие, а в последние дни только Ирина Павловна, Лада, Артур Салтыковский и я – больше он никого не хотел видеть. Маме я написала, что отец тяжело болен, но где он лежит – не написала.

Артур Салтыковский:

> «Чувствовал он себя скверно. Я почти через день бывал у него, приносил свежую почту, рассказывал институтские новости. Его интересовало всё – от новых поступлений в библиотеку ИФЗ до политических событий, происходивших в мире и стране. Он очень похудел, осунулся и почти не вставал с постели. В. В. Белоусов ежедневно интересовался его состоянием и почти после каждого посещения больницы я регулярно рассказывал ему либо по телефону, либо непосредственно в Институте о состоянии Юрия Михайловича. И вот, 4 апреля 1974 года вечером после работы я, как обычно, приехал в больницу. Врач, вышедший из палаты, сказал мне, что положение очень тяжелое, что Ю. М. потерял сознание, они пытаются сделать всё, что можно, но надежды мало. Он разрешил мне войти в палату, и я увидел безжизненно лежащего Юрия Михайловича. Он на секунду приоткрыл глаза, мне показалось, что он узнал меня, пытался улыбнуться, но у него это не получилось. Через несколько секунд его глаза вновь закрылись и я громко позвал врача.
>
> Они быстро сделали каких-то два укола и через секунду, повернувшись ко мне, доктор сказал: «Мы ничего не можем сделать». Это конец».

Артур вышел позвонить Белоусову. Лада и Ирина Павловна, давно уже попрощавшись, ушли. Я сидела рядом с еще не мертвым, но уже не живым отцом, окаменевшая. Он был без сознания.

И вдруг заговорил, очень быстро, но слов я так и не смогла разобрать, как ни вслушивалась. И всё. Была глубокая ночь. Я вышла из больницы, и хотелось с кем-то поделиться. Но никого близких не осталось. Позвонила только другу мужа Володьке. Он знал. Вот и всё.

Но хочется рассказать еще об одном эпизоде, за пару дней до этого. Я сидела у него. Начинался какой-то полубред. До этого – были попытки шутить. Даже рассказывать анекдоты, хотя все такие трагичные, со смертельным исходом.

– Папа, уж очень у тебя траурные шутки.

– Вот будет полегче, будут другие.

– Ты, по-моему, не очень борешься с болезнью?

– Наступит улучшение, буду интенсивнее бороться.

Я пришла со свежими нарциссами. Он всегда любил цветы. Здесь не заметил. Значит – плохо. Только что ушла Ирина Павловна. Ей сказал: «Никого не хочу видеть, кроме вас троих».

Сижу у него. И вдруг, в разговоре, какой-то полубред, но очень четко:

– Всё равно она придет.

– Кто, папа?

– Она... Любимая.

Вот такие слова. Долгие многолетние уверения, что там – ничего. Лада не верит. Когда я ей, много позже, рассказала, говорит: «Она – это Смерть». Но не любимая же?

В воспоминаниях, написанных для Ирины Павловны и дочерей, говорится о всяких юношеских флиртах, как будто она – одна из многих. Я думала – только у нее осталось. И – такие слова.

Поэтому заканчиваю, как Реквием, мамиными стихами.

Нина Гаген-Торн

Смерти нет и разлуки нет

***

Значит – ты знаешь теперь?
Губы твои холодны.
Горькие складки потерь
Стали видны.
Бредом прошли года,
Мы потушили свет,
Может быть никогда
Не замечали, что света нет?
Привычными были дни,
Привычным казался труд;
И вот – мы одни.
И знаем, что годы – лгут.

1975

***

По горам ты ходил и плавал
По рекам и по морям.
Ты лукавым был и оставил…
Что ты оставил – ты знаешь сам.
Я тоже забыть хотела,
Но не посмела забыть всего.
Жизнь не простое дело,
Если с честью делать его.

1930-е

***

Через годы,
Как сквозь воды,
Многих лет
И многих бед,
Что же значит,
Что маячит,
Светит слабый свет?
В этом свете
Кто приметит
Очерк глаз и губ?
Как в тяжелый сруб

В низ колодца уходящий
Бадья памяти скользящей
Опустилась вглубь.
Дно песчанно
И не странно,
Что на самом дальнем дне
Как в тумане
Светом встанет
Образ юности во сне.

1945

***

Ты снова здесь? Над снежной пеленой
Пришел из прошлого забвенья?
И ты встаешь, как голос мой,
Как первый час любви земной,
Как первый плод осенний.
Кругом – безмолвно и бело,
Мы – за чертой земного бденья.
Нас здесь снегами замело,
Над нами горе провело
Вдоль глаз и губ глухие тени.
Зачем же ты меня зовешь,
В предельной горечи сомненья,
Что даже солнце – только ложь,
Что ты как камень упадешь
На дно бесцельного мученья.

Колыма

***

Или ты меня зовешь?
Или ты в смертельной боли?
По ночам приходит дрожь,
В сердце что-то остро колет.
Вижу я твои глаза,
Подведенные тоскою.
Ты, как много лет назад,
Гладишь волосы рукою.
В них не видно седины –
Молодой, такой как прежде,
Только губы сведены
И глаза печалью брезжат.

Не пойму: стоишь ты где?
Говоришь, а я не слышу…
В сне, как в тинистой воде,
Отраженный образ дышит.

1940. Колыма, Эльген

***

Комары звенят по лесам,
Тонко поют луне.
Ночью знаю: ты сам
Думаешь обо мне.
По полетам гусиных стай,
По зеленой крови цветов,
Проливаемой через край –
Слышу твой зов.
Он прошел через сотню дорог,
Он дыханьем стоит в окне.
Значит, тоже не смог
Ты забыть обо мне?
Значит, снова встречай,
Через тысячи прожитых лет,
Каждый май
На земле возникающий свет.

1948. Пересылка в Потьме

***

Ты знаешь: чернеет лист,
Опадая в канун ноября,
Изморозью поля взялись,
С дымом костры горят.
С дымом кострику жгут
Измятого мялкой льна.
По озеру гуси плывут –
Стая отстала одна;
Другие – уже в пути,
В полете на дальний Юг.
Нам бы с тобой идти
Вместе, мой друг.

1940-е

***

Ты придешь? Ты придешь?..
Сколько лет можно ждать,
Чтоб опять
Засияли твои глаза?
Ты ведь сам сказал?
«Ты не плачь –
Будем нянчить еще внучат».
– Как же ты не придешь назад?
Это значит:
Надо ждать,
Хоть бы сотню лет.
Смерти нет.
И разлуки нет.

***

По ночам говорю с тобой,
Слышишь меня ты?
Птицей летит над землей
Слово из пустоты.
Птица к тебе на окно
Сядет, как будет рассвет.
Спишь ты,
Но слышишь давно,
О, что не спит много лет.
Птичьего пенья звук,
Шелест моих слов.
И ты просыпаешься вдруг,
Всё увидеть готов.

Июль 1948. Потьма

***

Отпою я тебя и оплачу,
Будешь ты ждать в гробу:
Срок нам судьба назначит,
Ангел поднимет трубу.
С тобою мы встретимся снова
Там, где льется немеркнущий свет.
И ходят два солнца багровых
В далях чужих планет.

24 июня 1974

***

Разве это разлука?
Вечность нас ждет впереди.
Я лечу, как стрела из лука,
Чтобы тебя найти.
На земле я тебя потеряла
В темных изломах троп.
У меня было слишком мало
Мудрости, ведать чтоб:
Прошлого путь извечен,
Отмечен этап потерь.
К будущей новой Встрече
Готовимся мы теперь.

25–26 июня 1974

***

Приносит осень умиранье,
Приходит холод небытья.
Жизнь – как разрушенное зданье:
Углы обломков вижу я.
Их поднимать уже не надо –
Им тлеть в причудливой судьбе.
И чуть жива одна отрада:
Любовь и память о тебе.

25 сентября 1974

***

Здравствуй! Ты снова рядом?
Голос твой ясен и чист.
Месяц стоит над садом,
Летит кленовый лист.
Ты останешься до рассвета.
Мы увидим с тобой тогда
По листам лимонного цвета
Месяц отметил года.

Осень 1974

***

Ты ушел далеко-далеко,
Позови же меня скорей!
Знаешь, я брошу легко
Тяжесть земных дней:
Стала земная плоть
Ненужною и чужой…
Верно позволит Господь
Быть нам с тобой.

1975

***

Ты пришел? Ну, спасибо!
Долго мы розно шли.
Трудны пути изгибы,
Ноги в крови и в пыли.
Близится Отчего Дома
Светлый и радостный кров.
Слышу я голос знакомый
В ритме забытых стихов.

1974

***

Кто ты, ко мне приходящий
Шорохом теней ночных?
Дома сколоченный ящик
Тих.
Что совершается в небе?
Кто там прошел по земле?
Пятна в истаявшем снеге –
След.
Мы – муравьи. Заметались
В вырытом трактором пне:
Вырубки леса кончались,
Щепы сжигали в огне.

5 декабря 1974

***

Ты скажи, от других планет
Приходящий теперь ко мне,
Там, наверное, горя нет?
А может и есть вдвойне?
Там, наверно, небесный свод
Излучает пурпурный свет,
Там не знают земных забот
И давящего бремени лет.
Там, в немолкнущей музыке сфер
Озаренные мысли звенят,
Изменяются меры всех мер.
Ты и там вспоминаешь меня?

1975

***

Ты пришел ко мне сегодня,
Ты услышал зов?
Из каких Садов Господних,
Из каких миров?
Ты возьмешь меня с собою?
Мне давно пора.
На Земле заводы воют,
Ходят трактора.

1975

***

Счастье бывает горьким,
Как полевая полынь.
Сердце открыло створки
В сухую морозную синь.
Клубом холодным дыханье
Уносится к небесам.
Поздно пришло сознанье
Горькой ошибки к нам.
Горькая радость у гроба
Губы твои целовать.
Мы виноваты оба,
Что не умели прощать.

1976. Москва



Нина Ивановна Гаген-Торн.
60-е годы

***

Руки твои, губы твои.
Стал горьким и грубым рот.
Время стучит, не стоит.
Бремя нести зовет.
Подняли руки твои
К небу планеты шар.
Прожили жизнь без любви,
Смерть принесет ее в дар.

18 апреля 1977

***

«Смерти нет и разлуки нет» –
Засиял для нас
Несказанный свет.
Обойдя весь круг,
Появился вдруг.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ну, вот и всё. Собрала, написала всё, что могла. Это только эскиз. Но, во всяком случае, не иконопись. Писать о нём – большом, шумном, живом и очень разном – трудно. Жил такой человек – красавец в молодости и страшноватый в старости, добрый и отзывчивый и, одновременно, вспыльчивый и резкий и очень, очень родной, несмотря на жизнь в отдалении друг от друга.

Зачем пишу? Ведь те, кто его знал, – не забыли его. Всё-таки что-то значил в науке. Практически все геологические журналы поместили некрологи. Редколлегия Бюллетеня Московского общества испытателей природы к годовщине его смерти выпустила специальный номер журнала с портретом, с большой статьей о нём за подписью всей редколлегии, всех академиков и профессоров и с заказными статьями по тематике его работ.

А родной ИФЗ, его коллеги и ученики, выпустили посмертный сборник избранных трудов, выпустили к столетию со дня рождения с любовью сделанную книжку о нём, которую я здесь обильно цитирую, и провели посвященную ему конференцию к десятилетию со дня смерти.

И большой фотографический портрет его три десятилетия висит в комнате, где он работал. Всё так.

И большое спасибо им всем, особенно Ю. С. Геншафту, А. Я. Салтыковскому, Г. Н. Баженовой, Ю. С. Соколовой и всем остальным тоже.

Но книжка выпущена более 10 лет назад в количестве 250 штук, ее нет даже в Норильском краеведческом музее, в создании которого он принимал горячее участие, а людей знавших его становится всё меньше.

И надо сохранить память о нём. Не из родственных чувств, даже не для истории науки, а для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что человеческая мысль бессмертна, что творец – всегда творец, даже в нечеловеческих условиях, Что превратить людей в безмолвный рабочий скот не удается ни одному всевластному деспоту.

Сейчас много воспоминаний выживших в ГУЛАГе, очень много хороших, главным образом женских (Гинзбург, Слиозберг, Петкевич, Гаген-Торн, Лещенко и многие еще). Есть великолепные

рассказы Шаламова, Демидова и других. И, конечно, Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ». Но всё это или описания ужасов, или выжившие авторы были люди искусства. А ритмы, как известно было еще древним индийцам, правят миром.

Выживали еще редкие, работавшие по профессии, в том числе в «шарашках», на оборону (солженицынское «В круге первом»). А отец вспоминать лагерь не любил, никогда не говорил об этом.

От лагеря осталось очень бережное отношение ко времени, к возможности плодотворно работать – слишком много времени было потеряно.

И еще некоторые привычки: боязнь сидеть спиной ко входу в помещение. Крайне бережное отношение к любому клочку бумаги – великому дефициту в лагере, и, соответственно, мелкий убористый почерк. Но это уже мелочи.

Всё-таки не убила его система! Он мог бы значительно больше.

Это признают все, но ведь он состоялся! И не «благодаря», а «вопреки».

Мысль (культура, наука, искусство) всегда жива и неподвластна тирании.

Г. Ю. Гаген-Торн

Список использованной литературы

Архангельская В. В., Кац А. Г. Ю. М. Шейнманн в Тувинской экспедиции // Юрий Михайлович Шейнманн. Жизнь, отданная науке. М.: ИФЗ РАН, 2001.

Баженова Г. Н. Юрий Михайлович Шейнманн. Там же.

Бебутова Л. Ю. В Черной Грязи. Там же.

Белоусов В. В. Юрий Михайлович Шейнманн (предисловие) // Ю. М. Шейнманн. Тектоника и магматизм. Избранные труды. М.: Наука, 1976.

Белоусов В. В. Юрий Михайлович Шейнманн // Владимир Владимироич Белоусов. М.: ИФЗ РАН, 1999.

Гаген-Торн Н. И. СПб, 2001.

Гаген-Торн Н. И. Memoria. М.: Возвращение, 2010.

Гельман М. Л. Ю. М. Шейнманн в Дальстрое. Неволя и новые пути в тектонике и магматической геологии Северо-Востока Азии // Юрий Михайлович Шейнманн. Жизнь, отданная науке. М.: ИФЗ РАН, 2001.

Геншафт Ю. С. Он учил общению с оппонентами. Там же.

Жданов В. В. Рыцарь жизнеутверждающего образа. Там же.

Ильин А. В. Воспоминания о Ю. М. Шейнманне. Тува. Там же.

Крейтер И. В., Годлевская Н. Ю. Красноярское дело геологов // Репрессированая наука. Вып. 2. СПб., 1994.

Кузнецов Ю. А. Отзыв о научной деятельности профессора, доктора геолого-минералогических наук Ю. М. Шейнманна // Юрий Михайлович Шейнманн. Жизнь, отданная науке. М.: ИФЗ РАН, 2001.

Лухманов Д. А. Соленый ветер. М.: Морской транспорт, 1958.

Петрова Г. Н. Рядом с хорошим человеком. Там же.

Пляшкевич Л. Н. Ю. М. Шейнманн и его товарищи по заключению в Магадане в 1953–54 гг.

Резанов И. А. Творческий путь Ю. М. Шейнманна // Юрий Михайлович Шейнманн. Жизнь, отданная науке. М.: ИФЗ РАН, 2001.

Резанов И. А. Статья в академическом издании на английском языке SCIENCE in Russia 5|2001 “Founder of geological studies”.

Рудич Е. М. Четырнадцать лет с Юрием Михайловичем.

Салтыковский А. Я. Рядом с Юрием Михайловичем // Юрий Михайлович Шейнманн. Жизнь, отданная науке. М.: ИФЗ РАН, 2001.

Соколова Ю. Ф. Краткая научная биография Юрия Михайловича Шейнманна. Там же.

Соколова Ю. Ф. Юрий Михайлович Шейнманн (к 100-летию со дня рождения) // Земля и Вселенная. 2002. № 1.

Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. Л.: Лениздат, 1970.

Устиев Е. К. У истоков золотой реки (История одной экспедиции). М.: Мысль, 1972.

Шолпо В. Н. Воспоминания о старшем товарище.

Эпштейн Е. М. Воспоминания о Ю. М. Шейнманне (Запись Ю. Ф. Соколовой устного рассказа Е. М. Эпштейна) // Юрий Михайлович Шейнманн. Жизнь, отданная науке. М.: ИФЗ РАН, 2001.

Использованы также письма, очерки, рассказы и воспоминания самого героя этой книги. Большинство ландшафтных фотографий и рисунков, помещенных в книге, принадлежат Ю. М. Шейнманну.

Краткие сведения об авторах воспоминаний о Ю. М. Шейнманне

Архангельская Валентина Вячеславовна – доктор геолого-минералогических наук, геологическую деятельность начинала в Тувинской экспедиции ВАГТ под руководством Ю. М. Шейнманна. Впоследствии работала в ВИМСе.

Баженова Галина Николаевна – кандидат геолого-минералогических наук. С 1964 по 1974 год работала в группе Ю. М. в ИФЗ, публиковала в соавторстве с ним научные статьи, работала совместно с ним на конференциях. Активно участвовала в составлении сборника ИФЗ памяти Ю. М.

Бебутова Лада Юрьевна – младшая дочь Ю. М. Нейрохирург. Более тридцати лет работала в Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Белоусов Владимир Владимирович – член-корреспондент АН СССР, крупнейший геолог, тектонтист. Был руководителем отдела геодинамики ИФЗ АН СССР.

Гаген-Торн Нина Ивановна – первая жена Ю. М. Этнограф, кандидат исторических наук, писатель, поэт. Дважды репрессирована.

Гельман Михаил Львович – доктор геолого-миералогических наук. В 1953 году работал вместе с Ю.М. в Магадане.

Геншафт Юрий Семенович – доктор физико-математических наук, работал в ИФЗ с 1961 года, по инициативе Ю.М. проводил экспериментальные исследования плавления и кристаллизации горных пород, в том числе меймечита; опубликовал совместно с Ю.М. пять научных статей. Создатель и редактор книги воспоминаний о нем. Занял его место в ИФЗ.

Годлевская Наталья Юрьевна – жена репрессированного геолога.

Жданов Валерий Васильевич – доктор геолого-минералогических наук, работал в ВСЕГЕИ. Тесно общался с Ю. М. по работе, в том числе в поле.

Ильин Андрей Васильевич – доктор геолого-минералогических наук, работал в Институте литосферы РАН. В 1958–1959 годах работал в ВАГТе под руководством Ю. М. Автор совместной с Ю. М. статьи «Нижний докембрий» в издании «Стратиграфия СССР. Восточная Тува» (М.: Госгеолиздат, 1963).

Кац Арон Григорьевич – один из ведущич геологов в Аэрогеологии, геологическую деятельность начинал в Тувинской экспедиции ВАГТ под руководством Ю. М. Шейнманна.

Крейтер Ирина Владимировна – дочь профессора В. М. Крейтера.

Кузнецов Юрий Алексеевич – академик АН СССР, петролог, магматист. Работал в Сибирском отделении Академии наук. В годы тесного общения с Ю.М. был профессором Томского университета.

Лухманов Дмитрий Афанасьевич – капитан дальнего плавания, отдавший флоту шестьдесят четыре года. Автор морских руководств и автобиографических повестей, впоследствии составивших книгу «Соленый ветер».

Петрова Галина Николаевна – доктор физико-математических наук, геофизик, работала в ИФЗ, часто обсуждала с Ю. М. вопросы связи палеомагматизма и тектоники.

Петрушевский Борис Абрамович – доктор геолого-минералогических наук, друг и сослуживец Ю. М., редактор книги Ю. М. Шейнманна «Тектоника и магматизм. Избранные труды» (М.: Наука, 1976).

Пляшкевич Лидия Николаевна – кандидат геолого-минералогических наук, специалист в области рудной минералогии, работала в СВГУ в Магадане в 1948–1976, в 1953–1954 годах работала в одном отделе с заключенными геологами.

Резанов Игорь Александрович – доктор геолого-минералогических наук. Работал в ИФЗ до 1970 года, затем во ВНИИ ядерной геофизики, с 1978 года – главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН.

Рудич Евгений Маркович – кандидат геолого-минералогических наук, работал в ИФЗ с 1960 года.

Салтыковский Артур Яковлевич – ученик Ю. М., его аспирант, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник ИФЗ; с 1960 по 1974 год работал в группе Ю. М. Занимался проблемами базальтового вулканизма, докторскую диссертацию защитил в 2001 году.

Соколова Юлия Федоровна – специалист в области структурной геологии метаморфических пород, работает в ИФЗ с 1969 года. Принимала активное участие в составлении сборника «Юрий Михайлович Шейнманн. Жизнь, отданная науке» (2001).

Успенский Лев Васильевич – ленинградский писатель, товарищ Ю. М. Шейнманна и Н. И. Гаген-Торн по ОСУЗу – юношеской организации учащихся Петрограда в 1916–1918 годах.

Устиев Евгений Константинович – доктор геолого-минералогических наук, крупнейший петролог, специалист по магматизму Северо-Востока. В молодости занимался геологией Кавказа, в 1937 году был арестован, получил пять лет Колымы, был на общих работах. В 1940 году рас-

конвоирован, работал в геологии. В 1942 году освобожден без права выезда с Колымы. Полностью реабилитирован в 1956 году. С этого времени до самой смерти – сотрудник ИГЕМа. Талантливый человек талантлив во всем: Е. К. Устиев – автор рассказов, очерков, повестей. Его книги: «По ту сторону ночи» – об открытии недавно потухшего вулкана в труднодоступном районе Северо-Востока и «У истоков золотой реки» – о первых колымских экспедициях. Блестяще написанные книжки профессионала, досконально знающего о чем пишет. С Ю. М. у них много общего.

Шолпо Виктор Николаевич – доктор геолого-минералогических наук, работал в ИФЗ с 1956 года до последних дней. С 1960 по 1974 год работал в отделе геодинамики вместе с Юрием Михайловичем.

Эпштейн Ефим Михайлович – доктор геолого-минералогических наук, сотрудник ВИМСа, специалист по карбонатитам и щелочным породам. Проводил исследования в Меймеча-Котуйской провинции щелочно-ультраосновных пород. В 1960 году работал в ВИМСе вместе с Юрием Михайловичем.

Оглавление

Шейнманн Юрий Михайлович
ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ

Подписано в печать 14.02.13. Формат 60×90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21.
Тираж 1000 экз. Заказ № 355.

Издательство «Возвращение»
123060 Москва, ул. Маршала Бирюзова, 34, кв. 58
Тел./факс: 8 (499) 196-02-26. vozvrashchenie@bk.ru

Отпечатано в ОАО «ИПК «Звезда».
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.